

**3**

ISSN 0206-8680

# **КИНОСЦЕНАРИИ**

**1990**

ИЗДАЕТСЯ  
С 1973 ГОДА

**3**  

---

**1990**

ГОСКИНО СССР  
СОЮЗ  
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ  
СССР  
МОСКВА 1990

# КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

## Сценарии

- 3 *А. Солженицын*  
**ТУНЕЯДЕЦ**
- 53 *Г. Климов*  
**ВЫМЫСЛЫ**
- 79 *Б. Клетинич*  
**СВОБОДА НА БАРРИКАДАХ**
- 98 *Б. Грабал*  
**ПОЕЗДА ПОД ОСОБЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ**

## К 45-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

### Мемуары, воспоминания

- 129 *С. Фрейлих*  
**ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЯ**
- 138 *Б. Метальников*  
**ВОЙНА. ОДНА НА ВСЕХ,  
НО КАЖДОМУ СВОЯ... (Окончание)**

### Точка зрения

- 173 *Л. Нехорошев*  
**Свет во тьме**
- 182 *В. Шмыров*  
**Кино и цензура**
- 192 **Наши авторы**

## **ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ**

**В 1991 году журнал «Киносценарии» будет  
поступать в розницу  
в ограниченном количестве.  
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!  
Стоимость 6 номеров в год 7 руб. 20 коп.  
Наш индекс 70434**

---

**Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ**  
Редакционная коллегия  
**О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,  
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),  
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,  
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ**

**Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА**

**Технический редактор Л. МАРКОВА**  
**Корректор Е. ПЫЛАЕВА**

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются**

**© «Киносценарии»**

---

Сдано в набор 28.02.90. Подписано к печати 11.04.90. А 06870.  
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 19.973.  
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар»  
Гарн. таймс. Тираж 63 000 экз. Заказ № 452. Цена 1 р. 20 к.  
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр»  
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-201  
Адрес редакции: 103006, Москва, Ворониковский пер., 12.  
Телефон 299-47-74.

---

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат  
Государственного комитета СССР по печати  
142300, г. Чехов Московской области

---

### **В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:**

**И. Бутылская «Не время коммунаров?»**

**И. Бергман «Змеиное яйцо»**

**Р. Тюрин «Пост № 1»**

**Н. Афанасьев «Симург-I»**

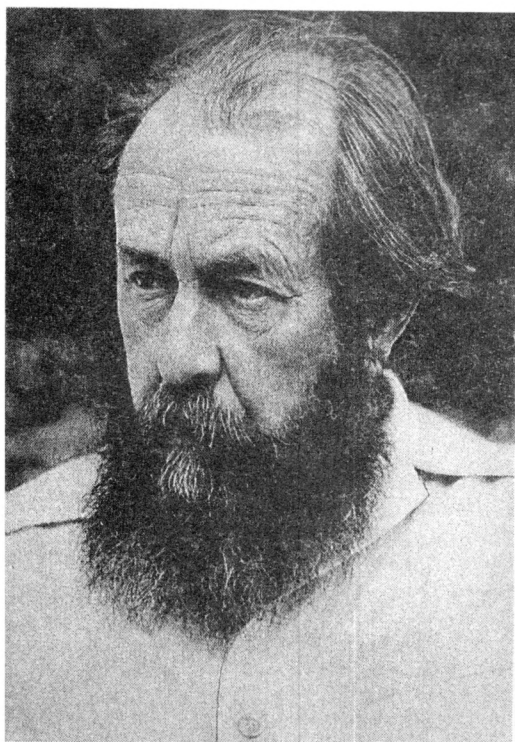
**Г. Сапгир «Симург-II»**

**А. Габрилович, С. Случевский «Дворы нашего детства»**

**Ф. Ходжаев «Смех под солнцем»**

**В. Ивченко «Джинн»**

**А. Чечулин «Записки конформиста, не дожившего до пенсии»**



**Александр  
СОЛЖЕНИЦЫН**

## **ТУНЕЯДЕЦ**

**Кинокомедия**

**Во весь экран —**

**ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!**

**И проползанием по экрану —**

**ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА...**

Это на длинном полотнище, натянутом над узким пригородным шоссе. Заборы, склады, тротуаров нет, и люди ходят тут же, по краю дороги. Вот катит «москвич».

**Спешим за ним и смотрим сбоку.**

За рулем — девушка, в машине одна. Прическа у неё такая: спереди волос гораздо больше, чем сзади. Нервничает, глядя вперёд, и включает

**= знак обгона. Ей обгонять многотонный клубящий чёрным дымом газогенераторный грузовик.**

Прохожие прикрываются и отворачиваются от тяжёлого дыма.

Грузовик широк, а шоссе узкое и встречные машины, не обгонишь.

**= Нервничает девушка.**

**= Но грузовик замедляется и, ещё несколько выстрелив**

Значок « $\Leftrightarrow$ » означает монтажный стык, то есть внезапную полную смену кадра. В остальных случаях подразумевается, что последующий кадр получается из предыдущего плавным (панорамным) переходом. Надписи, начатые с левого края страницы, означают музыкальное и всякое звуковое сопровождение (примеч. авт.)

Публикуется по: Солженицын А. Собр. соч. Р. YMCA-PRESS, 1981 т. 8 с полным соблюдением особенностей авторской записи.



дымом, сворачивает прочь. «ОБЕСПЕЧИМ ЯВКУ!» — мелькает на краю дороги. «НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»... Пошла езда по свободной дороге!

**Быстрее едем.**

Но стоят на правой обочине — трое. И вдруг один из них в последнюю минуту крупно пошёл через дорогу...

Спиною к нам! Не видит!

**Резкий сигнал!**

Обернулся — и растерялся, образина небритая, растяпа!

А на краю шоссе — те двое, не свернёшь!

= Напряжённое лицо девушки! Так затормозила, визг тормозов

что на руль её кинуло.

И рукой размахивая кричит на образину:

— *Смотреть надо, серяк! Жить надоело!*

А сзади быстро входит в кадр ещё машина, «волга», что-то слишком близко!!

**Удар!!**

И в той, второй, машине — отчаянные лица передних, военных!

Девушку сильно потрянуло, она

охнула,

обернулась,

выбралась из машины, держится за бок.

Она в крупнополосатой блузке и светлых брюках.

Идёт к задней, той. Не бушует, довольно меланхолично:

— *Что случилось, молодые люди? Для чего глаза? Для чего тормоза?*

Вылезает шофёр. Ефрейтор, худенький мальчик. Приговорённый к смерти! Нет лица. Самое большое несчастье всей его жизни!

= И тучный подполковник выбирается с командирского места.

Еще и второй подполковник, тоже ражий. Смотрят все

= на столкнувшиеся места машин. Сильно смят зад «москвича», искалечен передок «волги», капот снесен,

передний бампер под разбитой фарой одним концом свис на землю.

= А впереди через шоссе поспешно ухрамывает тот образина, всему виновник.

= Девушка укоризненно покачивается перед немым ефрейтором:

— *У-у-ух ты, стерлядь, штаны солдатские! Кто тебя за руль сажал?.. Небось и прав нет?*

Вот какая на ней кофточка: левый бок в полосах, зато рукав одноцветный, правый бок одноцветный, зато рукав полосатый. Полновата чуть больше, чем надо бы. А — хорошенькая.

Смотрит на раны своей машины, присаживается на корточки и видит

= лужу на асфальте.

— *Это что ж такое? Это у кого течёт? — у тебя или у меня?*

= А между тем около машин — уже с десятков ротозеев. С интересом разглядывают.

— *Да у тебя, девушка, в порядке, можешь ехать!*

— *Они сами больше разгрохались.*

— *Они своим ходом не пойдут...*

- = Приговорённое лицо ефрейтора. Мрачные лица подполковников.
- = Девушка, из присядки:  
— *Могу ехать, вы думаете?*  
Ещё раз глянула под машину. Побежала в кабину, включила — и чуть отъехала. Вышла весёлая.
- = Теперь-то видно, что течёт вода из-под мотора «волги». А там, где стоял «москвич», — лежит никелированное что-то, кусок бампера.
- = Подняв его, девушка примирительно:  
— *Это чей же? — твой или мой?*  
Ефрейтор шепчет одними губами и забирает свой бампер. На подполковников он и покоситься боится. Из «губы» ему теперь не вылезать, да хорошо, если только.
- = Вдруг девушка заметила:  
— *Ай-я-яй! Ай-я-яй!*  
почти плачет:  
*Брюки из-за вас испачкала!  
Будьте вы все неладны! Брюки эластичные,  
белые! Этого ж не достать!*
- = Подступает к девушке какой-то мордатый, чубастый, со стороны:  
— *А почему вы, девушка, отъехали? Вы знаете порядок: до ГАИ надо оставаться на месте?*  
— *Нет, не знаю... А я проверить должна была? — идёт машина или нет?*  
— *Следы замечаете, да?*  
— *Ка-кие следы?..*
- О, да он — заядлый. Он, может, — дружинник без повязки?  
— *Почему вы остановились посреди дороги? Почему направо не свернули?*
- = Девушка горда:  
— *Как почему? Я человеку жизнь спасла! Что ж, человека давить?*  
Горлопан (такие завскладами бывают, оборотистый):  
— *Какого человека? Где — человека?*  
— *Вот, пожалуйста! —*  
ведёт девушка, —  
*Вот этого! Товарищ, где вы? Где?*
- = Но — нет того человека. Перед «москвичом» — там никто больше не стоит.  
И впереди никого.
- = И среди собравшихся — его нет, его нет, не он.
- = Убежал.. (Лицо девушки.) Жизнь ему спасла, а он, подлец, убежал...
- = Пустая дорога перед «москвичом». Иногда встречная машина...
- = Подполковники переглянулись, повеселели.  
Горлопан на них посмотрел — и ещё решительней:  
— *Вы — пьяная, да? Так и скажите!*  
Сколько напастей на девушку сразу!  
— *Кто пьяная? Я — пьяная?.. Hate!.. Hate!*  
И гневно дышит на него, близко. У неё тёмная чёлка по самые брови и ещё по клоку свисает впереди ушей.  
Но горлопан наглет:  
— *Точно пьяная, пахнет алкоголем! Сейчас будем ГАИ вызывать. Та-аак...*

- Уже записная книжка у него. Списывает под измятым искорёженным багажником номер  
МОЯ 22—22.
- = Девушка себя не найдёт:  
— *Свинство какое! Пьяная! Пожалуйста, зовите ГАИ!.. Убежал, трусишка! Жизнь ему спасла... Товарищи! Ну, вы же видели: человек был под машиной?! Ну, подтвердите!*
- = Никто не видел. Никто не видел. Уходят начинают. Тут к чёртовой матери только свяжись. А горлопан плечи расширил, два места занимает. Девушка миролюбиво пожимает плечами:  
— *Ну хорошо, запишем и ваш...*
- = Ищет в кабине, ноги торчат наружу. Проносится машина мимо её распахнутой дверцы.
- = Горлопан показывает:  
— *Вот так они и ездят!.. Руль им доверяют!..*  
Девушка вылезает с дамской сумочкой на длинном-предлинном ремне. Ищет в ней. Бумажка есть. А...  
— *Карандашика ни у кого нет, братцы? Дайте карандаш!*
- = Стоят ротозеи. Другие расходятся. Карандаша не ищут. Горлопан грозно:  
— *Чего вам карандаш? Сейчас ГАИ будем звать. Тут, девушка, штрафом не отделаетесь. Военную машину задержали.*  
Но не зовёт ГАИ, не бежит звонить. И никто не зовёт. Глазеют. Подполковник снял картуз, лысину вытирает. Девушка ходит потерянная:  
— *Ну, зовите ГАИ... Всё, что угодно... Ладно, запомню номер и так...*  
Хнычет над своими брюками. Гладит рукой свой побитый багажник. Ну и исковеркан! — будто великаны над ним издевались. С усилием девушка поднимает искалеченную крышку — там запасное колесо тоже искорёжено. Находит:  
— *Чей это олень?*
- = Ефрейтор бессильно шепчет. Протягивает руку за оленем.  
Девушка:  
— *Но я тороплюсь! Звонить — так звонить!.. Пьяная!.. Ответите за оскорбление!.. Ай, брюки пропали!.. Ну, подполковник, так и будем стоять?*
- = Горлопан:  
— *И прав лишат! И все убытки заплатите! Научат вас ездить! А то заучились! Образованные очень!*  
Девушка в отчаянии:  
— *Да я при чём?*  
— *Там найдут, при чём!..*
- Подполковник (вытирая лысину):  
— *Ладно, девушка, езжайте.*
- Горлопан:  
— *Никуда она не поедет! Не имеет права ехать! За всё ответит! Еще и пьяная, нахалка такая!..*  
Но не держит её. Девушка вскакивает в машину и торопливо отъезжает с измятым, как в потеху искомканным задом.

= Подполковники и ефрейтор смотрят вслед ей. К 1-му подполковнику подходит горлопан:

— *Рубликов на сто намяли, подполковник. Ещё неизвестно, с правами ли ваш пацан. Десяточка с вас!*

Подполковник достаёт и платит незаметно.

**Знак смены эпизодов.**

= Хохочут трое парней, вот хохочут! кто во что горазд, даже слёзы утирают. Друг другу показывают пальцами на

= измятый, прогнутый, перекорченный багажник. Ну и действительно смехота!..

А девушка со своей длинноремленной сумочкой (от плеча и до колена, так вешается) спрашивает прохожих, спрашивает, — те плечами жмут.

= Один из парней надрывается, душится:

— *Девушка! А, девушка! Это у тебя сумка — инструмент носишь?*

А другой размахнулся пустой бутылкой и —

= бах о мостовую! всё в осколках! —

как раз позади подкалеченной машины. Девушка направляется сюда, она держится свободно, не боязно:

— *Ну и — зачем, ребята? Зачем? Кто-нибудь шишу проколет.*

= Тот парень, что бутылку разбил, — ещё свободней, давится от своего благородства:

— *А м-мы... — н-н-не собственники!*

У девушки быстрая манера говорить, еле успеешь слова разобрать:

— *Где в вашем городе станция техобслуживания, ребята, не знаете? Никто не знает!..*

— *Эт-то чего тебе — багажник выправлять?*

— *Слушай, никакая техстанция тебе не поможет. Слушай, тебе только Пашка поможет. Научит тебя — к Пашке?*

— *Какой Пашка, я станцию хочу!*

— *Ну и дура. Ну, и делай правый поворот. Квартал, там увидишь.*

= И снова — все трое. Смеются вослед, охальники! Подбоченились. Три ли сына купецких? три ли богатыря?

**Знак смены эпизодов.**

= Плакат с обобщённым космонавтом в скафандре.

Ниже — перекладина ворот и надпись:

## СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ещё ниже — ворота распахнуты, но въезд преграждён брусом.

Рядом с воротами — тесовая контора. Наша знакомая со своей длинной сумкой на боку входит туда.

= На стене — «Расценки»... «Табель»... «Наши кандидаты» (с двумя портретами)...

За столом — женщина обильного тела, в руках у неё — крупное вязанье. Она спрашивает ласково, приветливо:

— *Задок помяли?*

Через плечо косится в окно.

= Девушка улыбается; приятно, когда тебя так встречают:



- *Пожалуйста, примите в ремонт.*
- == Только эта голова на чрезмерной шее отвеку не поворачивалась проворно:
- *Очень ты скорая, дочка. Мы работой завалены,дохнуть некогда.*
- Вяжет.
- ...*По корпусам у нас очередь на месяц.*
- Просительница. Выразительно держит палец под глазом:
- *Но у меня — совершенно трагическое положение, я из другого города, машина — папина...*
- == Колыхается женщина, отчасти и злорадно:
- *Ах, па-пина! А твой бородатый небось рядом сидел?*
- *Какой бородатый?*
- *Ваши все теперь бородатые. А вы из юбок по брюкам полезли, срам один!*
- == Девушка выразительно водит глазами под чёлкой. Почему люди не добры друг ко другу? И эта женщина — тоже. А ведь так просто быть добрыми! Как бы всем было хорошо!
- *Мне очень необходимо сегодня починить! Я должна вернуться — и чтоб отец ничего не заметил!*
- == Женщина наконец и возмущается:
- *Нашкодила — и в норку? Сегодня же ей! Сегодня — суббота.*
- Всё так же вяжет, а та всё так же стоит:
- *Но я заплачу! Я мастеру от себя доплачу, как полагается... У меня деньги есть!*
- Да не сердится женщина, ей и жалко эту глупую:
- *Что твои деньги, когда мастера нет? Мастера нет, корпусника, понимаешь? В отпуску. От того дня, как он вернётся, ещё месяц очередь!*
- == Девушка и рот раскрыла. Она не понимает.
- *А ну, справку покажи!*
- *Какую справку?*
- Полное недоумение.
- == Женщина уже как начальница, строго:
- *От ГАИ, какую! Об обстоятельствах.*
- == В ускользящей надежде девушка держит под глазом сползающий палец. У неё нет никакой справки... Женщина с подозрением:
- *Ребёнок — был?*
- Не-ет! — совершенно честно отрицает девушка.
- Женщина ещё смотрит подозрительно, и кому-то другому в комнате:
- *А то вот так ребёнка раздавят, преступление совершат, а потом следы замечают. Безо справки ей — да ещё в один день чини! Ты её на дорогах нигде не замечал?*
- Это — высокий худой шофёр, флегматик. Посмотрел на девушку. Посмотрел на женщину:
- *Моё дело — знаки соблюдать. На одну оглянись — знак пропустишь. Меня уже четырежды за знаки кололи. Я вот что: я пошёл. Освобождён.*
- *Как так?*
- *Завтра мне на сутки заступать. В избирательный. С машиной.*
- *А — сегодня? А мы как?*
- *Да хоть и вы сворачивайтесь. Распоряжение.*

*Звонили.*

Ушёл. Девушка в неподвижной просьбе. Женщина возвращается к вязанью, смягчается.

— *Ладно, ты вот что. Сегодня день короткий, как-ти пока не поздно в четвёртое автохозяйство и спроси там Пашку Алесеенкова. Да с умом спрашивай, чтоб его не завалить. Он — один корпусник во всём городе. Только он тебе может починить.*

**Знак смены эпизодов.**

= Останавливается троллейбус. Задняя дверца. Толпятся сесть, а из задней вываливаются и вываливаются. С двумя корзинами застряла, никак не сойдёт энергичная старуха с крупным носом. И оттуда, сверху, учит

молодую женщину с ребёнком, тщетно ожидающую сесть:

— *А уж тебе, матушка, нечего сюда лезть! Вон, передняя дверь для вас!*

Выбралась, наконец, старуха, пошла по улице.

**И мы ей вослед.**

Высокий новый корпус от улицы и вглубь. На стене табличка: «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО БЫТА».

У прохода — большой щит:

### ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА ЯРЧЕ СОЛНЦА

А дальше — открытое дворовое углубление с клумбами. И на столбике табличка: «НЕ СКВЕРНОСЛОВИТЬ!»

Дальше — аптека, на её стене — доска объявлений.

Вместе со старухой мы не читаем, мы мимо проходим, но всё же не можем не заметить

одинаковых крупных объявлений:

«ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА», «ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА», «ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА»...

Дальше, в углублении стены — телефон-автомат. В будке — никого, спереди, загораживая — молодой человек в фетровой шляпе, курит. А товарищ его между будкой и стеной в щель влип по нужде и так стоит неподвижный, беззащитный.

**Мы за угол.**

Тут улица — полумощёная, простая. Старые домишки одноэтажные.

На деревянном заборе — «НАШИ КАНДИДАТЫ», лист с портретами.

Несут вёдрами воду

из колонки. На неё мальчишка взобрался и стоит как изваяние.

В первом этаже раскрыты ветхие косые створки окна. Оттуда выставился здоровый ленивый неснисходительный парень:

— *И куда-а я пойду? Что-о за картина?..*

А девушка юная перед окном так и вьётся, на цыпочках, уговаривает:

— *Ну, пожалуйста, Лёнечка, ну пойдём! Я уже два билета взяла.*

Лёнечка морщится:

— *Небось по двадцать пять?*

Она тянется, всеми плечами уговаривает:

— *По тридцать пять, Лёнечка, честное слово!*

Дальше — двухэтажный дом полукаменник, при нём калитка.

Туда и входит наша старуха с корзинами. Внутри — небольшой дворик. Открытая лестница на второй деревянный этаж. Врыт стол квадратный и вокруг него — четыре скамьи с прислонами. На одной сидит древний, уже полусмысленный дед. А к перекошенной двери отдельного низкого флигелька, в землю вросшего, хорошо одетая женщина прикрепляет записку:

ближе, крупно

«Товарищ Алесеенков! Никогда не застаю Вас дома, ни утром, ни вечером. Мне надо иметь уверенность, что вы знаете о голосовании и в воскресенье утром придёте с паспортом. Пожалуйста, не подведите! С нас строго спрашивают. Ваш агитатор». Агитатор оборачивается к нам. Она вся — в улыбке извинения:

— *Здравствуйте. Простите. Я опять к вам, как видите... Вот никак Алесеенкова не застаю. Что делать, не знаю...*

= Старуха поставила ношу на землю.

— *Ядва ли ты его застанешь. А чо ему дома сидеть, рассуди сама, коли его жена бросила? Ты бы без мужа — много дома сидела бы?*

Тонкое интеллигентное лицо агитаторши. Как лёгкие тени пробегают невысказанные мысли. Но главное сейчас — беспокойство:

— *Так он так и на выборы не придёт?!*

Стоят друг против друга. Старуха — дюжая, сильная, а агитаторша — маленькая, слабенькая, птичка.

— *Почему не придёт? Он малопьющий человек, порядочный. Да за ним всё на машинах приезжают, увозят. Ты бы его досвету прихватывала, досвету.*

— *А то ведь, понимаете, мы за каждого избирателя отвечаем. Он не придёт, а меня загоняют...*

Расстроена агитаторша, мука бессмыслицы на её лбу. Она — старательная, она не может делать плохо, она спать не будет.

...И потом в вашем дворе...

сверяется со списком

...Мурзаков Никифор меня беспокоит. Ведь прописан — а не живёт?..

На суровом лице старухи — снисхождение:

— *Э-эх ты, образованная, а не понимаешь. Как же яму в комнате шесть метров с чужой женой жить? Это на что будет похоже? У него своя семья гдей-то, он семью норовит перетягивать. А с Юлькой они только для стажу зарегистрированы, чтобы прописка шла. Он ей ежемесячно платит за го.*

— *Ах, вот оно что...*—

озадачена агитаторша. Но и тем более встревожена:  
...Так он и голосовать не придёт?!

Старуха твёрдо, даже властно:

— *Голосовать должен придти. С Юльки спрашивай! Раз деньги берет — пусть представит.*

Агитаторша не убеждена, её лицо омрачено над списком. Застенчиво:

— *Да, и ещё! Простите, пожалуйста. Я понимаю, что это глупо, я уже вам надоела, но заставляю проверять и проверять. Вот вас, Василье-*

*вых, тут внесено пять человек: вы, ваша незамужняя дочь, замужняя дочь, зять, и у них тоже дочь? Так и есть? Никто не выбыл?*

Большеносое лицо старухи. Всю жизнь — в колотьебе.  
— *Да ещё малой шестой. Куды выбывают-то нам? Куды? Выборы — каждый год, а квартирой только манят. Зять ещё когда на очередь записан — а нету! Я по этим депутатам три пары чёботов износила! Правильно умные люди учат: вот не подите разок на выборы всей семьей — сразу прибегут, да-дут!*

Агитаторша извиняется, улыбается, ёжится:

— *Поверьте, я вас понимаю. Но от меня это не висит. То, что вам предлагают, это тоже не метод... Будем надеяться, конечно...*

Кивнула старуха, кивнула,  
подняла свои корзины,  
пошла по лестнице наверх.

Агитаторша карандашом по своему списку помечает,  
а дед рядом, от стола, он не дремлет, оказывается:

— *Скажи, красавица, тебя как зовут?*

— *Лира Михайловна...*

— *А — кто ты есть, Ира Михална?*

— *Научный работник, дедушка.*

Она над списком.

— *Это как? — профессор, что ли?*

— *Нет, дедушка, кандидат.*

Хочет уйти. Дедушка оживился, руку тянет:

— *Ах, ты ж и кандидат? Вот умница. Да не убегай же, сядь расскажи...*

Лира Михайловна смотрит на часы, нервничает:

— *О чём тебе, дедушка?*

— *Да вот же, про кандидатов...*

— *Дедушка, про них вон на листе всё написано, у вас на воротах висит.*

— *У меня, видишь, глаза слабые...*

— *Дедушка, мне на работу надо!*

Благостный дед, но и дотошный:

— *Вот это и есть твоя работа — люди просят, должна рассказывать!*

— *Ну, хорошо, пойдёмте к плакату, я вам прочту.*

— *Нет, ты не читай. Ты мне — душевно расскажи.*

— *Дедушка, да я так и сама не помню, на память. Дедушка, к вам завтра с урной придут...*

Хочет идти. Тоскливо деду одному оставаться:

— *Ну, погоди... Ну, хочешь, я тебе расскажу...*

*Как государь император у нас парад в Гатчине принимал... Каждому солдату — по серебряному рублю...*

**Знак смены эпизодов.**

## **ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!**

**ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЛУЧШИМ ЛЮДЯМ НАРОДА!**

«АВТОХОЗЯЙСТВО № 4» — вывеска

над воротами. Ворота раскрыты, но поперёк висит тяжёлая цепь. Вахтёр, проверив пропуск грузовика, снимает цепь и пропускает машину.

Наша знакомая в полосатой блузке с длинной сум-



кой,  
примерившись, идёт быстро через вахту. Вахтёр нагоняет её:

— *К кому? к кому? Пропуск!*

Девушка через плечо, очень уверенно:

— *Что я — автомашина, что ли?*

— *Нельзя! нельзя! меня с работы уволят!*

— *Да я — к начальнику автохозяйства.*

— *А как фамилия начальника? —*

не отстаёт вахтёр. Но и девушка не из робких:

— *Да я его личная знакомая, зачем мне фамилия?*

Тут гудят вахтёру от ворот.

Не разорваться и вахтёру! Пока он сюда, а девушка прошла.

За угол — юрк, и — к первому же рабочему:

— *Слушай, браток, где тут Пашка-корпусник?*

Тот объясняет, показывает.

— *Большой сарай. В распахнутую широкую дверь мы входим*

вслед за нашей знакомой.

Гул компрессора.

Просторный разворот и разворох дел. Кто-то (как бы не сам владелец) со шлангом от компрессора красит на верстаке распылением части разобранного мотороллера (явно «левая» работа). Двое подсобников разгибают и правят покалеченную дверцу грузовика. Там и здесь свалены гнутые, мятые, битые части корпусов грузовых и легковых автомашин. А на одном верстаке, подтянув ноги, сидит, возвышаясь,

с разочарованным и усталым видом сам главный мастер, Пашка. Он молод, лицо совсем простое, большие губы, нос картошистый, причёска короткая, какая попало, а то и никакая,— где торчит, где на лоб свисает.

Умолкает компрессор.

Пашка — всё думает... Нет в жизни счастья!.. И — зачем всё?.. Объявляет:

— *Сегодня мне молотка больше в руки не давайте! Хватит! Видеть не хочу. Сообразим вот рыбалку на ночь. Чья бы лодка, а?*

Заметил

нашу знакомую.

— *Здравствуйте. Скажите, вы — Паша Алесеенков?*

Оба они. Он сидит на верстаке как изваяние индийского бога. Не сразу и малым движением губ:

— *Допустим.*

А она нисколько не стеснена обстановкой, будто бывает здесь что ни день. Подошла — и неподвижному Пашке протянула руку жестом поощрения:

— *Будем знакомы. Эля.*

С недоумением Пашка взял руку, подержал, посмотрел, как на небывалый инструмент, не знаешь, на что его обратить. Выпустил.

...*Представьте, Паша, только в ваш город въезжала — сзади меня военные толкнули и рассадили задок. А машина — отца. Если он... если я... да вы не можете вообразить, это будет мировой кошмар!*

Пашка — слышит ли, что ему говорят?..

...*Он должен ничего не заметить — и уже завтра... Вы мне — почините?*

Человека, постигшего, что нет в мире счастья, не так-то легко уговорить брать молоток. Пашка уверенно медленно качает головой.

Эля изумлена: как же он может отказать, если:

— *Но ведь никто в городе!.. Я и на станции была! Все — к вам. А — что ж мне тогда делать? Как же — мне?..*

Этого Пашка не знает. Да это и не интересует его. Он устал.

— *Я заплачу... Всё, что угодно... Вы не стесняйтесь!..*

Через силу вздыхает Пашка над её детским неразумием:

— *На что мне ваши деньги? Деньги мне ваши — на что?.. Суббота! Я на рыбалку поеду. На ночную. Человек — должен отдыхать когда-нибудь?*

Нет, она не понимает! Если ей так срочно нужно — как же он может отказать?

...*Меня весь город просит. Я не могу всем чинить.*

Стук молота по жести. И снова загудел компрессор. Мы снова не слышим ничего больше, не слышим речи, а Эля ещё убеждает Пашку, убеждает. У неё крупные свободные жесты: то выворот одной рукой, то выворот двух, ещё и с экстравагантной сумкой. Но Пашка несколько не сдвинут.

### Шире.

Видим снова весь цех — и как опыляют краской части мотороллера, и как выправляют дверцу, и втаскивают новый борт вместо разбитого. Быстро входит ещё

майор. Он здесь бывал, знает дорогу, уверенно идёт к Пашке и энергично толкует ему, толкует, отвлекая от Эли.

Для Эли — новый соперник. Она подступает, она своё.

Не слышно их.

Майор так наседает, что раскачал Пашку, тот втягивается отвечать, всё живей, вот уж кажется и сговариваются. Пашка и позу переменяет, отвернулся с майором — к нам.

Оборвался гул компрессора, и мы слышим:

— *Я, майор, из-за этих ветровых стёкол скоро под суд пойду, честно!.. Они везде зажаты, зафондированы, выписать их по накладной — ни по правой, ни по левой — не-воз-можно!*

— *Но ты ж говорил, у тебя где-то верный дружок на складе...*

— *Дружок есть, но надо сперва, чтоб стекло списали, будто его на складе разбили по неосторожности. Тогда — взять... Ну, может, ко вторнику сделаем.*

Майора Пашка явно уважает за что-то. Майор:

— *Так если во вторник будет ветровое, — с утра понедельника мою машину и начинай!*

— *Легко сказать. А тут? —*

Пашка показывает на цех.

...*Я буду — вам, а тут кто? — дядя?*

Майор его — под руку, тише, особенно от Эли, которая близко:

— Я тебе с понедельника на три дня бюллетень обеспечу, хочешь? И мою сделаешь, и кому ещё. Они трое в кадре. Пашка затылок чешет.

— Да это б хорошо, это б я обернулся... Ну и тут же работа сама не делается, всё равно на меня... Да вы, девушка,— чего хотите? Чего просите — сами не понимаете. Вы ж сюда не въедете? — не въедете. А где я буду вам чинить?

Эля показывает порхающей рукой:

— Ну, там... за забором...

— Мне это под забором — вот тут сидит... Я — тоже человек. А как потом красить?

Они двое — в кадре, и только видно, как майор тянет Пашку за локоть.

— А ещё и красить?.. Ну, и красить там...

Смотрит Пашка на фифочку — до чего ж бестолковая.

— А вот это...

### Шире.

Пульверизатор, шланг, компрессор сто пудов.

...это тоже через забор?

Эля обескуражена. Майор теревит. Подступает и пашкин подсобник — приземистый, в майке, плечи молотобойца:

— А лодку знаешь чью возьмем? Степана. И вся снаряжёнка у него. Хошь, я счас за ключом megtанусь?

Из дверей:

— Алесеенков! К начальнику в кабинет, быстро!

Развёл Пашка руками — вот и живи! Вот и работа... вот и рыбалка...

С беззвучной руганью уходит.

Бредёт за ним майор.

И Эля.

Знак смены эпизодов.

= Кабинет. Портреты вождей.

За столом — начальник автохозяйства, жирное, довольное лицо.

Сбоку стола — завкадрами, поджарый, хваткий:

— Я докладывал вам не раз: то под забором чинит, то за квартал отъедет. А вчера я его достоверно поймал: голубая «волга» из колхоза, он ей крышу правил.

Начальник:

— Что скажете, товарищ Алесеенков?

= Вся комната. Мнётся Пашка у порога, дальше не позвали:

— Ничего я не правил. Шёл мимо. Попросили. Я два раза молотком стукнул.

Завкадрами перебил, как укусил:

— А откуда молоток был в руке? Почему молоток?

Не особо-то Пашка их боится, но и — не тот орёл здесь, как в цеху:

— А я с молотком не расстаюсь. Вы книжку записную на перерыв уносите? А я — молоточек. Мало ли чего?

— Это уже не перерыв был!

Не боится их Пашка, а — нудно ему тут:

— Ну, может задержался какую минуту.

— Тридцать пятая минута рабочего времени!

— А если так спросить: колхозу — где машину выправить? Во всём городе не берут. В Москву ехать? В таком виде ГАИ задержит.

= Начальник — блин масляный, но — недовольный:

— Это — не ваша забота, товарищ Алесеенков. Вы слишком много возомнили как мастер. Где кому править — на то есть руководство. А вы — на советской службе. Вы работаете в моем четвертом автохозяйстве. И можете работать только по моим нарядам. Ясно?

— Хмурится Пашка:

— Я-асно...

— Нет, вам — вполне ясно?

— Ясно.

— Так вот сейчас в первую очередь посмотрите машину у этого товарища. У Гурия Акинфовича.

Начальник кивает на

маленького, впрочем важного, человека в кресле у стены, мы его и не заметили прежде. Лицо такое: на портрет не просится, в памяти не удержится, на улице не обернёшься, а — достиг!

... И всё, что нужно сделать, — сегодня же делаете, хоть и допоздна.

Гурий Акинфович:

— Мой шофёр тебе покажет.

Пашка — дерзей:

— Сегодня — суббота.

— Гурий Акинфович спокойно, но всё же с укоризной качает головой:

— Мне, парень, к завтрашнему дню надо. Я — начальник избирательной комиссии, мне так выезжать нельзя.

— Пашку заедает:

— Я тоже — трудящийся!

— Начальник автохозяйства

крупнее, ближе

умеет и гневаться:

— Ты — не трудящийся!

ближе, крупней!

громко:

... Ты — тунеядец!!

ещё крупней!

громче:

... Мало, что выгоним тебя! Будем — судить за тунеядство!! Тебя — судить надо! А мы всё терпим!

— Пашка. Мнётся.

— Спасибо, конечно.

Дальше, мельче

и слышно слабей:

... Только суббота. День короткий. Не успею...

Голос начальника как колокол:

— Дам отгул.

Пашка ещё дальше, мельче

и слышно едва:

— Ладно. Наряд пишите...

Голос начальника гудит:

— Эту без наряда сделаешь!!

Голос Пашки как через две витрины:

— А что ж я заработаю?

Гремит начальник:

— Уложишься!! Меньше мухлюй!!

Знак смены эпизодов.

— Пашка осматривает помятую легковую, а рядом завкадрами и шофёр. Пашка:

— Краска такая есть у вас? У нас на складе нет... Та-ак, дверцу всю менять придётся, выписывайте дверцу...

Ползает под машиной:



... А это?.. Тоже рассадили?.. Хе-ге-е!.. Этого тоже у нас нет.

Поднимается:

... Чего ж начинать? Незаимением — не можем. Вы сперва достаньте детали.

Завкадрами:

— Вам приказано начинать пока!

Но и Пашка в заносе:

— А что вы мне принципы ставите? Из воздуха я не могу делать? К понедельнику достаньте всё — начну.

Майор за спиной — как демон. Подталкивает Пашку, отворачивает. Пашка ему искоса, со злостью:

— Бери, майор, бюллетень! Бери дней на пять, мать их!..

Майор уметнулся. Пошёл Пашка развалочкой к нам сюда.

В кадр попадает и Эля. Померкла она, слов у неё больше нет. Длинным сумочным двойным ремнём обтянула шею, как душитья собирается, и только видом умоляет. Посмотрел на неё Пашка:

— Ну, где твоя машина? Вон за тот забор объезжай, приду.

**Знак смены эпизодов.**

= Долгий низкий каменный забор, вдоль него — пустынная пыльная улочка с канавой, кустами. От нас туда, вперёд, катит знакомая машина с разбитым задом. Останавливается. Выходит Эля, смотрит

= на забор. В одном месте как бы ямка в нём, вылом. Над выломом показывается голова Пашки. Усилие плеч — скок! — на заборе — и через забор. Привычно, у них тут тропка хоже-ная.

— Работаешь, как воруеть, — говорит Пашка. Подходит — удивленье и смех на его лице:

... Ну-у! Растюхала ты машинку!.. Ну, растюхала!

= Вид машины сзади. И правда, как тут не рассмеяться! ... Да ты небось задним ходом семьдесят кило-метров давала, а?

= Эле и тошно и смешно. Смеётся вместе с Пашкой. Он примеривается, кой-где руками трогает. Нагнулся: — Как это у тебя бак не потёк? Вот счастье... Ты б и до меня не доехала. Вмятина в полба-ка, а не потёк. А ну, дай на двенадцать!..

Снизу требует рукой, но Эля не понимает, заметалась: — Чего — двенадцать?

Высунул Пашка:

— Ключ! — на двенадцать. Не понимаешь? Нет?

Все выражения Эли очень искренни, особенно — полное непонимание.

Поднялся:

— Ну, кой дурак вам права даёт? Где у тебя ключи?

Эля пожимает одним плечом, такой жест у неё.

Пашка поднимает крышку багажника, роется:

— Вот это твой инструмент?.. Половины ключей нет... Монтажной лопатки ни одной.

— Лопатка есть, пожалуйста!

— Ман-таж-ная!.. Смотри, зато деньги лежат — трёшка, мелочь. Да кто ж в багажнике деньги держит? Ну-у, ты-ы! —

изумлённо хохочет Пашка, вскидывая руки. Ворот у него широко расстёгнут, одной пуговицы нет, у плеча

дырочка, волосы кое-как, он их назад забрасывает иногда. Хочет и Эля с ним вместе:

— *Случайно!.. Положила — забыла...*

— *Да-а... Значит, машина — баткина? Будет тебе голову откручивать?.. А где он работает?*

— *На Космосе.*

— *Где ж это?*

— *Так секретно, даже мама не знает.*

Ещё Пашка смотрит машину.

— *Да-а... Значит, тебя — Елена?*

Приосанилась:

— *Эльвина.*

Теперь не понял он:

— *Ль... Львина?*

— *Эльвина. Зовите Эля.*

— *А внутри у тебя не может быть инструмента?*

— *Честное слово не знаю.*

Разом идут с двух сторон машины, открывают задние дверцы

= и там внутрь всовывают головы. А на заднем сиденьи — пассажиры! —

плюшевый слон с хоботом и огромными ушами и такой же медведь — каждый размером с пятилетнего ребёнка.

Пашка глазам не верит:

— *Это что такое?*

Эля берёт слона на руки и приласкивает:

— *Дружок Базилио, символ дружбы!*

— *А — зачем?*

— *Подарок. Талисман. Приятно иметь: получается, человек уже не один.*

— *Ну-у, ты даёшь! —*

восхищается Пашка.

...*А инструмента нет?*

= Нет.

= Низкая чёлка. Ногти ко рту подставлены, как бы грызть:

— *Не починим? Нет?..*

= Так друг против друга и согнулись, в машине.

— *По силе возможности. Ты думай — как красить?*

Условный свист.

= То место забора, где вылом. Показывается голова подсобника.

А Пашка — здесь, на улочке.

— *Как там?*

— *Оторвались.*

— *Ну, кидай. Домкрата — два, у ней нет.*

= И полетели через забор: отрезки труб, куски досок, домкрат линейный, домкрат гидравлический, ручки к ним, молотки всех видов до крупного деревянного (киянки). Всё летит через забор само собой и кувыркается в воздухе, только это и видим. И наконец подсобник ловко лезет через забор и сам, с чемоданом.

Спрыгнул. А уже Пашка подхватывает, подхватывает всё брошенное, оба хватают, быстро, как на пожаре, и тащат к машине. Это слаженно у них получается.

Всё известно, кому что делать.

= Пашка распаивает чемодан, там — мелкий инструмент,

= и они начисто снимают крышку багажника.

Звяканье работы. Снятые винты, гайки, накладки падают в железное.

— Ставь вот так! —

показывает Пашка, и подсобник, поставив и удлинив стойку линейного домкрата трубою, упирает всё это, ещё подмощая кусками досок, в заднюю и переднюю стенки покорёженного багажника. И Пашка ставит под углом на распор так же второй домкрат.

— Начали!

И — качают, качают. Домкраты растут — и распорным усилием вдруг начинает выпрямляться безнадежно смятый багажник.

На лице Эли радость:

— Неужели так можно сделать, чтоб ничего не заметно?

Пашка гордо:

— По силе возможности!

Но — оклик:

— Паша! Паша!

= Над забором — голова второго подсобника:

*Требуют тебя!..*

= Пашка отрывается как кот от сметаны:

— Кто-о??

— Да кто ж может!..

Зол Пашка:

— Аг, свинота черноморская! Никогда поработать не дадут! Поработать — никогда!..

Смекает. Делит инструмент.

*... Вот что... Это всё пусть у тебя... Крышку — с собой возьмём, там выправим. Я там как-нибудь отбортуюсь, ребят на посты расставляю и через часок сюда выпрыгну. А ты — сиди жди. Мы куда-нибудь в другое место мотанёмся. Здесь всё равно не дадут.*

Но с сомнением:

*... А — с тобой-то справлюсь без Ивана? Ты хоть трубу в руках удержишь? Ну, покажи!*

Эля берётся за распёртую трубу. Стонет Пашка:

*... О-о-ох, начеканят вас таких, а куда девать?*

Подсобник:

— А как же с рыбалкой, Пашь?

Сердит Пашка на девицу:

— Как, как! Вот нашьют этих стилаг, трубой их по заднице, нет рабочему человеку отдыха...

= Эля держит палец под глазом. Она всё же надеется...

= Забор. Лезет подсобник туда, назад.

Подаёт ему Пашка наверх изувеченную крышку багажника. Чемодан.

И сам лезет.

Скрылся. Пустой забор.

Знак смены эпизодов.

= Видим сзади: катит знакомая машина, МОЯ 22—22.

Без крышки искалеченный багажник выглядит как разъявленная измятая пасть. В ней подпрыгивает пустой канистр, искривленное колесо и дребедень.

Нагоняем. Через заднее стекло

= на заднем сиденьи видим крышку багажника, кажется выправленную, как должно быть, из-под неё и голову плюшевого медведя.

= Внутри. Две знакомых головы в затылок. Эля ведёт, Пашка рассуждает:

— Мо-ожно в какой-нибудь гараж попроситься, меня везде пустят. Но мне эти гаражи все настособачили, я из них не вылазю. Духота, бензин... Мы в кустиках ещё лучше починим, и покупаемся. Инструмент

*есть. Поможете, подёржите.*

= Они как будто выезжают за город. Строения кончаются. Поля. Посадки.

**ГОЛОСУЙТЕ ТОЛЬКО ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА  
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!  
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ВЫЧЕРКИВАЙТЕ!**

= Их лица спереди. Эля крутит руль со значением, важно, не подумаешь, что из аварии только что. Она переделалась: на ней теперь трикотажная кофточка без рукавов и плечи голые, а ворот круговой, глухой, высокий, всю шею закрыл и даже с избытком, свисает немного. Пашка помолчал, посмотрел на неё:

— *А если б я не взялся чинить?*

Эля уверенно:

— *У меня — огромная интуиция! Я не сомневалась, что вы согласитесь.*

= Да, загородная местность. Вроде поймы, низменно. **ДЛЯ БЛИЗКОГО КОММУНИЗМА СТОИТ ПОРАБОТАТЬ!**

**НАША ОБЛАСТЬ...**

**ПО МОЛОКУ... ПО МЯСУ...**

= Их лица спереди. Эля:

— *Скажите, а где вы это всё научились?*

— *В армии. Там мастер классный был, у него. А билось много, иногда по пьяни. Как-то дежурный по части разбил генеральский «виллис», — так мы так отлакировали — генералу подали, он ничего не заметил. И ещё два года ездил...*

У него — живое, смышлённое лицо, у Пашки. Не так он прост, как вначале показался.

— *И как же в таком городе — и кроме вас второго нет?*

— *А шут их знает, куда они подевались. Не готовят... Есть, конечно, ну — не классные. С грузовыми справляются, а где по области легковичка разобьётся — ко мне. Я и не рад, покою нет... А вы что ж — студентка?*

— *М-гм. Вечернего.*

— *А днём работаете?*

— *Не-а.*

— *А — чего ж?*

— *Да — ничего, так просто.*

Пашка вдруг спохватился:

— *А права-то — есть у вас? Не потеряли?*

Эля безмятежно:

— *Не знаю, точно не помню. Посмотрите там в ящичке.*

Не успел Пашка и проверить, как

= милиционер у шоссе делает им знак вправо. Так, попались...

— *Ничего, это знакомый. У меня полмилиции знакомых, я же всем чиню.*

= И крутит ручку стекла, уже высунулся, сам руку тянет:

... *Привет.*

Милиционер не отказывается, тоже жмёт:

— *Привет. Куда собрался?*

Оглядывает машину, девушку. Пашка:

— *Купаться вот, с подружкой. Да и задок ей почию.*

— *Хо-о-о, тут тебе починочки! Где ж это?*



— *Да у нас во дворе саданули.*  
 Милиционер соображает.  
 — *Слушай, я на рыбалку, а мне чтоб в город не ехать, ты тут имущество моё подхвати. А я завтра вечером к тебе зайду.*  
 — *Давай, где? Большое?*  
 Пашка услужливо выскочил. Отшагнули немного — лежит  
 связка дорожных знаков на проволоке.  
 ... *Давай, давай!*  
 Пашка оттащил в машину, бросил под ноги себе, сел.  
 ... *Поехали!*  
 = Поехали.  
 Ещё по шоссе. Потом пашкина рука высунулась, показывает.  
 Свернули направо — по ямкам, по ухабам, по заросшей дороге —  
 и в кусты, в мелколесье.  
 = Вылезает Пашка:  
 — *Зде-есь!*  
 Тут же рубашку стягивает, брюки сбрасывает, остался в трусах.  
 ... *Ну что, купаться или вкалывать?*  
 Эля в своём глухом вороте с голыми плечами. Какое купанье?..  
 ... *Ах, холодок! Тут сразу работа пойдёт!*  
 Из багажника инструмент  
 кидает на траву, тут же чемодан разворачивает. Взял нужное.  
 ... *Ну...*  
 примеряется  
 ... *держи трубу! Держи, не бойсь!*  
 Наставляет домкрат, подкладывает дощечки, начинает распирать. И киянкой стучит. Но Эля дёргается — один раз... другой раз...  
 ... *Эй, смотри, руку отбью. Что такое?*  
 Но она опять дёргается, срывает нужную руку с трубы и  
 шлёпает себя по голой ноге.  
 ... *Что такое?*  
 — *Ко-ма-ры здесь!!*  
 — *Ну так брюки надень, ты ж в брюках была.*  
 — *Что вы, эластичные белые брюки? Да у нас ни одна девчёнка таких брюк не носит, это моя гордость!*  
 = Смотрит на неё Пашка, смотрит:  
 — *Этак мы с тобой, девка, не нароботаем. Этак нам здесь ночевать.*  
 Но Эля не обескуражена:  
 — *Ночевать? Тогда я телеграмму дам.*  
 — *Кую телеграмму?*  
 — *Маме. Что задерживаюсь.*  
 — *Нет уж, ты — держи! Крепче держи! У тебя время немерянное, а я человек рабочий, от меня люди зависят, меня люди ждут. Держи, ну!*  
 Эля старается. Пашка разводит домкраты, постукивает по корпусу. Нет, разочарован, не получается.  
 — *Да-а-а, ты наверно умоотсталую школу кончала. Что к чему — не соображаешь, и держать не умеешь...*  
 Думает.  
 ... *Ну, ладно... Слушай. Вот тут сразу пляж, на нём ларёк. Купи-ка пива бутылки четыре да пирожков с мясом десяток. А дальше пройдёшь — там*

*пристань, там и телеграммы... А я уж буду сам ковры-  
ряться потихоньку, ладно...*

Ложится под машину и начинает свинчивать погнутый задний бампер.

Звяканье.

Эля наклоняется над ним:

— А — комары?

Пашка из нижнего положения:

— А я комарами не интересуюсь.

**Знак смены эпизодов.**

Ещё без изображения

голос неподдельно-страстный, убеждённый, предчувствующий победу:

— *Как должен начаться день голосования? Вот так, как нам показывает журнал «Огонёк»!*

— Во весь экран — застывшая картинка, обложка

«Огонька». Шесть часов над дверью. Дверь от нас, как из храма, распахнута наружу, где ещё темно. Движением сдержанного торжества члены комиссии приглашают первых избирателей, уже давно стороживших под дверью. Избиратели держат в руках паспорта с повестками как молитвенники и восходят по ступенькам сюда, к нам, на участок. Глаза их блестят экстазом, это — небывалый, высший момент их жизни.

*... Мы должны сами ощущать и передать своё ощущение избирателям, что это — не просто выборы, не просто голосование, но день, когда чувства благодарности, гордости и ликования распирают нашу грудь!*

«Огонёк» держит поднятая рука

человека в полувоенном френче. Он именно так и чувствует, как говорит, это не притворщик, его голос горяч, для него это не формальность. Он держит «Огонёк» и внушает слушателям:

*... И особенно высокие обязанности этот день накладывает на нас, бригаду агитаторов при избирательной комиссии! Именно мы должны создать приподнятое настроение всему населению нашего участка! Именно от нас зависит...*

мы перестали слышать его слова,

он опустил «Огонёк»,

мы только вглядываемся в его лицо,

это экстатическое, туманно-пламенное лицо, и нам и без слов понятно и дорого всё, что он говорит. Он — красноречив, он — оратор, он — убеждён и заражает своим убеждением нас. Как на месте этот человек! Как верно нашёл он своё призвание! — и даже достоин большей аудитории, чем эта!

И ещё: кого-то напоминает нам это лицо уверенного пророка? Дантона?.. Робеспьера?.. Где-то мы видели...

— Это всё — в школьном классе. Ученическая стенгазета на стене. За партами сидят и слушают десятка три женщин. Нельзя сказать, чтоб слушали с заглотом, нет, даже несколько рассеянно.

*... Вы, агитаторы, всё ещё плохо понимаете свои гражданские обязанности. Сердечные собеседования с каждым избирателем вы подменяете проверкой списков, да и то не качественной...*

За задней партией — Лира Михайловна. По росту ей как раз за школьной партией и сидеть. И, как школьница, она за спиной впереди сидящей читает своё: толстый том, и делает в нём пометки.

Но припрятывает книгу и делает внимательный вид, когда ей кажется:

Бригадир смотрит на неё. Да где мы видели его прежде?..

*...Вы не выявляете морально-неустойчивого элемента в своём микрорайоне и не докладываете нам своевременно...*

...вот как сейчас особенно, когда Бригадир кулаками прямых рук упёрся в учительский стол перед собой и провидчески смотрит выше слушателей, прямо и вверх, отчего несколько и исподлобья?..

*...А завтра, я знаю, вы броситесь в домоуправления брать справки на уточнение фамилий и годов рождения, и на убытие. А завтра, я знаю, вы будете не досчитываться своих избирателей. Но!*

...на кого же?..

*...Лично у меня традиция: на моём участке не бывает явки девяносто девять с половиной процентов, ибо это — полпроцента позорной неявки!*

А вот, пожалуй, на кого, вот на кого: на Керенского!

*...У меня бывает только сто процентов! — круглых сто! И я не позволю никому уклониться! И я не позволю никому из вас потерять ни единого человека! Каждый из вас будет завтра отпущен домой только тогда, когда всех своих представит к урне!*

Лица женщин. Есть испуг и неуверенность. Но одну за первой партой мы давно заметили: каждому слову Бригадира она твёрдо, уверенно подкидывает. У неё пышная голова и широкая челюсть.

*...И ещё наша традиция требует, чтобы главная масса пришла голосовать с шести утра!*

Робкий голос:

*— Сейчас это трудно...*

Пышноголовая:

*— Ничего не трудно! Надо работу вести!*

= Но Бригадир доступен и человеческим слабостям:

*— А вы когда будете последний раз обходить — шепните, что с утра в буфете кое-что будет.*

= Пышноголовая:

*— Правильно, ничего не остается! Потому что люди — эгоисты.*

Лёгкий гул несогласия.

Она ещё настойчивей:

*...Все эгоисты! Даже дети! Даже школьники младших классов!*

Гул сильней.

= Правда, Лира от книжки не отрывается, ничего не слышит.

Но рядом с говорящей — несогласные лица. Она же, крутозамешанным крепким голосом:

*...Я свой класс обучила правилам уличного движения. Потом спрашиваю: а зачем вы изучали правила? И все хором мне говорят: «чтобы не попасть под машину»! А? Каково??*

Не поняли. Женщины-агитаторы, а не поняли ничего.

*...Тогда собираю родительское собрание: «Товарищи! Позор!*

Она встала, уже с классом разговаривает.



*ми рассказами?*

Где уж там не мешает, когда растрвила. Бросил Пашка работу, сел на обрез проёма багажника, держит как посох — длинный бампер, уже выправленный.

Да и смеркается.

— *В общем, вы хорошо живёте, да?*

— *Ну, просто лучше не может быть. Очень хорошо!.. И нам хорошо — и никому плохого от нас нет... Неприятности — мелкие, главным образом по деканату... Так вот и жить! Делать, что тебе нравится, никому не мешать, и чтоб тебе не мешали. Это неправду говорят, что вот — борьба за существование. От человека самого зависит никогда не расстраиваться и хорошо жить...*

Вздыхает Пашка. Уже он виден неясно.

— *А мне — плохо жить... И почему, скажите? Работы хватает. Денег хватает...*

— *Просто вы не нашли хорошей компании. Можно очень хорошо жить.*

— *Квартира — как конура собачья, оторви да выбрось...*

— *А чего ж вы в хорошую не переедете?*

— *Да её — на деньги, что ли, купишь? Для этого ходы знать надо... Так вот и жена ушла...*

— *Вот редкий случай! Всегда мужья уходят.*

— *И сынишку забрала. Судиться думал — отговорили...*

— *Замужем? — я думаю, мне ещё лучше будет, чем сейчас. Я стану самостоятельной. А все хорошее останется. Если будет муж из моего круга.*

Совсем темнеет.

— *Ладно. Разводи костёр. Будем при костре работать.*

**Знак смены эпизодов.**

== Переменное освещение близкого костра. Всё тот же задок машины. Крышка багажника еще не навешена, а линии так восстановлены, что не угадать недавней аварии.

Где же оба? Пашка — под машиной, привинчивает бампер.

Кряхтит, тужится, постукивает:

— *А у костра сидит Эля. Она в своей двуполосой блузке опять. Она сморена, полузасыпает, но что-то ещё рассказывает — не в полный голос, не именно даже Пашке, он через стук пожалуй и не слышит, а — кому-то приятному, понимающему, кому она хочет нравиться. Она — как будто не здесь, а в близкой компании и выпила немножко:*

— *Нас с ней по телефону все пугают. Потому что мы одинаково говорим: и интонации, и быстро, и слова съедаем. Это понятно, потому что наш язык очень неповоротливый. Язык жестов, язык чувств гораздо доходчивей... Всё, что в Нинке происходит, — мне всегда понятно. Но она влюбляется не в тех, в кого бы мне хотелось... В ней недостаёт лирического, поэтического...*

Сзади Эли в кадр вошёл Пашка. Уже не на привязчивого заказчика, не на девчёнку, не умеющую тру-

бу поддержать, — он смотрит на неё иначе совсем, подходит по-новому...

*...У неё и вкусы бывают отсталые. Она может лягнуть, что ей Евтушенко нравится. А это уже не модно, даже неприлично, так говорить нельзя. Даже если нравится — надо скрывать. Сегодня большой, невероятный шик — сказать, что со страшной силой любишь Цветаеву...*

Пашка сзади и сверху берёт Элю за голову. Она, чуть извертясь головой в его руках:

— А вы обратили внимание, что у меня затылок — греческий?

Пашка снижается, как рухнув, охватывает её за плечи, ищет поцеловать. Эля хохочет, отмахивается:

— Да что ты! Да что ты! Да это же старина! Так давно не делают! Это только в плохих фильмах, это вкус дурной!..

Так резко, уверенно она отсекла — Пашка и опешил, и руки опустил. Конечно, он — вахлак, сам сознаёт, но — как же надо? Как же теперь делают?

Эля слегка очнулась из опьянённо-сонного состояния:

— Ты почему ж не работаешь? Много ещё осталось?

— Теперь — шпаклевать...

— Это что? — шпаклевать?..

— Все места помятые, где краску будем ложить, — мастикой, лопаточкой.

— А — есть тут?

— Что?

— Мастика, лопаточка.

— Есть.

— Так чего ж не работаешь? Давай.

Она встала, потянулась.

*...Время-то — второй час ночи, давай!*

Сильные руки, сильные плечи Пашки. Его клонит — кинуться на неё, — но она так уверенно держится! она все порядки знает, нельзя переступить, нельзя себя деревней выставить...

И он идёт, голову опустя, к чемодану. Достает лопатки, мастику и начинает шпаклевать.

= А Эля, вытянув руки к звёздам, прошлась немного. Посмотрела вверх.

Идёт к машине.

= Вынимает ключ из зажигания,

= запирает шофёрскую дверцу извне.

Тем же ленивым покойным (ко сну) шагом обходит нос машины,

влезает через правую дверцу,

= внутри разбирается, отваливает спинки сидений, что-то перекладывает, мостит. Ей видно

= изнутри, через заднее стекло,

как Пашка трудится над багажником, видно только голову его и плечи, но отражаются на них рабочие движения.

Посмотрел на неё сюда —

смотрит!

смотрит!! — и кинулся

оббежать машину, к задней дверце!

= Крупно дверца изнутри. Она отперта! Но прежде, чем Пашка коснулся снаружи, Эля успевает — хлоп! — заперла!

Пашка метнулся к передней! —  
но и тут — хлоп! — успела Эля нажать!  
= Он — бегом, назад, вокруг и к левой задней!  
= Крупно дверца изнутри.  
Но тут время есть, и Эля спокойно успевает запереть.  
Пашка — к шофёрской дверце! Жмёт, жмёт —  
не берёт.

Теперь вместе с ним снаружи  
= мы видим через стекло, как  
Эля всё так же, в неудобной случайной позе, на коленях  
достаёт ключик зажигания и побалтывает им, показывает.

Мы внутри.  
= Пашка десятью пальцами ломится в стекло:  
— *Открой!!*

Мы с ним снаружи.  
= Эля крутит ручку, опускает стекло на малую щёлку:  
— *Паша, это нечестно! А кто будет шпаклевать?  
Кто обещал машину к утру?*

Теперь изнутри  
= через стекло. Сердце и долг борются в Пашке.  
— *Шпаклевать мне — десять минут... четь часа...  
А что потом?*

Извне.  
= Эля — на часы:  
— *Да спать пожалуй... Переживаний сколько,  
столкнулась... Утром — ехать...*

Если спереди смотреть,  
= их видно обоих, её — через ветровое.

Пашка:  
— *Тебе — спать, а мне? На траве на мокрой?*

Эля в сомнениях:  
— *Тоже, конечно, непорядочно. А сена нигде нет,  
ты смотрел?*  
— *Какое сено в июне, ты подумала? Ещё не ко-  
сили!*

Вот огорчение... А у Пашки мысль:  
*...Поедем ко мне домой. Я всё равно шкурку  
забыл, мне шкуркой чистить.*  
— *Ты ж говорил — у тебя конура собачья...*

Пашка качает головой, сам понимает, что не то:  
— *Да, вообще-то у меня грязно... И посуда за ме-  
сяц... Я ведь там и не живу: днём — на рабо-  
те, вечером — по левой... Сплю там только.  
Но — спать можно...*

Извне.  
= Эля опускает стекло больше. У неё тоже мысль:  
— *Я лучше вот что предлагаю. Ты пока порабо-  
тай. Честно! И — не думай обо мне. Думай о  
разных неприятностях... о начальстве... И как  
тебя без наряда заставляют. И как тебя, может  
быть, будут судить за тунеядство. Вот как по-  
думаешь — тогда приходи.*

= Пашка жмётся, мнётся. Но порядочность побеждает.  
Да, кажется, он уже и о начальстве задумался.

Побрёл работать.  
= Внутри машины. Эля устало, блаженно укладывается  
спать, и приобнимает дружка Базиллино, слонёнка.  
= А Пашка сзади шпаклюет. Его лицо в мелькании кост-  
рового огня серьёзно, невесело.

= Костёр догорает без новой подброски.

Знак смены эпизодов.

= Пашка наклонился, вглядывается через стекло дверцы. Легонько одним пальцем стучит.

Отзыва нет. Мнётся около машины.

Не прыжком, но мягко взлезает на капот и прикорнул там, головой в ветровое стекло. Однако внутри машины

= Эля проснулась, видит

= тушу на капоте.

= Не проснулась, лишь прервалась на минутку. Открыла стекло. Сонно:

— Ну, остыл?

Не шевелится Пашка, молчит.

*...Ну иди ложись. Только не разбуркивай.*

Открывает ему дверцу. Пашка сползает, лезет внутрь, захлопывается.

*...А мне приснилось — у меня права отобрали, в милицию тащили... Только не разбуркивай. Уже ночи не осталось...*

Пашка и разговаривать не хочет, ложится спиной к ней.

А голова его западает, низко.

Эля ещё смотрит на него полусонно:

*...На вот! На под голову!*

Медвежонка ему суёт вместо подушки. Ничего, пришёлся.

= И Эля тоже отворачивается к своему «друзьку Базилио».

Так они и засыпают.

**Знак смены эпизодов.**

= Большие электрические часы. Пять часов. И перескочки стрелки дальше — нервные, беспокойные.

**Отступаем.**

= Это — в школьном зале, убранном под голосование.

= Идёт суета раскладки списков, бюллетеней, расстановки букв на длинном столе. Очень важно, очень стараются, очень ответственный момент.

= В полувоенном, а с выправкой гарцующей, расхаживает стройный Бригадир Керенский. В руках у него тоже список, и он отмечает приходящих агитаторов.

А звука — нет, всю сцену мы не слышим речи, может быть только музыку.

Он их упрекает, он им на часы показывает. Опоздавшие что-то там бормочут неубедительное.

Лицо Бригадира — светло и вдохновенно. Он — огненно провидит. Мелкие земные трудности не могут его смутить.

Он расхаживает походкой не то укротителя, не то полководца.

Что-то там беззвучно у него спрашивают —

он показывает длинной рукой, у него спрашивают — он посылает дланью, как за анчаром. И вдруг бросятся почти бегом

к запасному входу. Несчастливая! — маленькая, запыханная, виноватая, в двери — Лира Михайловна, наша знакомая.

Он ещё спросить не успел, он только навис над нею, — она оправдывается, она оправдывается, мелкими частыми движениями бровей, губ, пальцев она объясняет эту сложную, мучительную, безвыходную, роковую ситуацию, но нет прощенья на лице Бригадира. Он на неё даже не



смотрит, он отвёл лицо куда-то вбок и вверх  
мы следим, мы скользим  
через его плечо, по его поднятому надлокотью,  
всё вверх и вверх  
через локоть, предлокотье, кисть — о, как длинна,  
бесконечна его рука! — по пальцу,

а там уже ракетным прыжком

к часам: двадцать минут шестого! Правда, минутная  
стрелка пунктиром, туманцем силится подняться  
назад, вернуться в верхнее положение, — но тут  
же грузно падает в положение двадцати минут.

Дрожа от усилий, отряхиваясь, вопреки всем законам  
физики материального мира — дух стрелки, при-  
зрак стрелки поднимается, пятится, взбирается в  
верхнее положение, —

но падает секирою в «двадцать минут» — и ещё до-  
рубляющей конвульсией в «двадцать одну» —  
в «двадцать две».

= Лицо Бригадира. Разве есть прощенье? Разве может  
быть прощенье?..

= Лицо Леры. Нет, конечно. Прощенья ей нет. Она уби-  
та. Но она будет стараться! Она постарается загла-  
дить.

= По всему залу всё круче и заворотистей общая суета.  
Никто не остаётся вне движения. Оббегают стол и  
бегут через зал, и потом назад, убегают во многие  
двери и возвращаются. Несут живые цветы и  
устраивают их около большой урны. Ведут пионе-  
ров и обрабатывают, как они по обе стороны урны  
будут стоять и отдавать салют. Распечатывают пач-  
ки бюллетеней и раскладывают их в стопки перед  
буквами. И — иначе распределяют. И — ещё ина-  
че. И считают. Весь зал охвачен и пересечен движе-  
нием, кроме

трёх сиротливых, с распахнутыми занавесками, ка-  
бин для голосования,

в стороне, не по пути от стола к урне и никому не по  
пути.

= А Бригадир упруго ходит важнейшим и главным  
здесь, как будто и не каждого направляя, но в  
нужную минуту указывая долгой рукой, удлинён-  
ным пальцем. Он — на подъёме всех чувств, он  
праздничен.

= Однако вот появляется из запасной двери наш неза-  
метный скромный Гурий Акинфович, —

Бригадир, выявляя, что он — не главный здесь, ока-  
зывается, — спешит со всех ног приветствовать  
Гурия Акинфовича, доложить ему о состоянии  
боевых дел, об успехах и тревогах.

И уже Гурий Акинфович малыми поворотиками ма-  
лой головы выносит окончательные суждения.

= Но вот прорыв: из кабины для тайного голосования,  
несколько не разводя занавесок, ибо они прибиты  
так, чтоб ничего не заслонять, одна женщина пока-  
зывает пустую чернильницу, переворачивает её:

чернил-то нет!

От одного к другому передаётся суета: чернильницы  
пусты! нет чернил!

Гамлетовские думы проходят по лицу Бригадира:  
как быть?

= На часах — без четверти шесть.

= Гамлетовские думы. Порыв — броситься? добиться?  
найти?

Но Гурий Акинфович спокойно отпускает тревогу:

- ну, вздор же, вздор.  
 Теперь и Бригадир понятно: зачем, в самом деле?  
 всё разрешилось.
- И понятно женщинам: из-за чего тревога? Пустые чер-  
 нильницы разносят опять по кабинам.
- = У длинного стола. Пышноголовая с широкой че-  
 люстью волнуется:  
 — *Нас обсчитали! Нам бюллетеней не добавили.  
 И тех, и других! Больше ста! Что делать? По-  
 шлём в окружную?*
- = Но Гурий Акинфович своим аккуратным голоском:  
 — *А вы — не добавайте.*  
 — *Как не добавать?*
- Начальнику даже странно, что нужно объяснять по-  
 дробнее:  
 — *Присматривайтесь. Кто не понимает, старуш-  
 ка какая,— вместо двух бюллетеней суньте  
 ей один. Что ей, не всё равно?*
- На лицах комиссии: верно! а ведь верно! Опять же  
 просто!
- = А Бригадир перед кучкой своих агитаторов — послед-  
 ние роспески красноречия с убедительным трепы-  
 ханием рук. Что за самоотверженный человек!  
 И сколько энергии! Уже, впрочем,  
 нарастает музыка!  
 рассеянная улыбка близкого торжества пробивается  
 на его лице.
- Наплывом**  
 = то прекрасное видение — та обложка «Огонька», от-  
 крытие двери.  
 = А над дверью — как раз шесть часов. Очень похожее  
 расположение.
- Музыка громче! Музыка громче!  
 = Общий вид зала, как бы сверху. Всё на месте! Всё за-  
 стыло. Избирательная комиссия сидит за длинным  
 столом. Пионеры стали на почетную вахту у урны.
- = Бригадир и одна женщина из избирательной комиссии  
 идут к главной большой двери (всё очень похоже  
 на «Огонек»),  
 величественная музыка  
 одновременно раскрывают половинки двери,  
 а там, за дверью, тоже на верхних ступеньках,  
 = несколько деловых старушек с хозяйственными сум-  
 ками. Они спешат, отталкивают и обходят друг  
 друга с одной заботой
- во все их голоса:  
 — *Где буфет?.. Где буфет?.. А чайная колбаса  
 есть?..*
- = Бригадир отшатнулся. Ему на миг нехорошо.  
**Знак смены эпизодов.**
- Музыка.  
 = По пустой, ещё утренней улице  
 спешат, спешат, подбегают на ходу знакомые нам аги-  
 таторы-женщины,  
 они стучат в окна низких домиков,  
 входят в калитки, в двери, в парадные,  
 стучат, звонят.  
 = И на той же улице во встречном направлении появля-  
 ются люди,  
 = всё больше.  
 = Они — другим шагом идут, праздничным, законно  
 попирающим землю: мы в своей стране, на свои  
 выборы идём! Они идут

парами,  
и целыми семьями, это — торжественный момент.

Что-то и в петличках, груди выставлены.

Это очень торжественный момент!

= И всё гуще.

= Да просто валят, улицу запрудили!

= Они сходятся с разных улиц —

к площади со сквером, с моделью Спутника в середине,

к школе, убранной флагами и лозунгами.

И — вливаются туда. Сгущенье в распахнутых широких дверях. Так входят на выборы, как выходят обычно из кино.

Знак смены эпизодов.

= Против солнца — блеск и плеск воды. Плавают шумят, смеются две головы.

— Ну, хватит, я устала.

Из воды на мосток взлезает и садится отдыхать

Эля. Вода с неё стекает, а она сидит блаженно.

Медленно шапочку сняла, поправляет волосы.

= Какое хорошее утро. Как красиво.

И — никого...

— Слушай, Пашь, а ваш город что? — купаться не любит?

Пашка из воды:

— За уши не оторвёшь.

— А почему ж нет никого?

Пашка тоже рядом вылезает, садится.

— Прямо диво. Воскресенье, солнышко такое — и нет никого. И даж' ларьки закрыты. Хоть бы рыбак какой прорвался. Может милиция задерживает?

— За что же?

— Да мало ли. Карантин какой...

— А может пляж на другое место перенесли?

— Не знаю. Никто не говорил. Вчера-то купались... Чего-то в городе случилось.

Сидят, жмурятся.

...Скажи, а кто тебе «дружка Базилио» подарил?

— Ты мне, дружок, ремонт затягиваешь, вот что.

— Да теперь-то что? Ночь всё равно прошла. Покупаемся, к вечеру сделаем.

— Ты что, к вечеру! Я телеграмму дала — «до утра».

— Да батька ж твой — на Космосе?

— Вот именно по субботам домой приезжает. Да если машины нет в гараже — это он уже ночь не спал. И завтракать не будет.

— А — что тебя нет?

— А что я? Я — свободная личность.

С новым порывом, руку ему на плечо.

...Пашь! Но ты ж мне сделаешь — как новенькую? Чтоб, ну, совсем ничего не заметно?

Иначе он меня за руль больше не...

К Пашке возвращается его значение.

— Совсем как новенькую — надо в мастерской делать. А не в кустах тут с тобой... барахтаться... Без станка, без подсобника.

Её раскованная жестикуляция, эти вывороты кистей.

Запросто тормозит собеседника за волосы:

— Дружок, ну постарайся! Мне ж иначе никак нельзя!..

Мастер соображает дело, ласками-трёпками его не

собрёшь:

— Я ж говорю — генерал два года ездил, ничего не заметил. У нас по пьяному направлению ка-кие машины долбали!.. Сейчас всё от покраски зависит, точно ли краска подойдёт. Там щёлка если под крышкой будет — мы пороном проложим. У меня дома со шкуркой и пороном не забыть. А вот — где в воскресенье красить?..

Пашка озабочен.

... Во вторую больницу поедет. Там я главврачу чинил, меня знают. И компрессор у их всегда на ходу.

С просветлением:

... Я на весь город работаю, девка, — но и мене весь город не откажет!

**Знак смены эпизодов.**

**Выстрел! Выстрел! Выстрел!**

= Это — в «козла» заколачивают (распустёхами сидят, своё отголосовавши) четверо, а рядом на лавочке пятый наблюдает, с младенцем на руках.

Это тот квадратный врытый столик

во дворе, где мы уже были.

На косой двери приземистого флигелька по-прежнему приколота бумажка

**крупно**

«... мне надо иметь уверенность, что вы знаете...»

Забивают в «козла» оглушительно, но верещит, не уступая, и женский голос:

— Разве можно ребёнка в магазин послать?! Дала ему точно два двадцать три, а с него рубль двадцать три, знаю, что на мелочи обдувают... —

= Жалуеться соседкам —

... Так она ему не рубль дала, стерва, а всё равно мелочи насовала — девяносто три копейки! Обронил, говори?

Заплаканный мальчишка отчаянно мотает головой.

... Тогда — пошли! пошли! Я ей врежу!

Уволакивает его за руку, тащит и бидон и батон назад в магазин.

В калитке проталкивает, не пускает раньше себя встречную.

Та входит потом. Это

Лира Михайловна. Она торопится, спотыкается. Посмотрела на

= записку — на месте, как и была!

= Озирается Лира. Ни к кому, беспомощно:

Товарищи!... Ну где же Алесенков Павел?..

Бах! — в домино.

... Ну что ж он?.. так и не ночевал?..

Бах! — в домино.

Она к небу поднимает просительную голову,

= нет, к открытой веранде второго этажа. А там — наша старуха крупноногая:

— Стало быть, не ночевал, куды-то записотился.

Уж я б то не пропустил. Я в доме ничего не пропусти!

Бахают в домино.

— Но где ж мне его искать, посоветуйте...

Старухе и сочувственно и смешно:

— Да ведь парень, можно сказать, холостой. Сама догадайся, девушка, где его искать на воскресенье в ночь?.. Ещё, небось, глаз не про-

*драл, нежится. Да чего ты беспокоишься? Придѣ-от, день большой!*

= Лира, как она видна сверху старухе:

*— Вы понимаете, нельзя ждать, с нас требуют, чтоб с утра голосовали. Мне необходимо срочно его искать!.. Теперь этот... Мурзаков Никифор, он-то где?*

= Старуха на веранде:

*— А Мурзакова — с Юльки спросим. Юлька! Юль-кя-а!*

Из другой двери на той же веранде выскакивает простоволосая растрѣпанная ходовая боевая, со жгутом мокрого белья:

*— Кто меня, ну?*

Такую затронь — не рад будешь. Но и старуха крута:

*— Где твой Мурзаков? Подавай Мурзакова!*

*— А что я — к ему приставлена? Я за ним не хожу!*

Старуха — грозней:

*— Ты — и не кричай! Берѣшь деньги как за мужа — и отвечай как за мужа! За это строго, учти! Бумажку напишут — и тебя тоже сгрудят, это у нас мигом. Пока приглашают, как господѣв — надо идти искать!*

Юльку пробрало. Она вниз уже с извинением:

*— Ну, понимаете, две недели его не было, сама беспокоюсь. Вот как паспорт приносил тогда, вы велели для проверки — с тех пор и за паспортом не зашѣл.*

= Вот так и идѣт разговор: эта — наверху, та — внизу:

*— Но вы должны были раньше побеспокоиться, вчера! Если бы вчера — я б могла его своей волей вычеркнуть. А сегодня — никак...*

Юлька отнюдь не хочет скандала:

*— За это вы правы... Да ведь с ног сбившись...*

= Впрочем, у Леры мысль:

*— Я вас очень попрошу — возьмите его паспорт и спуститесь ко мне на минутку.*

= Некогда Юльке, но — не ссориться. Метнулась в дверь, метнулась оттуда. Вниз по лестнице

с гулким стуком.

= А старуха свесилась, следит, у себя во дворе ей нельзя пропустить.

= Подошла Юля к агитаторше. В распаренных руках держит паспорт. Лира Михайловна отманивает её дальше к воротам:

*— Мне бы хотелось... конфиденциально...*

Отходят. Смотрят паспорт. Секретничают:

*...Вы знаете, чтоб ни вам неприятностей, ни мне, возможен такой выход...*

= Старуха наверху извелась — не слышно, как бы через перила не грохнулась.

= А там — совсем тихо:

*...Попросите кого-нибудь из родственников или кому из соседей доверяете — пусть он с этим паспортом сходит и проголосует. Я обещаю: всё обойдѣтся гладко.*

Юльке понравилось. Она чуть оглянулась — и сразу решительно зовѣт:

*— Сѣм! А, Сѣм! —*

того пятого наблюдателя при домино, с младенцем увѣрнутым. Семѣн голову поворачивает — да какой же он вялый, квѣлый:

— Чего?

— Ходь сюда, дело есть.

Поднимается, доходной, у него и голова полулысая, золотушный, что ли, и как-то набок, и с глазом одним не в порядке. Подошёл. Юлька уверенно:

— Сём! Сходи за Мурзакова проголосуй. Вот тебе паспорт.

Не из тех он. Не из тех он, кто сразу отвечает. Он и слышит-то не сразу. По лицу его видно, как медленно вникает в него мысль, вошедшая в уши.

А потом в его голове, с боков приплюснутой, прорабатывается.

И готовится какой-то ответ.

И поступает внутренними каналами к языку:

— А меня — не подвесят?

— Лира Михайловна — очень оживлённо, убеждённо:

— Никогда! Ни за что! Я вам гарантирую! Это же не первый случай, так делают! Потому что выхода нет! Если домоуправление не может дать справку о выбытии...

Их головы — в одном кадре (и ребёнка верхушка).

Она могла бы так и не частить, она только затрудняет всему циклу пройти в голове Семёна.

Идёт процесс, идёт.

— А — не соответствующее фото истине?

Юля заколебалась:

— Конечно, Никифор — чёрный и кудряш, тут видно в паспорте. А этот — гологоловый.

Но Лира — ещё оживлённей (ведь такой простой выход! целый день она может на этом проиграть или выиграть):

— Я вас уверяю, что всё будет в порядке! На фотографии никто и не смотрит. Да я сама там буду рядом, я вас выручу!

Юлька:

— Да чего, правда, боишься? Паспорт — Мурзакова, не твой. Отымут — и оставь им, шагай себе.

Весь цикл заново. Наконец вымалвливается:

— Но герой подлога являюсь не он, а я.

Толкает его Юлька в плечо и в спину:

— Иди, иди, не мудруй! Сделай людям одолжение!

— Все они вместе у ворот. Ещё не совсем поддался бедняга:

— А — ребёнка? Тогда ребёнка возьми...

Отрекается Юлька:

— Ещё чего! А стирать за меня — ты будешь?

— Старуха наверху. Всё поняла! И одобряет:

— Она тебе там подёржит! Агитаторша подёржит! Ступай с Богом! Помогите людям!

— По улице прогулочным неспешным шагом выступает золотушный парень с младенцем. И рядом, сдерживаясь, Лира Михайловна с паспортом.

Знак смены эпизодов.

— Большой зал голосования. За длинным столом полотины обслуживающих уже нет, таблички букв сдвинуты по несколько вместе.

Пышноголовая:

— Как раз сошлись бюллетени. Точно хватило!

Не к ней, а к тихонькой женщине при букве «М» подходит поспешно радостно Лира Михайловна, вы-

- кладывает паспорт:  
 — *Вот, привела, Мурзакова Никифора, пожалуйста-ста!*
- Принимает ребёнка от золотушного.  
 Женщина ищет по списку:  
 — *Мурзаков Никифор, а по отчеству?*
- = Золотушный — голову набок, глазами — на Лиру.  
 Цикл начинается.
- = Лира ему губами немymi выговаривает, выговаривает.
- = Куда там! Не слышит Семён.
- Завопил ребёнок  
 = в руках у Леры. Она качает его неумело, торопит регистраторшу:  
 — *Да один у нас такой Мурзаков, один!*
- Пышноголовая с широкой челюстью:  
 — *Не скажите. Прямо вылитый такой же у меня сегодня был. Может, близнецы?*
- = Выдали золотушному бюллетени. Он взял их, рассматривает.  
 Ребёнок надрыдается. Лира:  
 — *Скорей, скорей, Мурзаков!*
- Подталкивает его к урне, несёт ребёнка сзади.
- = Пионеры у урны отдают салют.  
 = Отдала Лира младенца,  
 идёт весёлая назад.
- = У конца длинного стола сидит Гурий Акинфович. Раздобрен, как купец у самовара после десятой чашки.  
 Перед ним приплясывает от бездействия, в жажде разминки, инициативы, Бригадир.  
 Заметив Лиру — чётко, строго, слова, как выстрелы:  
 — *Так! Сколько у вас осталось? Кто остался?*  
 — *Только Алесеенков. Один.*  
 — *Доставайте!* —  
 командует Бригадир. Но зацепил ухом Гурий Акинфович:  
 — *Это какой Алесеенков? Не автомобильный мастер?*
- Лира вспоминает:  
 — *Кажется... да. Да!*
- С приятной улыбкой:  
 ...*А вы его знаете?*
- = Но на лице Гурия Акинфовича воспоминания не приятные:  
 — *А ну-ка, Бригадир! Давай его сюда! Сам давай! А ну, мы его сейчас прижучим!*
- = Он — пружина, Бригадир! Да и радость-то какая!  
 Ему этот зал был тесен — тут расхаживать да указывать. Он весь готов к поручению дальнему!  
 Экстатический блеск опять в его глазах! Чем опаснее поручение — тем ответственной! тем важней! тем нужней!
- Срывается с места:  
 — *Где там дежурная машина??*
- Знак смены эпизодов.  
 = Элина легковая всё ещё с раскрытым зевом багажника  
 вырывается на знакомую улицу,  
 к воротам того дома. Пашка выскочил, полны руки инструмента:  
 — *Сейчас я, не глуши.*
- Мотор работает.

- ...А может зайдёшь?.. Да  
только... неловко... показывать нечего...
- = Но Эля командует с шофёрского места:  
— Шкурку! И поролон!
- = И Пашке уже в калитку бы входить — руками не откроешь — как видит
- = автомашину грузовую с крытым кузовом, как она сворачивает из-за угла сюда, на нашу улицу.
- = Насторожился Пашка, сильно насторожился!
- = Ещё машина далека, ещё неопытному глазу её и не опознать,
- = однако Пашка в тревоге спешит назад, в элину машину:  
— Э, э, от этой тикать нам надо! Скорей! Открывай, ну!
- У него руки заняты, а она замешкалась с дверцей.  
...Да скорей же, тюха-пантюха!
- Открыла Эля. Он ввалил весь инструмент внутрь, сам вскочил:  
...Разворачивайся! Быстро!
- = Да не очень проворно у неё это получается.  
...С тормозаними!
- = Стала разворачиваться — не хватило ей ширины улицы, тут и ямка, тут и дерево, теперь надо задний ход.
- = А та машина катит и катит сюда! Уже близко!
- = Эля старается изо всех сил, лицо напряжено, как будто она машину ртом поворачивает.
- А Пашка крутит головой: и как та машина подходит, и как здесь разворот идёт:  
— Это — машина техпомощи, со станции... У нас с ними расчёты не в балансе... Я у них кой-что на складе перехватил... Мне с ними никак встречаться нельзя... Да не томи же, ну!..
- = Наконец-то! Развернулась кое-как, поехала, поехала...  
— Когда спешишь — никогда не получается!.. —
- = досадует, и оправдывается, и сочувствует Эля. Нет, она деловая, понимает: удирать так удирать!
- = А та машина — к воротам подходит. Действительно, «Техпомощь» написано на боку. Впереди, над кабиной, малое обрешеченное окошко.
- = Поравнялась с воротами, остановилась — и выскочил из неё  
Бригадир агитаторов. Легко несётся к калитке, будто по воздуху,
- = а у калитки Юлька стоит, семячки лускает.  
— Скажите, товарищ Алесеенков, автомобильный мастер, здесь живёт?  
— Да вон поехал.  
— Где?  
— Да вон, на легковичке.
- = Изумлён, ушами крылат Бригадир:  
— У него что — своя машина?  
— Зачем своя? Его весь город катает.  
— Та-а-ак! —
- = уже несётся Бригадир прыжками на своё место —  
...Шофёр! Догонять! «Вон ту машину — догонять!»
- = А элин «москвичок», всеми лапами и всем брюхом переваливаясь на неровных булыжниках и ямках этой покато́й улицы,  
уже внизу далеко  
и за угол заворачивает. И — потерян...



— *За ним! За ним!* —

= восклицает и простирает руку вперёд, да стекло мещает, наш Бригадир. Если б он мог ушами как крыльями — он уже бы настиг! Он ничего не умеет делать равнодушно, несомотверженно. Он знает, что нет черновых, второстепенных дел, которых стыдились бы большевики.

Однако его воодушевление нисколько не передаётся шофёру. Это — тот худой флегматик, которого мы видели на станции техпомощи. Он рулит себе, как рулит,

= чтоб свою машину на этих ямках не разгрохать.

А машина его чем-то сходна с «воронком»: тёмный кузов, заднее окошко, тоже обрешечено, боковых почему-то нет. Только что надпись: «Техпомощь».

= В кабине. Кипятится Бригадир:

— *Позор! Для такого дня не могли дать участку легковую! Конечно, мы их так упустим! Ты — побыстрей можешь? Побыстрей!*

Нет, не увлечёшь эту жердь! На флегматичном лице шофёра — малыми чертами недоумение: ехать-то куда?

= Они завернули туда же — а тут две улицы и даже три. Избирательные лозунги. Портреты кандидатов. А «москвича» с распахнутым задом — не видно.

Остановились.

Бригадир открутил стекло, высунулся, зовёт, машет:  
— *Эй! Эй! Кто там! Народ! Подойдите сюда!*

= Но народ, как будто к нему не относится, — всяк своей дорогой...

Оглянутся — и мимо.

= Нет почтения к грузовику! Не поленился Бригадир, выскочил,

одного, другого спросил, те — о подробностях, он объясняет, они вспоминают, оглядываются, руками показывают.

Есть разнобой в показаниях, но кажется — вот сюда! Бригадир — бегом к машине, как молодой, сил много, да и длинноногий.

= Едем. Перед нами развёртывается улица. Быстро едем.

Светофор. Верхний, значит — красный.

Остановились. И что за досада: пустой перекресток, и миллионера нет — отчего б и не проскочить?  
— *Езжай! Мы — избирательная!* —

= за рукав тянет Бригадир. Но шофёр как дремлет. Потом, не торопясь:

— *Красный светофор тоже полезен: он даёт время подумать.*

= Средний, значит жёлтый.

— *Ну, при жёлтом-то можно?*

— *Ни в коем.*

= А теперь поехали. И сразу с ходу быстро. Он дело знает, шофёр.

Пронеслись квартал.

Опять светофор. Жёлтый.

— *Ну, с ходу, с ходу!*

= Не уломаешь. Остановился.

= Красный.

А по улице, почти свободной от машин, вдали, суженной трубкой, как биноклем обёрнутым, виден желанный «москвич» с разъявленной задней частью. Он, кажется, остановился.

- *А-а-а!* —
- = стонет и вертится Бригадир.
- = Рванули!  
по прямой!  
— *Давай! Давай!*  
— *У нас в городе — сорок километров, больше нельзя.*
- = Чтоб два таких разных настроения у одного руля: на крыльях бы понёсся! — и камень лежачий.
- = А элин «москвич» действительно остановился. Шофёрская дверца не захлопнута, Эля в тревожно-заботливой позе стоит сбоку, наклонясь, а Пашка под машиной лежит сзади. Оттуда:  
— *Нет, едритская сила! не течёт! Не течёт, точно!*  
Оттуда выползает задом. Поднялся, перемазанный, рубашка в пятнах пыли, прямо на асфальте лежал:  
— *Сколько у тебя бензина было до аварии? Не помнишь?*  
— *Не помню...*  
— *Кто вас недоруких за руль сажает! Надо ж на приборы смотреть!.. Тут заправка есть — но там на талоны строго. Есть талоны?*
- Очень Эля огорчена, что такая она ненадёжная оказалась:  
— *Нет...*
- Размахивает Пашка руками:  
— *А талоны — ...н-на том конце, в керосиновой лавке. Да в воскресенье закрыта наверно. Понапугают людей, чтоб жизни не было!.. Э-э, слушай! Едут! Уследили. Уходить надо! Гони куда-нибудь, гони! Петля!*
- Разом бегут в машину, садятся, тронули, а впереди — красный свет.
- Голос Пашки:  
— *Гони при красном, я отвечаю! Гони, никого нет!*
- И правда, проскочили.
- = Внутри оба, спереди. За плечами их на заднем сидении видна крышка багажника.  
— *И гони, пока бензин... Будем гнать, что остаётся!*
- Пашка переклоняется, смотрит стрелку:  
— *На ноле, сучка! На ноле, и не дрожит! Не на далеко нам хватит... И как же ты канистры с собой не возишь?.. Эх, девка, хозяйки из тебя не будет, нельзя тебе замуж...*
- А она-то старается! — и лицом работает, и лбом работает, некогда волосы со лба...  
— *Ты мне хоть волосы поправь!*
- Он поправляет. Не держатся. Поправляет.  
— *Тоже безрукий! Чему вас в армии учат!.. Там заколки в сумке, найди, приколи!*
- Пашка ищет в сумке, возится в её волосах. Да забот много: и назад оглянуться, и вперёд дорогу сообщить...  
— *Теперь шоссе пойдёт, и ты давай километров девяносто-сто! Давай — сто! Где ты видела, чтоб грузовик легковушу поймал?*  
— *Что ты — сто! Я не могу сто. У меня при девяносто руль из рук вырывается...*
- Но она старается.

- = Несутся мимо последние городские дома, деревья...  
**ГОЛОСУЙТЕ ТОЛЬКО ЗА КАНДИДАТОВ...**
- = А он с её волосами ещё хуже напутал — у неё и так всё спереди, теперь совсем валяются.
- Ну и волосы у тебя...
- А — какие?
- Да век бы рук не вытягивал...
- Садись — ты хочешь?
- Да я не умею...
- Как — не умеешь??
- Вот так. Всю жизнь с машинами, спину не разогну, а учиться некогда было. Кому почишишь, тот сразу уезжает...
- Вертится Пашка беспокойно:
- Давай сто, я тебя прошу! Нам только с виду у них оторваться, мы в сторонку свернём, перехоронимся. Ведь бензин кончится!..
- Эля честно старается. Но — страшно:
- Нельзя больше восьмидесяти! Больше восьмидесяти, слышишь, у нас всё стучит. Развалится на дороге, и всё. Там под ногами у тебя — фляжка, дай напиток, горло пересохло.
- Пашка наклоняется, фляжку достаёт, поит Элю без отрыва от руля. Она на дорогу смотрит, он назад оглядывается
- = через заднее стекло «москвича» — вот он, вот он, Техпомощь-воронок, высокий, твёрдый, быстро идёт.
- Эля мычит, стонет —
- = это он переклонил, воду на грудь ей пролил, уж теперь ей вытирает, как может, а сам — на приборы:
- На ноле, сучка, не шелохнется!..
- Вертится Пашка — ну, какая защита на шоссе?
- Наклонился фляжку класть — и — что там под ногами?
- Поднялся оживлённый, весь соображение. Глянул вперёд, глянул назад:
- Стой! Быстро стой!!
- Эля ничего не поняла. Тогда он сам нажал, визг тормозов! и заглох мотор, кинуло обоих вперёд, Пашка лбом в ветровое, но уже выскакивает, кричит:
- Заводи скорей! Заводи!
- и бежит к столбу со знаком «стоянка запрещена». И навешивает сверху такой же точно круг (крючки на нём проволочные), но ограничение по скорости: «30». И — в машину бегом!
- = Взгляд по дороге назад: за изгибом дороги преследователей пока не видно.
- Жми скорей, Елена! Жми! Теперь оторвёмся!
- Хлоп дверцы.
- = Поехали.
- = Они проезжают какой-то населённый пункт: длинный забор, два-три дома за деревьями.
- ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА...**
- Ох, не на далеко,—
- = бормочет Пашка и из-под ног выбирает себе новые знаки:
- ограничение «20», ограничение «10».
- = Эля:

— А знаешь, я вспомнила: я вчера днём точно заправлялась. Если он не потёк — куда ж он делся?..

= Мы — в задней машине. Изгиб дороги — ограничение: «30».

Флегматик резко снижает скорость.

= На спидометре стрелка становится точно «30».

= Бригадир изводится:

— *Что такое? Не обращай внимания, мы — избирательная!! Мы — важное задание выполняем!*

— *До конца населённого пункта,*—

монотонно вещает Флегматик, как робот. Его не пробить, не пошевелить.

На лице Керенского — страдание.

= Смотрим на дорогу. «Москвича» нет. Но населённый пункт кончается. Ускорение!

ощущаем его,

ускорение!

и — знак: ограничение «20».

Резкое замедление.

= Спидометр: «20».

= Снаружи: как ползёт Техпомощь по сравнению со столбами.

= Флегматик непробиваем. Ни удивления. Ни сожаления. Ни надежды.

Бригадир кипит.

— *А теперь? Населённый пункт кончился! Почему может быть двадцать? Это ошибка!!*

Отповедует Флегматик:

— *У ГАИ не бывает ошибок. Ошибаются только шофера.*

— *Так до каких же пор?*

— *До перекрестка.*

— *Какой же в поле перекресток?!*

— *Поедем — увидим.*

— *Да ты смотри — вон же они! Жмут, уходят, почему им не двадцать?*

— *Значит, после перекрестка.*

Нет, его не убедил! Хоть выскакивай и беги ногами!

= Вдали, по открытой дороге уходит, уходит «москвич» с разъявленной пастью, как смеётся...

= А Пашка у следующего столбика навешивает «запрет обгона».

= И тут же их разъяренная задняя пасть с подсакивающим внутри колесом обгоняет большой семитонный холодильник.

За холодильником их и не видно, совсем исчезли.

Вот так. Открытое шоссе — но один холодильник, их нет.

= Бригадир очень забеспокоился:

— *Слушай, они куда-то свернули! Их нет, они свернули. Давай остановимся, посмотрим!*

Флегматик. Это — пожалуйста, это требование законное.

= Техпомощь взяла вправо, остановилась. Бригадир выскочил, бегаёт, как нанюживает. Оглянулся, покрутился, глянул и вперёд —

= теперь хорошо видно: убегает «москвичок» по шоссе, всё больше отрываясь от холодильника.

= Даже руками всплеснул Бригадир, сломя голову — на место:

— *Нагоняй, нагоняй подлецов!*

= Мы рвём вперёд, но

- знак «запрет обгона».
- = И, в спину холодильника упершись, медленно плетётся Техпомощь.
- = Бригадир велит, приказывает обгонять:  
— *Да не бойся ты, бревно! Кому эти знаки дурацкие? Кто на них в поле смотрит!*
- = Флегматик на него и не обижается: человек же не понимает.  
— *Кому надо — тот смотрит. Они может на мотоцикле где за кустом притаились. Ещё и с хронометром... Знаю... Попадал...*

**Мы издали и отчасти сверху.**

- = Хорошо видно, как тянется Техпомощь вослед за медленным холодильником, — а далеко впереди уходит, уходит, уходит проворный «москвич».  
— *Ха-га-га! Ха-га-га! Ха-га-а!!*
- = Пашка назад смотрит, рогочет, по груди себя кулаками колотит. Бьёт и Элю по плечу:  
... *Оторвались, Елена! Оторвались! Ты у меня — герой! Вот девка, так девка! Теперь сворот ищи, будем поворачивать!..*

Он всё назад смотрит — и вдруг тормозит их машина, тормозит... Шатнуло Пашку:  
... *Бензин?? Кончился?*

- = Страшное элино лицо. Она видит:  
= чёрная кошка бежит через шоссе.  
Да близко!
- = Остановились. Кошка спокойно побежала дальше.
- = Элины глаза расширены:  
— *Дальше я не поеду...*
- Пашка ещё не понял, насколько это серьёзно:  
— *Да что ты, Елена, кто ж в это верит?*
- Эля не в полный голос, шепчет почти:  
— *Ты не представляешь, какие могут быть страшные последствия.*

Но пока увидел Пашка

- = знак поворота дороги.
- = Он бежит и навешивает «скользкая дорога».
- = А те себе две плетутся: холодильник и Техпомощь.
- = Зад холодильника, как он вплотную виден
- = изведенному Бригадиру... неизведному Флегматику... Всё идёт нормально.
- = Задняя стена холодильника. Белая, ровная, безнадежная.
- = Никого на шоссе, никого перед холодильником. Плетутся две машины...
- Вдруг — правый сигнал на холодильнике.  
Сворачивает!
- = Воспрял Бригадир! Спокоен Флегматик.
- = Рванули! Чистая дорога!
- = Пашка стоит на дороге с шофёрской стороны и через окошко уговаривает Элю:  
— *Ты мне — говори окончательно! Я тогда по-лем побегу. Не поедешь?*
- У Эли у самой чуть не слёзы:  
— *Нельзя, Паша, никак нельзя... И талисманы не помогут...*  
— *Да что нельзя, объясни?*
- Всеми живыми пальцами показывает Эля:  
— *Вон ту линию я не могу первая пересечь.*  
— *Какую?*  
— *Где кошка перебежала.*  
— *А кто должен?*

— *Другая машина.*

Пашка в отчаянии озирается.

— Нет другой машины!..

То есть, есть вдали сзади, но это — Техпомощь. Она гонит!

— *А ещё кто может?*

— *Да хоть собака, хоть лошадь...*

— *А я — могу?*

— *Можешь, конечно, но я тебе не советую...*

*Тебе хуже будет...*

Побежал Пашка вперёд! Оглядывается: пересек? И всеми жёсткими уговаривает Элю скорее ехать к нему.

— Поехала.

Посадила.

— В машине. Пашка:

— *Елена! Я пока бегал — додул: есть у нас бензин! Хватит! Тебя когда стукнули, бак помяли — и датчик нарушили, вот он на ноль и стал! Я тебе потом исправлю! Только б уйти!*

Очень весёлый стал Пашка. Но Эля серьёзна:

— *Паша, ты видишь сам: я товарищ хороший, солдатская верность, но в конце концов я должна знать, что тебе грозит? Руби прямо, я не дрогну, — тебя арестовать должны?..*

**Во весь экран**

— знак «скользящая дорога».

— Флегматик шевелит губами, выражает осторожность. Разъярённый, распалённый Бригадир, ноздри раздуваются:

— *Гони, гони, они — вот тут, за поворотом!*

Но Флегматик никак не согласен:

— *Своя голова дороже. Бережёного Бог бережёт.*

Бригадир круто поворачивается к своему шофёру. Он сдерживает гнев. Ведь он сам виноват: с этим шофёром он не провёл никакой воспитательной работы:

— *Товарищ! Товарищ! Я взываю к вашей сознательности, к вашей самоотверженности! Мы должны жить интересами общественными, а не труситься за свою шкуру! Если все будут такие, как вы, мы никогда коммунизма не построим!..*

— Пашка на коленях знаки выбирает

(и мы вместе с ним). Хороших-то знаков не осталось: запрет сигнала, запрет остановки, потом...

**во весь экран**

странный какой-то знак: похож на запрет стоянки, только перечёркнута посередине не буква «Р», а — стройная чёрная бутылочка.

— Пашка моргает. Пашка глаза протирает: он не сошел ли с ума?

— Опять этот знак, как наваждение...

— Элю тоже разбирают сомнения:

— *Ведь ты ж моего отца убиваешь, ты понимаешь? Ведь я к тебе приехала машину — что? чинить! а ты мне её гробишь...*

— По просёлочной дороге катит бричка. Лошадей стегают, пьяные, песни поют, руками машут, шапками. Праздник! Великий праздник. Отголосовали, теперь домой едут.

— Хлещут лошадей! круто вверх и

выезжают на шоссе — как раз перед Техпомощью! Техпомощь резко тормозит. Так и едут — бричка по-

- среди дороги, шапками машут, приветствуют задних, кто-то и бутылкой трясёт пригласительно, — и в нескольких шагах позади Техпомощь.
- Даже смотреть обидно: для таких ли скоростей строят автомобили!
- В кабине. Бригадир смотрит на Флегматика с подозрением:  
— *Да вы саботажник? Вы с ними заодно? Я буду ставить вопрос! Мы выясним. Что вы, брички обогнать не можете?*
- Первый раз Флегматик снимает руку с руля и пальцем показывает:  
— *Чего ж обгонять?*
- Трубкой вперёд.**
- Там, за бричкой вскоре, стоит знак: ограничение скорости «10»!
- Взревел Бригадир:  
— *Надо ехать! Я отвечаю! И ГАИ просветим, что там за люди работают!*
- Но Флегматик вполне разумно:  
— *Зачем я буду иметь неприятности? Я третий год водки не пью, чтоб только не иметь неприятностей.*
- Но весёлую бричку по пьяну занесло, бричка не так поехала, на ходу боком о столбик — шарах!  
Все целы, дальше поехали, а знак «10» свалился, а под ним — «запрет тракторам».
- Прозрение, сияние на лице Бригадира: он прав был! ГАИ надо проверить!
- Сразу Техпомощь бричку обогнала — быстрее! — быстрее!
- Но проносится щит на обочине:  
**БЕРЕГИТЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ.**
- И на лице Флегматика сомнение:  
— *Надо бы вернуться... Знак поднять... В ГАИ сдать.*
- Бригадир не слышит такого вздора. Он подскакивает на сиденьи как на коне, он — жокей, он — всадник, он — охотник!
- Музыка погони! Музыка настигания!**
- Только столбы мелькают, так несётся наконец Техпомощь. Щит большой:  
**ДЛЯ БЛИЗКОГО КОММУНИЗМА СТОИТ ПОРАБОТАТЫ.. ПО МОЛОКУ... ПО МЯСУ...**
- Пашка стоит босиком на крыше «москвича» и, опасно покачиваясь, навешивает над головой знак «проезд запрещен» («кирпич») на проволоку, висящую над дорогой, над отвилком полупросёлочным круто в гору от главного шоссе. Кричит:  
— *Есть! —*  
и соскакивает ловко.
- И вверх туда, вбок, под «кирпич», они и поехали. Им — несколько сот метров, завалят за гребень, там и лесок, там они скроются.
- Это уже видно через ветровое стекло преследователей.
- Бригадир руки потирает, Бригадир кинуться готов:  
— *Ну! ну! ну! Ещё сто метров!*
- Но Флегматик усмехается философски.
- И перед развилком, сдавшись на бровку, останавли-

- ваает свою Техпомощь.
- = Бригадир оглядывается на него дико,  
но Флегматик пальцем вверх и вперёд, как на рок, по-  
казывает на
- = «кирпич».
- *А почему ж они поехали?!? Остановить!! На-  
звать! Оштрафовать! Езжай, я приказываю!*
- = Флегматик слушает как лепет ребёнка:
- *А детей моих — вы кормить будете? Зачем  
мне хлеба лишаться? Меня уже за знаки четы-  
ре раза...*
- Он не поедет! Он — не поедет. Это — твёрдо. Это —  
камень. Его взор упёрт
- = в «кирпич».
- А так близко! Так близко! Рукой податы! Своими но-  
гами добежать!
- Внезапно подлетает к ним как манá**
- = заклятый «москвич» с распахнутым задом. Совсем  
же близко!
- И удаляется на своё место.**
- Но дорога неважная, в крупных камнях, он медленно  
что-то взбирается.
- = Бригадир выскочил из кабины.
- Порыв! — в гору бежать! И бежит! Нет, всё равно не  
нагонит, запыхается. Остановился. Обернулся.
- Уговорить этого долдона! — нет, не выйдет.
- Опять туда повернулся — бежать! — поздно...
- Срывается ответственное поручение! Такие искрен-  
ные, самоотверженные усилия — и втуне гибнут!..
- Вот и воспитывай людей!.. Первый раз, сколько мы  
видим его, отчаялся Бригадир. Потерял энергию,  
отупела воля, плечи повисли,  
сел у дороги.
- Смотрит, на что он сел: длинная тесина лежит.
- Мысли!
- Взгляд наверх! Надежда!
- Взвился, схватил тесину, поднял, тащит её — нет та-  
ких черновых дел...
- Сбить «кирпич»! Нет, не сбить, но проверить: может  
их там опять два, навешен?.. Бьёт тесиной по  
«кирпичу».
- = Флегматик стоит около своей машины и качает голо-  
вой:
- *Ох, и нагреют вас!.. Не посмотрят... Не сове-  
тую...*
- = Не сбивается «кирпич». Во всяком случае он там —  
один.
- = Усталый Бригадир кидает тесину, прощально-безна-  
дёжно смотрит
- = туда, вверх. А там что-то запнулось! «Москвич» сто-  
ит, не идёт!
- = В «москвиче».
- Мотор не работает.
- Не кричит Пашка на Элю, не ругает, но с болью, руку  
на руку на руль положив:
- *Ну, как ты заглохла? Что, совсем править не  
умеешь?*
- Эля чуть не плачет:
- *Да камни крупные проклятые, камней навали-  
ли, что за дорога!*
- *Ну заводи, заводи!*
- *Да чем заводить?*
- *Стартёром!*



- Но-гой какой?
- Правой!
- Я на тормозе держу!
- Отпусти!
- Катимся!

**Вблизи:**

= верно, катятся назад!

**Издали снизу:**

= катятся назад!!

= Внутри. Пашка, сколь силы, вытягивает ручной тормоз.

— Так, отпусти ногу.

— Катимся!!

— Да ты назад смотришь, куда едем? Сейчас под откос.

Руль одной рукой перехватил, смотрит назад.

**Издали снизу:**

= пошёл боком «москвич», сейчас в обрыв!.. Нет, выравнился.

= Элино лицо, страх:

— Катимся!

Впрочем, она не истерична. В конце концов она готова и к гибели.

— Да жми тормозную! Сколь силы жми! Во-от...

Передохнули.

— Знаешь, Паша, беги, пока не поздно! В лес, а там скроешься.

— А — починку кончать?

— Место назначь, в городе встретимся.

— А как же тебя на горе брошу? Ты свалишься...

Пауза. Не просила она его волосы поправлять, а он поправляет. Гладит. Пауза...

— Ну, давай бороться!

— Так... Значит, ног не хватает? Тогда так: ты — заводи, а я акселератор буду жать. Ну!

Бешеный рёв мотора! — как самолёт бы снизился,

= а ни с места!

Рёв — сейчас машина разорвётся!

а ни с места!

= На педалях — их три ноги. Пашка, перекрикивая рёв:

— Да зачем же ты тормоз жмёшь?!

— Я не жму!

— Как не жмёшь?

= Мужскую ногу сняли с акселератора.

= Дёрнулась машина.

Тишина. Заглох мотор.

— Ты зачем же — на тормоз?

Элин голос — и горе и потеха:

— Ой, это ж я — правой ногой!.. думала...

= Сняла ногу с тормоза.

...Катимся!!..

— Дави, дави!

Опять поставила.

= Их лица. Опасность — но не сердятся.

— Я же привыкла: раз не идёт — значит, сильнеей правой ногой! А я не на газе — на тормозе... Как же нам быть? Ноги не хватает... Беги, Паша!

— Ноги не хватает — куда побегу?.. Ещё раз пробую. Значит, первую передачу поставишь — и тормоз отпускаяй, отпускаяй. А газ — моя забота.

— А кто зажигание?

- Ты. А хочешь — я.
- Нет, я. А кто ручной тормоз?
- Я.
- Не спугаемся?
- Не должны.
- А что это воняет?
- Ох, здорово. Сцепление подожгли. Ну, ещё раз!

Рёв мотора! Рёв!

= На педалях — две женских ноги, одна мужская. Всё, как надо: сброшен ручной, отпускается ножной, —

элин голос:

— Катимся! Всё равно катимся!!

пашкин:

— Не берёт! Сцепление сожгли, вот что!

Издали снизу:

= необъяснимо — неотвратимо — неуклонимо — катится, катится «москвич» с горы задом, да ещё виляет, да ещё виляет, — если с откоса не свалится —

= будет здесь! будет здесь! Лицо Бригадира! От закона не уйдёшь! От воспитания не уйдёшь! Руки потирает. Мог бы навстречу кинуться, но

= сами скатятся!

= Внутри. Видим Элю и Пашку спереди. Они совсем запутались. Пашка:

— Лево руля, лево!.. Да лево же, а не право!..

Он совсем уже руль перехватил, смотрит назад, правит:

— А ты тормози, тормози!

— Не держит, Пашь!

— Да не тормоз же сгорел! Сильней дави!

— Нога устала! Ой, катимся, Пашь!..

— Передачу ставь!

— Какую передачу?

— Да какую угодно!

— Скорость, что ли?

— Ну, скорость!..

А в общем — поздно. Всё пропало. Но — не отчаяние на лице Пашки, —

= нежность... Под откос — так под откос, чёрт с ним... Целует Элю.

И — ещё целует...

Она не сопротивляется... Даже...

в пропасть, так в пропасть...

= Все четыре руки их на руле перепутались, куда рулят — сами не знают...

Снизу:

= виляя, вихляя, то к правому откосу, то к левому, чуть не на опрокиде — съезжает заклятый «москвич»!

С последним поворотом — затормозил резко — и остановился

как раз под «кирпичом».

= На лице Флегматика (он — рядом с Техпомощью) — полное удовлетворение: вот так, наука! Нельзя нарушать знаки.

= Пашка выскочил из «москвича» — бежать? — но:

неумолимый властный голос:

— Товарищ Алесеенков?

И — куда вся удаль Пашки? — обмяк, переминается:

— Я буду...

А Эля с другой стороны из машины вышла, там гор-

ка, её голову видно через крышу «москвича». Стала, и своим движением — пальцы держит под глазом.

— Великая минута воспитания! Бригадир сам перед собою стоит смиренно: он — не он, важно то, что он произносит:

— *Какой позор, товарищ Алесеенков! И ещё смеете — бежать? Где же ваша гражданская сознательность? Где же ваша рабочая совесть?!*

— Да, попался Пашка. Потупился. Чего ж теперь оправдываться зря...

Голос Бригадира как бы с горних высот:

— *Предъявите ваш паспорт!*

Глухо, виновато отвечает Пашка:

— *Он — не при мне... Он — дома...*

— *Так тем хуже! Значит, абсолютная, наглая беспечность! Вы даже и не думали к нам являться!*

Честно говоря, не думал Пашка, нет, не думал...

— *И в такой день вы ещё «по левой» машину чинили?!*

Пашка слабо возражает:

— *Да не... не чинил... Это — подружка моя... купаться ездили.*

— *Купаться?!? В такой день?!*

Крыть нечем, молчит Пашка. Сощурился к небушку, опять голову опустил.

— *А кто знаки менял!*

— Это — дело уголовное! Тут — не отступать! Оживился Пашка:

— *Ничего не знаю! Какие знаки?*

— Вся группа, по двое у своих машин. Бригадир — вольными раскатами:

— *А — ваш Долг? Ваш долг!*

Эля держит сползающий палец под глазом.

Пашка показывает на Флегматика:

— *Я им ничего не должен, товарищ начальник, я у их ничего не брал! Это — ошибка!*

живей, всё живей:

... *А если насчёт ветрового стекла для «волги»,*

— *так это с каждым может случиться, товарищ*

*начальник, и с вами тоже! Вот будет на дороге*

*маленький камешек лежать, передняя машина*

*скатом зацепит — и вам в лоб! И всё! А до-*

*стать его законно — негде!! Его просто нико-*

*гда нигде не продают! А людям ездить надо?..*

Но уверенность его вдруг падает, потому что он видит,

как Флегматик качает головой: «не, не за это...»

— А — за что же?..

— Бригадир наступает:

— *Вы не пытайтесь нас запутать! Вы — почему отказываетесь голосовать?*

Вот уж в чём Пашка не виновен! Вот уж чего не ожидал:

— *Я — отказываюсь?..*

Хочет понять, не понимает, на всякий случай руку поднимает:

... *Пожалуйста. Пожалуйста.*

— *А — вы? —*

через машину спрашивает Бригадир у Эли.

— Но Эля уже всё поняла, она вспомнила! И — страхи миновали, и со столичной самоуверенностью, с

лёгкими свободными жестами:

— Я — в Москве должна голосовать! А из-за вас опаздываю! Там мои агитаторы с ума сходят! А вы тут товарища задерживаете!

= Только теперь на пашкином лице — понимание — облегчение — счастье!

— Га-а!.. га-а!.. га-а!.. —

только и может он от радости. Никто его не потянет, ничего не открылось!

= Но — развернулась Техпомощь, распахнута задняя дверца кузова, и Бригадир показывает Пашке строго:

— Садитесь.

= Пашка взошёл по ступенькам, Флегматик закрыл за ним дверь на задвижку. Пошли садиться.

Шум мотора.

Уже на отходе, через заднюю решётку, Пашка кистями показывает и кричит весело:

— Сейчас — потянет! Сцепление остыло — теперь должно тянуть. Заводи, заводи!

= И поехала Техпомощь со смутным пашкиным лицом в заднем окне.

А вслед за ней по шоссе потянулся и «москвичок». Обратный порядок...

Знак смены эпизодов.

= Ресторан.

С его ступенек сходят: Иногородний (средних лет, высокий, в хорошем костюме, шляпе, держит пыльник через локоть) и его Собутыльник (низенький затруханный старичок с редкими усами, одет кое-как).

Второй заметно пьяноват, Иногородний держится безукоризненно.

Сошли и тут же, на тротуаре, в сторонке стали. Иногородний тепло:

— Ну, спасибо. Хорошо поговорили.

Старичок даже с криком, как после рюмки:

— Ах, хорошо!..

— Просто — из души в душу. Умный ты человек оказался.

— Ты — умный человек.

Смотрят с любовью друг на друга. Иногородний:

— Я — сердечно рад был познакомиться.

— Я — исключительно рад!

— А теперь так: я тебя не знаю, ты меня не знаешь, понял?

— Конечно понял.

— Фамилий не знаем, адресов не знаем, выпили — забыли, так?

— Конечно так.

— И — ты в ту сторону, я — сюда, так?

— У-гм.

Сердечно трясут друг другу руки и расходятся.

Достоинно, прилично идёт Иногородний. По скверу. Кто может быть этот человек? Морской офицер, надевший гражданскую одежду? Или спортивный тренер? Или цирковой гимнаст на пенсии? Очень строен. А плечи! А держится!

Впрочем, и иностранных шпионов такими изображают.

Идёт себе, видит:

= макет Спутника на постаменте среди сквера.

Дальше аллея —  
и прямо к школе. А там крупно:  
**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №... ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ!**

- = Подумал Иногородний...
- Знак смены эпизодов.**
- = Наш зал голосования. Никаких пионеров около урны уже нет. За столом — пышноголовая и ещё одна. Все таблички букв уже сдвинуты воедино.
- = Над входной дверью — первый час. Входит Иногородний. Снимает шляпу, торжественно несёт её. Как он строг! Он действительно вошёл во храм. Крупными медленными шагами цапли он идёт к столу. Пышноголовая с уважением смотрит на него, готова даже приподняться.
- = Он вытянут, плечи развёрнуты. Нисколько не теряя торжественного выражения, лишь едва поведя глазами, Иногородний спрашивает:  
— У вас — уже уборочка началась?  
Смотрит на ручные часы. Пышноголовая поднимается:  
— У нас уже практически сто процентов! Наши все проголо...
- = Незнакомец явно удивлён:  
— А — что же вы будете делать до двенадцати ночи? А — зачем же отводится для голосования восемнадцать часов?
- = Даже челюсть стала мешать пышноголовой, она ею — вправо, влево:  
— Так ведь... было указание... мы считали...  
Незнакомец грустно-грустно кивает головой. Зная род человеческий, он не удивляется, но там, на Олимпе, они иначе это понимают... И приподняв палец, он смотрит на него,  
и она смотрит.
- = на его палец.  
Объясняет незнакомец:  
— Надо не указания слушать. Надо ощущать дух. Дух этого великого дня.
- Он волнуется, хотя очень сдержан:  
...Перед человеком стоит выбор. Ответственный выбор. Может быть, тяжёлый выбор. Избиратель должен придти сюда не в шаркающей толпе, не толкаясь с соседями. Он должен придти сюда... чтобы здесь, в кабине...
- = На лице Незнакомца — трагическое раздумье.  
...Посидеть... как бы в одиноч... в одиночестве... Оглядеть весь жизненный путь... страны... и свой... И наедине со своей совестью... сделать правильный выбор.
- = Женщины из комиссии стоят перед ним, напуганные. Незнакомец мягко возвращается к бытовому состоянию души.  
— Кстати, а где у вас кабины?  
— Вон! —  
отрывисто показывает широкая челюсть. Незнакомец сильно должен повернуться, чтобы увидеть.
- = Сиротливые, распахнутые, далеко в стороне.
- = На лице Незнакомца — боль.  
— Но туда, надеюсь, все заходят? Вы не разрешаете проходить мимо?
- = У пышноголовой видать слюну перебило:  
— Вы знаете, н-н-не все... Н-нельзя сказать, чтобы

все...

— *Очень жаль. Очень жаль. Мне придётся... о ва-  
шем участке... кое-где... да... придётся...  
Ну, хорошо. Вот по этому открепительному  
талону... пожалуйста.*

Протянул им талон. Читают. Вторая в смущении, держа в руках  
два бюллетеня:

— *Вы знаете... у нас так получилось... у нас се-  
годня...*

но вырывают у неё бюллетени сильные руки  
пышноголовой:

— *Пожалуйста! Пожалуйста!*

Иногородний взял бюллетени. С прежней чинностью,  
уже углубляясь в себя перед великим мигом  
(нельзя и представить его на ступеньках рестора-  
на), — идёт в сторону кабин.

Издали хорошо видно, как он вошёл, сел там. И, под-  
перев голову, задумался, даже вверх куда-то  
смотрит.

= А тут, прыгая через ступеньку, в главные двери врывается радостный Пашка. Он всё в той же испачканной, растрёпанной, без части пуговиц рубашке. Прыжками к столу. И — хлоп перед женщинами

= раскрытый паспорт:

— *Алесеенков Павел!*

= Вторая женщина:

— *Вас последнего ждём! Где же вы... Из-за вас...*

— *Скорей! Скорей!* —

просит Пашка. И Широкая Челюсть сообразила: пока  
никого нет:

— *Вот и хорошо. Вот и в порядке. Идите! Быстро проходите!*

Пашка держит раставленные пальцы, на урну кивает:

— *А-а... ничего не надо?*

Улыбается ему Широкая Челюсть:

— *Нет-нет, ничего не надо. Быстренько! Идите!*

= А Пашке — тем более ничего не надо! Прыжками, прыжками — и на выход!

= И — как раз вовремя! Потому что через главный вход — Бригадир.

Быстро идёт:

— *Где Алесеенков! Был Алесеенков?*

= Широкая Челюсть:

— *Только что проголосовал.*

Бригадир:

— *Как проголосовал? Задержать! Он должен был... А где Гурий Акинфович?..*

— *Гурий Акинфович вышли... А вот у нас...*

Бригадир бы ещё Пашку догнал, но Широкая Челюсть удержала его, шепчет, шепчет и показывает на ту роковую кабину, где сидит Иногородний. Так и сидит в глубоком раздумьи, задом к нам, лишь мелкие движения.

= Бригадир выслушал, очень посерьёзней. И пошёл к той кабине, стал вблизи настороже.

= Лицо Иногороднего. Стараясь головой почти не шевелить, он пытается перекосями глаз охватить, следят за ним или не следят.

И руками он шевелит — до локтей, чтобы по спине не заметно было, —

- он тыкает ручкой в чернильницу —  
суха! полгода в ней чернила не ночевали... да и перо  
сломанное.
- = На лице Иногороднего — напряжение, упорство, буд-  
то он на мачту лезет. Глаза крутятся, голова по-  
чти не шевелится.  
Даже без локтя, одною кистью он лезет во внутрен-  
ний карман...  
нет, в другой...  
нет, в третий, —  
за карандашом. И, прямо перед собою, на столике,  
такими же мелкими движениями, а смотреть стара-  
ясь не вниз, а вверх, —  
вычёркивает, вычёркивает, вычёркивает, даже на  
строчку не попадая.
- = Лицо — ожесточённое, страдальческое.  
Карандаш аккуратно спрятал,  
бюллетени свернул,
- = опять принял вид глубокомысленный, торжествен-  
ный, сидит так.
- = А Бригадир-то — наблюдает, а Бригадир старается  
подсмотреть!..
- = но — большая спина у Иногороднего, не видно за ней.  
Подпер голову, сидит, размышляет.  
Встал! И выходит с просветлённым лицом.
- = Бригадир и чует что-то — и не решается подступить...  
= И проходит Иногородний — статный, прямой, испол-  
нивший гражданский долг, никого вокруг как бы  
не замечая,  
ещё над урной постоял —  
опустил...  
Знак смены эпизодов.
- Пьяная песня — слов не поймёшь, а — тоска!  
= Макет Спутника на постаменте  
среди сквера,  
а сквер — перед школой.
- = Со спины — двое пьяных в обнимку, идут по скверу.  
Это они и поют.
- = Они же — с лица. Ох, и горькая же доля — песню тя-  
нуть. Ох, и работа же — вытягивать.  
Идут на нас. И — ногам тяжело, и обнявшись они —  
чтоб не упасть. Смотришь, один другого и поддер-  
жит.
- Дружно враз и остановились —  
перед пустой садовой скамейкой.  
Посмотрели-посмотрели на неё.  
Друг на друга.  
И — согласны. Согласно поняли.  
Ты, проклятая! Это ты, проклятая, всю дорогу нам  
загородила.  
А ну-ка, мы её... Эх!..  
Обнялись крепче, крайними ногами стоят, а средними  
— в спинку её. Раз толкнули!  
Два толкнули!  
Три — нет нам пути другого!  
Шатается, но ещё...  
ещё разик! ещё разик!  
Опрокинули. И — сами за ней шатнулись, едва не  
упав,  
= на нас шатнулись. На нас нависли.  
Два лица.  
Горым-горьких.  
Знак смены эпизодов.

= Наклонясь у задка «москвича», Пашка шкуркою чистит, чистит.

Крышка багажника уже навешена, формы все восстановлены.

Да и зачищать Пашка кончил. Разогнулся. Оглянулся —

= Эли нет. Он стоит на улочке перед Телефонной Переговорной станцией.

Пошёл туда, как бы, и со шкуркой в руке.

= Три переговорных кабины. Лампочки внутри не горят, и поэтому мы лишь смутно различаем в них фигуры говорящих.

Эля сама не видна, но подвижная её рука выставлена к стеклу, и мы хорошо видим, как она при разговоре водит по стеклу, разрисовывает неопределённые, но ласковые виньетки;

потом тревожный постук: остановись! не так! не то! ты не понял!

и опять рука успокаивается, снова поглаживает, поглаживает...

= Посмотрел на всё это Пашка, посмотрел, шкуркой по голове провёл и пошёл себе.

**Знак смены эпизодов.**

Гул компрессора.

= А вот он уже и красит, распыляет краску по багажнику...

докрашивает, докрашивает...

Это — перед распахнутыми дверьми какого-то гаража во дворе. Рядом — санитарная машина стоит.

= Тут же и Эля, весёлая, наблюдает. Ей нравится, как сделано.

Пошёл Пашка в гараж,

выключил компрессор,

вернулся.

— *Хорошо краска подошла. Сейчас пятнадцать минут посохнет — сама не заметишь, где крашено, где нет.*

= Оба они. Она — чистенькая и в поездку, он — в грязной рубашке с закатанными рукавами, да и волосы так ни разу и не были у него причёсаны толком.

Вот и минута прощанья, уже им не ехать вместе и не работать... Улыбается Пашка:

— *Ну, когда ещё в жизни разобьётесь... Приезжайте... Пашку теперь знаете... Для вас всегда...*

= Пробрало и Элю. Вот уж не думала, не гадала. Машет рукой:

— *Знаешь... сейчас!*

Бросается в машину

и оттуда несёт медвежонка:

— *Вот! Это — будет тебе! Рассматривай как талисман. Даже от чёрной кошки...*

Пашка и берёт и не берёт... Растерялся. Конечно, дорого — талисман, но:

— *Поменьше бы что... Куда с ним? Засмеют ребята...*

= Не обиделась Эля, поняла! Опять в машину метнулась и оттуда

несёт маленькую обезьянку на шнурке:

— *Вот! Эту — хоть на грудь вешай!*

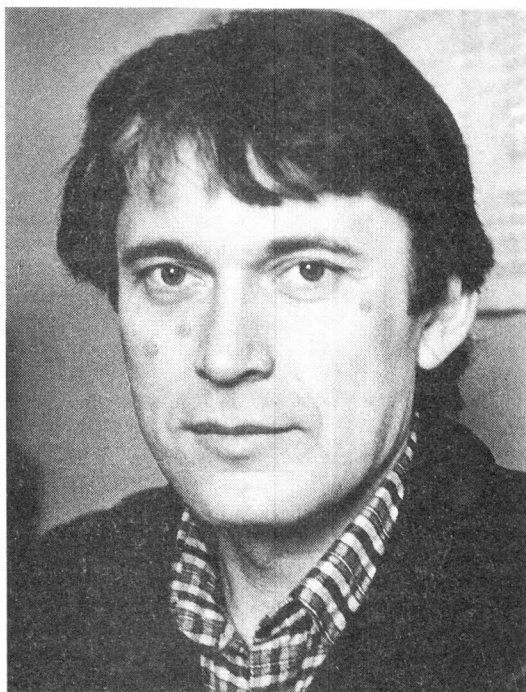
Сама ж ему и навесила, сверж рубашки.



- = Смотрят друг на друга. Хотел бы Пашка что-то сказать, да слов нет. Там, на горке, проще было...  
— *Сейчас!* —  
говорит и он, и тоже идёт подарок искать.
- = Под стенкой гаража лежит его связка знаков. Перебирает:  
запрет сигнала,  
запрет бутылки... всё не то. А вот! — вытаскивает, несёт ей:  
— *Вот! Самый лучший знак! Правда, редкий, очень редкий. Возьми на память, как ехали с тобой... «Конец ограничений!» Отмена всех запретов!*  
И протягивает ей этот знак.  
Жмётся и Эля:  
— *А — что ж я с ним? Куда же?..*  
— *Ну, что, что! В Москву будешь въезжать — повесь на входе...*  
Передавая знак, оба они в улыбках.  
О невозможном.
- = И сам этот знак — на весь экран.

Ноябрь 1968  
Рязань





Герман  
КЛИМОВ

## ВЫМЫСЛЫ

(По мотивам русских народных сказок)

Осень, зима скоро. Вянет, блекнет, плешивеет все. Лес вон олысел — стынут жилы-то. Ветры со свистом уж гуляют, с нитьем.

Солнце гнется к лесу рано — мрак одолевает да нечисть помогает. Вот-вот свет кончится, ночь падет.

— Заря Дарья! Заря Марья! — взрыднула деревня. — Заря Катерина! Заря Серафима!

Мала деревенька, слабосильна; валится, валится солнышко — блеснуло по оконным бычьим пузырям и небо уж облило.

— Уйми ты ветры полуночные с тучами, — торопливо молит старушонка на коленях, — содержи морозы со метелями...

— Уйми ты всякую гадину нечистую от приворотов и лихого дела, — шепчет мужик бородатый, — поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие, в смолу горячую...

— Заря-заряница, — просит мать с дитем, — возьми бессонницу, безугомонницу, а дай нам сон-угомон...

— Солнышко ты привольное!

— Скрепись! Не уходи-и-и...

Зависло красное под отчаянный шепот всеобщий, под стоны, мольбу и... кануло!

— Ох, грехи, грехи наши тяжкие...

— Господи, что же теперь...

Скоро погас день, смутно поплыли туманы молочные, стылью дунуло. Смерк жутко лес и подвинулся к деревушке.

Завозилось, заскреблось в нем, заухало... да вот и загоготало вдруг.

Запрыгал крест рукотворный по плечам, калитки застучали, запоры защелкали.

Потек из щелей наружу с дымком из труб

шепоток торопливый.

— Брысь, брысь, окаянная...

— С ветру пришла — на ветер пойди, с воды пришла — на воду пойди, с лесу пришла — на лес пойди отныне и до века...

— От воды и потопа, от огня, от пламени, от лихого человека, от напрасной смерти...

— Ау, ау, шихарда кавда! Шивда, вноза, митта, миногам...

Течет шепоток, мешается, ветром носит его над деревней, над полем, в лес задувает, а оттуда — улюлюканье, скрежет, бормотанье, писк гнусавый...

Не видно сквозь пузырь-то: либо оборотня пронесло, либо черти на перекрестке схватились...

— Господи, господи...

— Ох, кабы до утра-то дожить...

Вот и месяц в пузыре закачался...

Шепчет деревня, затаившись за околицей.

Только и тут, в тылу-то, не больно спокойно.

Хрюкают, брякают, крикают, скребутся...

Не разберешь — либо свои, родные, овиные там, домовые иль дворовые, либо какая посторонняя нечисть пробралась.

— О господи, господи...

Сполз Иван с лавки — он в дальнем углу избы со скотом спал — и в подпол заглянул. Там будто кто-то мохнатенький из миски ложкой хлебает, глазом косит. Не разглядеть.

— Не трожь домового, Ваня! — сердито прошамкал отец с печи.

— Да я хлебушка ему...

— Оставь, как положено, на столе.

Лег Иван, только глаза прикрыл, как враз

завыло, закричало, забурчало... Вот будто пролетел кто-то, а этот дышит тяжело в самое лицо... Замер. Рядом во тьме глаза блестят, язык длиннющий тянется...

— Господи, господи...— шепчут на полатях.

— Скорей бы ночь прошла.

Вскочил Иван, пихнул теленка и заорал что было мочи петухом.

Всполошились, запели петухи по всей деревне.

Вздохнула сонно деревня, завозилась, забрякала запорами, дверьми заскрипела, закашляла, хриплыми голосами заговорила. Бабы ведрами гремят, мужики лошадей выводят, в дровни запрягают. А кто по хозяйству налаживается.

— С курами ложиться, с петухами вставать,— переговариваются.

— Петух не человек, а скажет — и баб научит.

— Заря вгонит, другая выгонит.

— Эй, сосед, дак зари и не слышать.

— Да-а, хоть глаз выткни.

— Чьи бы это проделки?

— Так ведь умный не додумается.

Со дворов потянулся народ с кнутами, вилами да граблями к крайней избе.

А там уж все налажено — бойкие братья у Ивана, сноровистые. Разложили меньшого во дворе на лавке: зад светится да прутья свистят.

Окружила деревня двор, зеваает да ухмыляется.

— За что, братцы?! — вскрикивает Иван.

— По песне и напев,— объяснил брат Степан.

— Учить дураков — не жалеть кулаков,— одобряет народ.

— Братьям-то забота: и поят, и кормят, и спину порют.

— За что, братцы?!

Зима уж на дворе, утро ясное, искристое.

Ивана на этот раз у крыльца загнали, прямо на перила. Овчинку, конечно, задрали, чтобы не попортить.

Посреди двора в снегу — корова с теленком да козел. В овчины, в шапки наряжены, тряпьем да рваньем обмотаны: Иван на прогулку вывел. Смотрит народ, вздыхает.

— Козла бойся спереди,— приговаривает брат Петр,— лошадь сзади, а дурака — со всех сторон.

— Так ведь им холодно,— объяснял дурак.

— Пьян проспится,— решает народ,— а дурак никогда.

Весной братья новый дом рубили.

Скоро рубили — уж на крыше сидели, деревянного петуха к коньку приколачивали.

— Вот, Степан,— говорит Петр,— будем теперь своим хозяйством жить.

— Хозяйство весть — не портками тресть,— отвечал Степан.

Старичок отец сидел на бревне у своей избы с ложкой в руке и миской на коленях. Вокруг него всякая живность вертелась: кошки, собаки, коза, бабочки над головой.

Иван осторожно поднял отца и перенес из тени на солнышко.

— Иван! — крикнул Петр.

Иван тут как тут — снизу уж, рот разиня, глядит.

— Ну-ка, Ваня,— встревожился Петр,— сбегай, посмотри — не родила ли жена моя.

Иван на крыльцо влетел и в избе исчез. «Сейчас бить будут»,— будто пригрезился едва слышный всеобщий вздох.

Иван в избе мимо брюхатой бабы, что на лавке лежала, проскочил и прямо к люльке. Заглянул — пусто.

— Нет еще! — крикнул с крыльца.

— Ну ладно,— сказал Петр.— Тогда кур покорми.

Ивана словно ветром сдуло.

«Сейчас...» — прошептал невидимый хор. Со всех сторон сбегались куры к Ивану, сыпавшему зерно.

Глянул Иван — наседка яйца оставила и тоже к нему спешит.

— Ты куда? — нахмурился Иван.— А ну воротись!

Не слушает, клюет.

Пришлось Ивану наседку заменять.

— Петр! — простонала с крыльца беременная баба.— Он нам все яйца передавит! Братья скатились с избы и бросились к Ивану.

«Сейчас...» — шепотом пообещал хор.

— За что, братцы?! — не мог понять Иван, глядя на бежавших к нему братьев.

— Ты зачем велел ему кур кормить?! — возмутился на бегу Степан.

— Матрена пусть, да? С брюхом-то?

— А хоть бы.

Остановились.

— Да ты что?!

— А ты чего?!

— Я-то ничего!..

Один другого в грудь пихнул. Тот ответил. Размахнулись пошире...

Задумались.

— Не бей по роже — себе дороже,— сказал Степан.

— Ссора до добра не доводит,— сказал Петр.

— Где лад, там и клад.

На том и порешили и на Ивана двинулись.

— За что, бабы?! — кричал Иван.

В пригожий летний день били Ивана на речных мостках.

«На Ивана Купала не бьют кого попало»,— прошелестело над рекой.

Река вся в цветных пузырях сарафанов, простыни плавают, порты тонут. Бабы ловят,ругаются, хохочут.

Другие Ивана вальками лупят, с брызгами.

— За что, люди?! — орал Иван.

Запертый, он в дальней баньке колотился. На Илью было дело, в июль жаркий, сочный.

«На Ильин день собак и кошек не пускают в избы», — прошептал хор.

И точно: все дворы полны кошек и собак.

А в самих избах бабы огонь в печках заливают.

— Спи, царь огонь, — говорит царица водица.

— Отдыхай, кормилица, до чистого огня, — кланяются печи хозяйки.

Чистый деревянный огонь всей деревней добывали: мужики — силой, бабы — приговорами.

Мужики дерево об дерево терли: захлестнули веревкой брус, что концами в углублениях столбов лежал, и, дергая веревку всем миром, бешено вращали брус.

Солнце плечи жжет, веревка — руки, о столбы брус жжется.

Дымятся мужики, крикают разом, бабы бормочут, вся деревня волнуется.

Иван в баньке надсаживается.

К закату охрипли все — и Иван, и бабы; мужики вызверились.

В сумерках уже искра вытерлась. За ней другая вспыхнула...

Возопила деревня радостно! Мужики где стояли — повалились, бабы запели, заплясали, ребята запрыгали, собаки возлаяли.

Из дымоходной дыры баньки Иван, черный от сажи, выжнялся.

А чистый огонь уж по всем дворам побежал: на лучинах, головешках, палках с паклей.

Затеплились печи, дымок из труб потянул...

Сквозь огромный «чистый» костер скот погнали.

«От падежа и болезни», — сквозь треск костра и бляение шепот слышался.

Глядь, среди прочих радостный Иван, черный, будто дьявол, с головешкой несется.

Обмерла деревня, содрогнулась.

Крестом с воплем руки раскидав, Матрена, жена брата, новый дом обороняла.

Братья уже наперерез мчалися.

— За что, братцы?! — растерялся Иван.

Повернул было — и там погоня.

— Держи!

— Хватай его, мужики!

— Не дай деревню спалить!

— За что, люди?!

Гнали Ивана в охотку — до самого леса. У леса опомнились, отступились: тьма уже плотно пала.

«На Ильин день зверь и гад бродит по воле», — дохнуло рядом.

Перекрестились мужики поспешно на черную чашу и назад заторопились.

И остался Иван один в ночном лесу.

Стоит — шевельнуться страшно, а деваться некуда. Тихо гаснет головешка в его руке.

Слабеет огонек, тьма сужает кольцо, надвигается... Озирается Иван: все ближе, все нахальнее шуршит, хрустит кто-то, хмыкает, хихикает сдавленно, посвистывает, приближается...

Вот и последняя искра растаяла... Тихо стало... И вдруг кашлянуло в самое ухо.

Подпрыгнул Иван и — вон из леса, напролом ринулся. Ветки по лицу хлещут, кто-то за рубаху, за ноги хватает, в ухо дышит, мекает по-козлиному...

Выбрался наконец из леса, на волю выскочил и... замер... назад даже попятился: во тьме, неподалеку, нагие тела светятся...

Несколько девок с распущенными волосами соху тянут, другие правят. За ними вспаханная борозда темнеет.

«Все как одна невинные...» — шепнуло рядом.

Все ближе странная упряжка.

Пригнулся Иван, потом залег.

— Оборони ты деревню нашу, — яростно бормочут девки, — от чумы, от холеры, от всякой нечисти.

— Чтобы ни одна гадина ни в коем обличье борозду эту ни скоком не прыгнула, ни воздухом не перелетела...

Прошелестел пласт вывернутой земли неподалеку и дальше пошел выкладываться.

Решился Иван: вжался в землю и пополз к деревне ужом.

Только на борозду влез, как обернулась одна и завизжала дико.

— Оборотень!

— Нечистик!

— Бей!

— Держи!

Несутся на Ивана: волосы летят, лица яростные, руками размахивают.

Вскочил Иван и — обратно в лес. Они за ним.

Бежит Иван: впереди жуть лесная, да позади-то жутче — девки озверелые, беспощадные. Так и мелькают за стволами, выблискивают.

Ну в погоне — известное дело! — кому страшнее, тот быстрее: оторвался Иван. Оглянулся — вроде нет никого. Но на случай на дерево прыгнул, наверх полез. Видит — дупло большое. Недолго думая, внутрь забрался. Сидит тихо — дышать боится. Одни глаза блестят.

Вдруг зашумело рядом, захлопало и застило весь скудный ночной свет. Потом

два зеленых огня вспыхнули, огромных, словно плоски.

Видит Филин — место его занято. Ухнул он и заплакал как дитя. Тотчас и весь лес зарыдал.

И Иван заплакал. От отчаянья.

— Ау! — сквозь слезы простонал он. — Лю-ди-и!

— Ау-у... — утром уже сипел Иван, бродя по лесу, пошатываясь, с рогатиной в руке.

Лес весь росой облит: травы, листья, цветы каплями сверкают, дробятся, множатся. Отовсюду шорохи опасные доносятся, потрескивания коварные, возня за каждым кустом.

У Ивана слезы из глаз катятся: двоится, троится лес, покачивается...

Вот будто вода впереди засияла — озеро.

Глядь, одежда какая-то лежит — сарафан.

Как во сне наклонился Иван, поднял, к груди прижал:

— Лю-уди-и-и...

И вмиг вздрогнула вся природа: лес пере-дернулся, ярким дождем росу осыпав; озеро всколыхнулось, белое взметнув, будто лебеди взмахнулись; трепет пронесся по прибрежному кустарнику — замелькали тела девицы... крылья захлопали, воздух засвистел...

И стихло все.

Смотрит Иван — откуда ни возьмись нагая девица идет к нему, красоты невиданной...

Вот уже близко...

— Я богом тебе дана, — улыбнулась. — Я твоя богосуженая, Ваня... Я судьба твоя.

И вновь неуловимо, но явно переменялось все в природе; ударило солнце сильно и пробило лес дымными снопами света, превратив его в высокий храм; запели птицы, дневные и ночные, слившись в согласный торжественный хор.

Иван и невеста его, в сарафане уже, рядышком стояли, и светлые волосы их, словно нимбы, в солнце сияли.

— За что, боже?... — прошептал Иван.

«Дураку-то за что?..» — хор добавил.

Все, что дальше случилось, запомнил Иван не полностью, как обрывки из сна: вот он по лесу идет, и вроде не сам-то идет, а ведет его видет с рогатиной в руке, вот мальчик-поводырь со слепцами замедлился, окаменел и повернул за ним следом.

Царский конный дозор на всем скаку встал как вкопанный.

Вот уж видит Иван, что из леса они вышли и в деревню входят. А навстречу из изб кидаются мужики и бабы, чьи-то лица знакомые, вытянутые, глаза оловянные. А вот и брат Степан с разинутым ртом... А шуму-то!

Шепчутся, охают, вскрикивают, бормочут, что — не разобрать, словно уши ватой заложено...

Красавица шла по деревне, счастливая и светлая, направо и налево здороваясь с потрясенными и растерянными жителями. Она вела за руку Ивана, который послушно ступал за ней с восторженной дурацкой улыбкой до ушей.

А в избе все вверх дном перевернулось: чистую, вымытую горницу убрали цветами, бегали соседи, звеня посудой, ставили столы, летали скатерти, вкусно пахло пирогами. Мужики все в чистых рубахах, повсюду песни, шум, смех... Смотрит Иван — и его переодевают: несколько человек рубаху да штаны стягивают, другие, новые, напяливают. Подхватили его под руки и повели куда-то... С братьями, с соседями сел он в повозки, и с шумом и криком полетел свадебный поезд...

Потом: торжественная тишина церкви, колеблющиеся огоньки свечей, рокошущий голос попа, впервые произнесший имя: «Марфа», соединенные руки, венцы над головой...

И снова: визг, хохот, смеющиеся морды лошадей...

Рука об руку шли молодые к крыльцу сквозь ряды веселых, поющих людей, под золотым дождем зерна...

Несколько мужиков принесли огромное что-то, в рубашку наряженное. Раздели — свеча мирская, братская, всей деревней сделанная: тело белое, светящееся, не в один пуд. Поставили в красный угол, огнем оживили.

Ты садись-ка, добрый молодец,  
Поплотней со мною рядышком,  
Чтобы век-то нам не разлучатися,  
Друг на друга не пенятися...

— Горько! — закричал весь стол.

Молодые поднялись, и счастливые лица их сблизились.

Они поцеловались, и Марфа с улыбкой поддержала вновь ослабшего Ивана. Потом с чаркой вина стала обходить гостей.

На свой лад пили в этой деревне, пили и закусывали: в миску самогонку наливали да хлебушек крошили — тюрю делали.

Хорошо и радостно было Марфе среди людей.

Тем временем, вздымая пыль по дороге, к деревне неслась группа всадников. Впереди всех, припадая к гриве коня, в расшитом золотом платье мчался молодой местный царь Малахон. Был он, как сказано, молод, к тому же красив, и потому, как молодой, красивый царь, имел уверенное лицо и твердый взгляд.

Всадники налетели на деревню, подняли на дыбы лошадей и спешили у Ивановой

избушки, ломившейся от крика и песен. Малахон рванул дверь на себя, и вмиг все прекратилось.

Замер и царь. Не отрываясь глядел он на улыбающуюся молодую жену Ивана — уж не сон ли это? И понял царь, что не будет ему в этой жизни покоя.

«Не будет покоя», — догадалась она, ощутив сердцем, что случилось, и все, что может случиться еще...

Так и стояли они, смотрели друг на друга в притихшей избе. Но вот пошатнулся царь, повернулся с трудом и, на шарив дверь, вышел. Неуверенным шагом слепца добрел Малахон до коня и с трудом взобрался на него. Следом за ним медленно рассаживалась по коням царская свита.

И лишь тронулись всадники, как заголосила избушка веселую свадебную песню:

Вот тебе жена —  
Богом создана!  
Люби ее, не обижай  
И в обиду не давай.  
Ложитесь вдвоем —  
Вставайте втроем!  
На каждую ночь  
Сына и дочь!

Но скоро мало воздуха оказалось в избе для поющих, и вся свадьба с песней и пляской выкатилась наружу. Ударили тут мужики что было силы лаптями о землю, подхватили бабы концы косынок, и запрыгал, затопал весь двор.

Выплыла и Марфа на середину и так пошла, что расступились все вокруг и кто-то закричал с восхищением: «Ну чистая лебедушка!»

Тут же вскочил ошалевший от счастья Иван и пустился впрысаяду.

— Вань! — прорезался чей-то веселый голос. — Да где же ты ее достал такую?!

— Не говори, Ваня! — закричали незамужние девки.

Уже начало темнеть, когда к свадебной толпе подкатил шарабан.

— Кто тут Иван будет?

— Я! — закричало полдеревни.

— А который из вас жених?

Из толпы, приплясывая, выскочил новобрачный.

— Поехали, — сказал ему человек.

— Куда это поехали? — зашумела деревня.

— К царю, — со значением произнес человек, подсадил Ивана и дверь шарабана закрыл.

— Не иначе как в бояре произведут, — громко сказал кто-то.

— Видать, так.

— Ну, молодец, даром что дурак!

— Дурак живет не работой, а удачей, — сказал Петр Степану.

Тот кивнул.

Вели Ивана длинными сводчатыми коридорами через множество дверей: каждая следующая ниже предыдущей была. Все больше сгибался Иван, с изумлением по сторонам озираясь.

К последней двери Иван уже на коленях приполз. Согнулся еще и втиснулся в узкий проем... Поднял Иван голову от пола и замер от изумления: пламя множества свечей тонуло в просторных палатах, в резном кресле, словно впечатанный в темное золото хором, сидел сумрачный царь. Ниже и на обе стороны от царя, облаченные в богатые одежды, хмурили брови бояре. Тихо было от всеобщего молчания, только эхо от закрывшейся за Иваном двери все еще плутало под потолком.

Бояре, искоса поглядывая на Ивана, сдвинулись за спиной царя и шепотом держали совет.

— Убрать его — и все дела, — негромко предложил носатый боярин.

— Ясно, что убрать, — прошептал другой, красномордый, — а вот как?

— Как это — как? Понятно — казнить.

— Вот я и говорю — как казнить-то?

— Ну колесовать...

— В котле сварить...

— Повесить... при попытке к бегству...

Царь поднял руку, и все смолкли.

— Встань, Ваня, — сказал Малахон печально, — встань и подойди. Ближе подойди.

Когда Иван неуверенным шагом подошел к самому трону, Малахон подался вперед и тихо спросил:

— Я кто?

— Как кто? — испугался Иван.

— Ответь мне, Ваня, кто я?

— Царь-батюшка, — так же тихо сказал Иван и упал на колени.

— Правильно. А раз так, значит, и казнить могу. Могу! А я вот отличить тебя хочу. Как подданного мне друга. — Малахон наклонился к Ивану и почти прошептал: — Ваня, у нас нет Жар-птицы... — Затем резко откинулся в кресле и сказал громко: — В нашем государстве нет ни одной Жар-птицы! Позор!

Царь бросил испепеляющий взгляд на бояре. Те были потрясены.

— В темноте живем... Сегодня я видел твою жену. — У Малахона перехватило дух. Он помолчал. — И я понял: только ты можешь достать эту птицу, которой у нас нет. Иди, Ваня, и не возвращайся... без добычи.

— Царь-батюшка...

— Не надо, не благодари. Иди.

И, когда Иван был уже в дверях, бросил вслед:

— Охрану ему!

Затем победоносно откинулся на троне.

— Ну царь! — развели руками бояре. — Ну искусник! — с восторгом и обожанием смотрели они на царя.

Разбрелась к ночи деревня по домам, угомонилась. Только у Ивана во дворе костры горят. Плещут огненные языки и выхватывают из черной ночи бородастые лица стражников, стволы ружейные. Тихо, лишь огонь потрескивает да кони во сне ногами переступают.

Темно в избе. Только два лица светятся. Затаив дыхание, Марфа с Иваном по краям лавки сидят, не шелохнутся.

А с печи храп несется: там отец старичок лежит с открытыми глазами. Не хочется ему молодых стеснять. Храпит он, а сам с печи потихоньку сползает. Так же, храпя, к двери подошел на цыпочках и вышел тихо.

И едва притворилась дверь за ним, как вскочили молодые и друг к другу в объятия кинулись.

И произошло в природе движение.

Вспыхнула ярко и упала с неба комета... Встрепенулись люди во сне, и женские руки мужских коснулись...

И распустились цветы в ночи...

И голова лошади коню на гриву склонилась...

Разгорелся и взлетел ввысь огонь в костре... и озарил счастливое лицо Иванова отца...

Чуть свет стража замолотила кулаками в дверь.

Вместе с Иваном вышла из избы Марфа. Иван весело запрягал лошадь, Марфа складывала в телегу еду и лапти про запас.

— Вань,— прошамкал сидевший на завалинке отец,— ты мне оттудова валенки привези, а то эти дырявые совсем.

— Привезу, батя.

Оба брата с женами, стоя у своих заборов, глядели на сборы. И стражники, не спеша седлая коней, поглядывали на молодых.

Телега тронулась. Марфа и Иван пошли рядом. Вскоре на краю деревни остановились и обнялись.

С грустью смотрела Марфа, как радостный Иван усаживался в телегу.

Стражники подъехали и хлестнули Иванову лошадь. Поскакала лошадка!

На дубу сидит кобыла,  
Раздает всем прянички.  
Меня Марфа полюбила,  
Называла Ванечкой.

Притопнул Иван ногами и дернул вожжи.

Не роняй, жена, слезу.  
Я Жар-птицу привезу.  
Царь искал богатыря,  
Выбрал он меня не зря.

На росстани столб стоял, на столбе — надписи какие-то. Задумался Иван.

«Хрена ль ты смотришь,— пронесся шепот,— все равно читать не умеешь...»

Почесал Иван затылок и налево завернул, на Большую Дорогу.

Как у Вани оба брата  
Очень умные ребята.  
Только Ване была честь  
Тяте валенки привезть.

Солнце было высоко, телега мерно подпрыгивала. Разморило Ивана.

«Большая Дорога...» — шепнул хрипло хор. Открыл Иван глаза, смотрит — вместо лошади мужик запряженный стоит. Немолодой мужик, усталый.

— Как ты попал сюда, дедушка? — удивился Иван.

— По грехам моим,— горестно вздохнул мужик.— Пять лет назад был я за эти самые грехи обращен в скотину, тогда меня и купили.

— Как же так? А я все думал, что ты кобыла.

— Да нет, как видишь.

— Вот те на... А я-то... — огорчился Иван.— Я тебя и кнутом бил, и дрова заставлял возить...

— Да-а,— протянул мужик,— вспомнить страшно, как ты измывался надо мной. Ну теперь срок мой вышел, опять я, видишь, стал человеком.

— Значит, бог простил. Ты уж зло на меня не держи, дедушка. Возьми-ка хлебушка покушай, а то ведь сколько лет одно сено жевал!

Закивал мужик головой, вылез из хомута и, взяв хлеб, в лес побрел.

— Ты про Жар-птицу-то... — спросил было Иван, да вспомнил.— А, ну да... — и рукой махнул.

Впрягся Иван в телегу и кряхтя потащил ее по дороге.

Вдруг позади послышался топот. Обернулся Иван и увидел, как из-за поворота выскочил босой и оборванный парень с мешком за плечами. Задыхаясь, кинул тяжелый, позванивающий мешок в телегу.

— Ну тяжел! Спасибо, тебя встретил,— выдохнул облегченно и пот со лба вытер.

— Клади, клади... — закивал Иван, улыбаясь.

— Тебя как зовут-то? — спросил парень.

— Иван.

— А кличут?

— Дурак.

— А-а, ну я так и подумал...

Упал он вдруг и прижался ухом к дороге.

— Ты чего? — удивился Иван.

Махнул парень рукой, замер, потом быстро к лесу пополз.

Едва он скрылся, как загикали, затопали, за поворотом и показались с десяток мужиков с дрекольями и барин впереди.

— Вот он! — завопил барин.— Вот деньги! Держи вора!

— Деньги! Деньги! — кричали все.

Глянул Иван на них, потом на мешок в телеге и понял, почему парень так спешил от этого мешка избавиться. Что делать? Кинулся он к мешку и принялся его развязывать... Все ближе мужики — вот-вот схватят... Развязал все же, зачерпнул полную горсть и в сторону швырнул. Еще зачерпнул и в другую сторону бросил.

Заметались мужики, побросали свои палки и к монетам кинулись. А Иван все сыплет и сыплет — золотой звон по лесу несется. И вдруг ожил лес, засвистел, заухал, закукарекал.

«Деньги! Деньги!» — крикнуло несколько хриплых голосов, и в зеленой тьме леса замелькали чьи-то рожи кривые, руки волосатые.

Зарыдал барин, завыл от горя, от жуткого предчувствия, что не видать ему своих денег, а может, и света белого не видать, и к виновнику, к Ивану, с кулаками бросился. Вытряхнул Ваня последние монеты из мешка и по Большой Дороге прочь ударился.

Налетели тут разбойники, засверкали ножами...

Такой крик подняли, что и не услышали, как зацокали по Большой Дороге копыта, как выскочила из-за поворота конная стража.

И завязалась битва нешуточная! Запели стрелы, скрестились мечи, завертелись, заплясали кони.

Откуда ни возьмись усталый мужик с лошадкой Ивана появился. Не спеша привязал ее к дереву, кряхтя стал среди битвы деньги собирать и в мешок складывать.

«Эх, деньги, деньги...» — вздохнул хор.

А Иван несся по Большой Дороге.

Смеркалось уже, когда рядом с дорогой река сверкнула.

Тяжело дыша, на бегу Иван лапти, порты и рубаху скинул и в реку прыгнул.

Лишь немного он саженками промахал, как вдруг захохотал дико, выскочил по пояс из воды, замахал руками и, извиваясь и рыдая от смеха, торчком понесся по реке. Он летел спиной вперед, в веере поднятых им брызг, вздымая огромные волны. Так же внезапно он исчез под водой, и стало тихо. А еще через мгновение хохот его огласил дальнюю излучину реки. Вот он уже сделался едва слышным, потом, то и дело исчезая, снова стал приближаться. Иван болтался и нырял, как поплавок при сильном клеве. Он то хохотал, то булькал и выпрыгивал из темной реки в серебряных столбах водяной пыли.

Наконец все прекратилось — и движение, и смех. Иван шумно перевел дух, а рядом с ним появилось девичье лицо с длинными распущенными волосами.

С ужасом Иван смотрел на ее странно белое, без кровинки, лицо, на холодный блеск глаз, на длинные неживые волосы.

Поднял было руку перекреститься — не идет рука...

И не успел опомниться он, как полился над рекой вкрадчивый, заволаживающий голос. Стоя по горло в воде, видел Иван перед собой пригожее, отрешенное лицо девицы, слышал кружащую голову звуки. Потом лицо ее стало почему-то терять свою четкость и превратилось в расплывчатое пятно; разлетелись и закачались вокруг головы длинные волосы — блеснула рыба чешуя, изогнулись волнистые водоросли и, будто во сне, мелькнули чьи-то бородастые рожи. Голос звучал все тише, все глуше, и побежала уже вверх из-под носа цепочка пузырьков...

«Ну все,— прошептал хор и запел: — Со святыми упокой...»

Взорвалась успокоившаяся было река: выскочил Иван из-под воды и заорал не своим голосом. Рядом появилось девичье лицо. Все так же без выражения смотрело оно немигающими глазами, как бьется, кричит Иван, пытается к берегу выгresti. Булькает Иван, руками машет, и все время перед ним неотрывные, в упор глядящие глаза русалки. Обернулся в отчаянии к берегу, а там усталый мужик с его лошадкой и телегой, груженной мешком денег.

Покачал мужик головой сочувственно. — Ну что же,— вздохнул горестно,— не пропадать же добру,— и Иванову одежду на телегу бросил.

— Эй! — крикнул Иван, молотя руками воду.

Перекрестился мужик и тронул лошадку. Пробился наконец Иван на мелководье — сидит по пояс, дрожит весь.

Неподалеку девица — смотрит растерянно. Собрался Иван с силами — начал крест творить. Тотчас дрожь перестал. Видит: из глаз русалки слезы полились.

Жалко ее стало Ивану, опустил он руку. Вмиг глаза девицы высохли. Открыла она рот: «А-а-а» — вновь песню начала.

— Да чур ты! — прикрикнул на нее Иван. — Не видишь, неодетый я, выйти не могу.

Смотрит русалка, не понимает.

И Иван смотрит с отчаянием.

— Голый, голый я! — вскочил Иван, руками закрывшись.

Русалка исчезла вмиг.

Остался Иван один по колено в воде. Но ненадолго — вновь русалка перед ним возникла с мокрой кольчугой и шлемом.

«Ну вот,— прошелестело над рекой,— другое дело...»

Тиха, пустынна темная река. Лишь де-



вичья голова с распущенными волосами смотрит широко открытыми, немигающими глазами. Но вот рядом с ней появились вторая, третья, еще несколько русалок вынырнуло.

Все с удивлением смотрели на человека, стоящего на берегу: ниже колен на нем висела кольчуга, болтались длинные, чуть не до земли, рукава; на голове, закрывая глаза, — шлем, а на шлеме надпись: «Иду на вы. Лукопёр».

Лицо у царя Малахона было веселое и уверенное. Разодетый и разряженный, он размашисто шел к крыльцу. За его плечами видна была суетливая свита, мужики на коленах в пыли, с шапками в руках, и дальше спелое поле до горизонта.

Царь легко взбежал на крыльцо, ногой толкнул дверь и, как к себе домой, вошел в избу Ивана.

— Ты чего же это?! С царем шутки шутить?! — начал он прямо с порога. Затем огляделся и увидел Марфу.

Она стояла у окна с младенцем на руках, тихонько его покачивала и смотрела на бегавших взад-вперед царских приспешников, на коленопреклоненную деревню. Потом подошла к двери и распахнула ее перед царем.

Побелел царь, пристально поглядел на Марфу, затворил дверь и пошел к ней. Марфа приложила палец к губам: «Тихо» — и сделала это так, что царь вдруг сразу перешел на шепот.

— Я к ней и так, и сяк, и гонцов знатных посылаю, и зову, и умоляю... За честь должна почесть!

Марфа насмешливо улыбнулась.

Малахон подошел к окну и махнул рукой.

Тотчас дверь отворилась, и в комнату, кланяясь, проскользнуло несколько ядренных баб.

— Кормилицы, — объяснил Малахон. — Выбирай любую и собирайся — нечего тебе здесь больше делать.

Марфа равнодушно отвернулась и пошла в глубь избы, напевая и баюкая младенца.

В красном углу горела оплывшая, по-прежнему огромная мирская свеча.

Царь был обескуражен, по всему было видно, что он не привык к отказам и теперь не знал, что делать. Взгляд его упал на печь, где стоял на коленях и часто кланялся ему старичок отец. Малахон подошел к нему и, будто забыв про Марфу, сказал с печалью в голосе:

— Да... грустно, дед, скорбно...

Старик не расслышал, и тогда царь сказал громко и внятно:

— Сын твой Иван погиб... вот так, отец...

Старик продолжал кланяться.

— Сгинул он! — крикнул царь. — Сгинул!

Отец перестал кланяться, глаза его наполнились слезами.

— Врешь, — спокойно сказала Марфа.

— Как это «врешь»? Ты кому это говоришь?!

Марфа подошла к нему вплотную.

— Врешь! — твердо повторила она и так посмотрела на царя, что тот неожиданно для себя сказал вдруг:

— Вру... — Но тотчас опомнился и закричал: — Почему вру?! Не вру я! Не вру!! — Потом глянул на Марфу и снова промямлил: — Ну вру... и что? Все врут, и я вру...

Марфа с жалостью поглядела на него и сказала тихо и спокойно:

— Иди с богом. — И, повернувшись, отошла.

Царь медленно опустился на лавку, тут же, словно обжегшись, вскочил и тяжелым шагом пошел к двери.

Рыжий бородатый молодец из свиты почтительно посторонился, давая царю дорогу. Малахон вышел, закрыл за собой дверь и, внезапно размахнувшись, влил рыжому оплеуху. Затем сбежал вниз и с размаху вскочил в седло.

По лесу, увязая в снегу, шел Иван. Поверх кольчуги была накинута звериная шкура, в руке Иван держал дубину. Вылез из берлоги медведь и недовольно зарычал на него. В ответ Иван так рывкнул, что медведь вжал голову и полез обратно в берлогу.

То и дело проваливаясь в сугробы, Иван достиг наконец границы леса. Здесь он остановился и из-под руки глянул вдаль.

Голо вокруг — снежное поле.

И снова побрел Иван. Ночью, в ярком свете луны, открылась его взору странная картина: темный городок, кишачий людьми, выл сотней собачьих глоток. По улицам среди пепелищ и разбросанных по земле пожитков шатались, посылая кому-то проклятия, жители. Снег в городе был серым от пепла. Из лунной тени возник перед Иваном человек и пошел рядом, повторяя: «Купи дом, сколько хочешь за дом? Купи... Задаром отдам...»

Возле черного и теплого еще пятна бывшего дома толпа обгорелых людей распевала песню. Чуть поодаль громко переключались бабы. От поющих отделился мальчонка и, приблизившись к Ивану, с надеждой спросил:

— Ты за огненной птицей пришел, да?

— Да, — удивился Иван. — А ты почем знаешь?

— Он! — подпрыгнул мальчишка и побегал по улице, размахивая руками. — Он! Пришел!

Замер город на минуту, даже собаки перестали выть. Повернулись из темноты к Ивану бледные пятна лиц. Потом улица задвигалась, зашевелилась, и в глубине ее появилась про-

цессия людей, несших под полой зажженные свечи, отчего и сами они, и особенно лица их светились. Возглавляли процессию два человека: один седой, с темными мешками под глазами, другой с пушистыми усами и лысый. Лысый нес на расшитом полотенце хлеб-соль и, взглядываясь в странного, облаченного в богатырские доспехи пришельца, не переставая удивлялся:

— Неужели богатырь?

— Богатырь-то вроде побольше...

— Карлик, наверное, — решил седой. — У богатырей ведь тоже карлики должны быть.

Перед Иваном делегация остановилась и поклонилась в пояс. Лысый выдвинулся вперед, держа хлеб-соль на вытянутых руках. Иван уронил дубину и, взяв каравай, принался рвать его зубами.

— Ты что, пешком пришел? — спросил седой. — А мы конного ждали.

— Я коня своего к семье отпустил, — ответил Иван, не переставая жевать. — Он заколдованный был.

— Понятно, — тихо сказал лысый и со знанием посмотрел на седого.

Тот округлил глаза и почему-то оглянулся. И освещенные свечами и скрывающиеся в темноте люди наблюдали с восторгом, как жадно Иван приканчивал хлеб. Кто-то из делегатов выделился из толпы и, протянув руку со свечой к Ивану, прочитал на блестящем шлеме: «Иду на вы. Лукопёр».

— Богатырь Лукопёр! — зашептали делегаты и, как эхо, откликнулось в темноте: «Богатырь! Лукопёр!»

Иван стряхнул с бороды хлебные крошки и глянул исподлобья на незнакомых людей: — Запить бы.

— Идем, идем, все готово, — проговорило сразу несколько голосов.

Окружив Ивана светящимся кольцом, делегация двинулась вверх по улице.

— Где птица? — спросил Иван подозрительно.

— Ты не торопись.

— Отдохнешь, подкрепишься перед подвигом...

— С ней днем надо биться, днем она вялая со сна... — советовали ему со всех сторон.

— Ночью к ней не подойдешь — горячая!

— Ну, уж Лукопёр покажет ей, где раки зимуют!

Позади Ивана шел человек выше его на голову и нес дубину.

В кабаке все стали рассаживаться за длинным дубовым столом. Ивана посадили на высокое кресло в центре.

С огромными блюдами, от которых шел пар, на мягких, неслышных ногах мелькал перед столом кабатчик. На мгновение замешкался он возле Ивана, и глаза их встретились. Еще через мгновение он был у Ивана за

спиной и шептал ему на ухо:

— Прости, браток, силы тогда кончились, духу не хватило, не погуби.

И вновь возник с жареным поросенком на блюде и заговорщически подмигнул. Иван узнал вора, что когда-то подбросил ему мешок на телегу.

— Ты у кого теперь служишь, Лукопёр? — раздался голос с края стола.

— У Малахона, — ответил Иван и лишь потом удивился: — Почему Лукопёр?..

— Потому что у тебя на лбу написано, что ты Лукопёр, — шепнули губы кабатчика, а в следующий момент он был уже с гуслями и пел:

Наши в поле не робеют  
И на печке не дрожат...

— Малахон твердый царь... Боевой... — говорили за столом.

— Спокойно у вас? — спросил лысый, сидевший по правую руку.

— Когда уезжал, спокойно было, — ответил Иван.

— Ну, еще бы...

— По пути к нам сражался с кем-нибудь? — таинственно спросил седой слева.

— Со зверями, — ответил Иван громко. Зашевелилось пламя свечей, потянулись со всех сторон любопытные лица.

— А правда, что Соловей-разбойник бежал и в наших лесах засел? Не встречал?

— Врут ли, нет, что Усыня, Горыня и Дубыня богатыри разошлись и вместе не ходят?

— Пойдите! — крикнул лысый и махнул рукой. Все стихли. — Ты мне вот что скажи, Лукопёр: Алешу Поповича взаправду казнили... — он придвинулся ближе и закончил сквозь зубы, — за эти дела?

— За какие? — удивился Иван.

— За такие! — лысый сделал большие глаза и зашептал на весь кабак: — За женские... Ну там... Елена Прекрасная и все такое...

— Ешь, Лукопёр, — вернулся между ними кабатчик. И шепнул на ухо: — Ешь и помалкивай.

— Не с Еленой, а с богатыркой Синеглазкой! — крикнули с левого края, и показалось красное, сердитое лицо.

— Сказал! С Синеглазкой один Муромец справится.

— Вот Алешу-то и казнили, что не справился.

— А от кого же тогда сын у нее, Соска-богатырь?

— От медведя.

— Так-то Ивашка-медведко.

— Не Ивашка, а Машка.

— Как так?

— А так! Его положили на пуховую перину и узнали.

— ???

— На перине-то все видно: если яма под плечами — значит богатырь, а если под задом — сильномогучая богатырка.

Иван повернулся к седому:

— Вы сами-то пытались ее поймать?

— Кого? — тот в испуге отшатнулся.

— Огненную птицу.

— Что ты!

— Бойтесь?

— Да разве это в человеческих силах?!

Мы и не пробовали.

— Тебе-то она зачем? — тихо спросил кабатчик, подвывая Ивану самогонки.

Тот неторопливо перелил ее в миску, хлеба покрошил. Задумался. Кабатчик, да и все за столом с удивлением и уважением наблюдали за этим странным, богатырским, видать, обычаем.

— Тебе-то зачем? — так же тихо переспросил кабатчик.

— Не мне. Царь просил. Свету мало — в темноте живем.

— В темноте, да не в обиде.

— Ты чего там шепчешь, Матюшка? — нахмурился седой.

— Свинья скажет борову, а боров всему городу. Петух скажет курице, а она всей улице. Знала бы наседка, узнает и соседка...

— Ну ладно, ладно... Понесло! — махнул рукой седой.

Кабатчик снова склонился к Ивану:

— А я вот теперь — честный целовальник. Город горит, и я горю. Раньше хоть долгов не было...

Вдруг заметались языки свечей, плеснуло вино из чарок. Загудела земля, и вошел в кабак богатырь — еле в дверь пролез согнувшись. Загремел кольчугой, меч на поясе поправил. Вздروгнули все от его голоса:

— Вызывали?

Никто не смог ему ответить — пробовали рот раскрыть, да звук не идет.

— Чудо-богатыря вызывали?

Все взгляды сошлись на Иване. Тот оторопел.

— Три дня и три ночи ехал, — вздохнул богатырь, — проголодался.

Никто еще опомниться не успел, а Матюшка-кабатчик вперед выступил:

— Кого вызывали, тот уж приехал.

— Кто приехал? — не понял богатырь. — Я приехал?

— Ты-то вот приехал, а он пешком быстрее тебя успел.

Великан потемнел и молча обвел глазами комнату. Взгляд его уперся в Ивана.

— Вы что, насмешки надо мной строите?! — грозно молвил он. — Ты чего вырядился, сиська тараканья?!

Иван растерялся, но тут же справился с лицом и, нахмутив брови, спросил с вызовом:

— А ты кто такой? Почему не знаю?

— В самом деле, — поддержал Матюша. — Что за чучело? Ты и на богатыря-то не помож!

Потемнел великан:

— Никто еще меня так не обижал.

— Ну и катись отсюда! — крикнул Матюша.

— Ишь какой, — поддакнул Иван.

Весь стол замер, только глаза вращались с одного на другого.

— У тебя хоть имя-то есть? — спросил кабатчик.

— Балдак Борисович меня зовут.

— Что-то не слышал, — усомнился Матюша.

— В списках нет такого, — подтвердил Иван.

— Я мальчик еще, мне двенадцать лет.

— А раз мальчик, так на горшке сидеть должен, — напирал Матюша.

— И не ездить... — вставил Иван.

— Долго ты торчать тут будешь?!

— Ездят тут...

— Дай, дай ему, Лукопёр! — кабатчик уже протягивал Ивану его дубину. — Что ты на него смотришь?!

— Что ж, — сказал Балдак. — Два богатыря в поле не живут...

— Я порядки знаю! — расхрабрился Иван. — Разъезжаться будем на две или на три версты?!

— На... две, — неуверенно сказал Балдак. — Я только с дороги. Конь устал...

— На три! — твердо сказал Иван.

— Эх, — вздохнул богатырь и рукой махнул.

— Ну и дурак! — сказал Матюша. — Пропадешь, как муха. Одумайся, пока не поздно.

Через несколько минут все были на улице. Отовсюду стекался взволнованный народ. Балдак Борисович громоздился на богатырском своем коне и сверху смотрел на суевитящуюся толпу.

Матюша отвел Ивана в сторону и задумался.

— Где же мне тебя спрятать?

— Зачем прятать? — усмехнулся Иван.

— Биться будешь? — кабатчик изумленно уставился на Ивана. Потом покачал головой. — У тебя ведь и коня-то нет... Хотя... лошадку я, кажется, смогу достать. Но не взыщи.

Лошадка была и в самом деле худая, Матюша принялся выпрягать ее из саней.

— Не нужно, — сказал Иван.

— Как не нужно? Другой у меня нет.

— Выпрягать не нужно... — Иван испытующе посмотрел на Матюшу, потом подошел вплотную и что-то на ухо зашептал...

В молчаливом недоумении смотрели погольцы вслед богатырям.

— Вдвоем сразу они не могут погиб-

нуть? — спросил лысый у седого.

— Как сойдутся... Говорят, случалось и не такое.

Богатыри выехали в чистое поле.

— Биться будем на смерть или... так? — в голосе богатыря было сомнение.

«Так», — шепотом подсказал хор.

— Насмерть! — твердо ответил Иван.

Хор тяжело вздохнул.

Вскоре жители города увидели, как разъехались богатыри в снежном поле и стали отдаляться друг от друга.

Вот уже и опустело поле...

Исчезли на горизонте последние городские дома, когда Иван с Матюшей, сидевшие в санях, увидели на снежном косогоре за лесом высокий, обгоревший дуб.

— Здесь, — сказал Матюша.

На самой вершине дерева едва светилось огромное гнездо.

Поодаль от дуба Иван с Матюшей остановились.

— Скинь кольчугу, — шепотом посоветовал Матюша, — а то расплавишься.

Иван разоблачился. Потом они, то и дело оглядываясь на дуб, достали из саней таз пустой и полное мутной самогонки ведро. Матюша самогонку в таз начал наливать, Иван — хлеб крошить, тюрю делать. Попробовал малость, кивнул — годится.

С тазом, полным тюрей, пополз Иван к дубу.

Матюша поодаль залег.

Дополз Иван, перекрестился.

— Цыпа, цыпа... — кликать стал.

Зашипело гнездо, завозилось, разгораться принялось...

Замер Иван. Матюша в снег вжался.

Гнездо уже в огненный шар превратилось, потом шар этот вверх пошел. Дико заржала лошадка, подскочила вместе с санями и бешеным галопом прочь помчалась.

Вздрогнули окрестности, и на горизонте стал стремительно расти всадник с грозно поднятым мечом. Заволновалась толпа.

Мчится всадник, конь его храпит, снег столбом взлетает. А издали навстречу лошадка с санями несется: кольчуга в ней блестит, шлем подпрыгивает. Вот-вот сшибется.

Словно ветром народ вперед склонило: все вдаль вглядываются.

— Ну все! — лысый седого за руку схватил.

Богатырский конь на дыбы встал, лошадка с санями на диком скаку мимо мелькнула и удаляться стала.

По толпе всеобщий потрясенный вздох пронесся.

Поворотил Балдак Борисович своего коня и в погоню помчался.

Матюша, лежавший в снегу, медленно поднял голову...

Первое, что он увидел, — это пар, окутавший все. Потом, в облаках пара, он сумел различить огромное пятно обнажившейся земли и Ивана в обгоревших лохмотьях. Иван сидел возле таза, из которого большая птица, обыкновенный с виду павлин, доклевывала тюрю.

— Ну будет, будет, — приговаривал Иван, надевая на нее ошейник с цепочкой, — и так уж едва на ногах стоишь...

«Молодец! — поразился хор. — Даром что дурак».

Вновь появился на поле битвы Балдак Борисович. На этот раз богатырский его конь едва ноги переставлял.

— Живой!... — вздохнула толпа.

Не сразу заметили горожане шедшего навстречу богатырю обожженного Ивана с едва светящейся птицей на цепи. Птица шаталась на нетрезвых ногах, чиркала что-то — пыталась песню напевать. Следом тащился довольный Матюша.

Вздрогнула толпа и с победным воплем бросилась навстречу Ивану. Мимо онемевшего при виде его богатыря, мимо кричавших людей прошел Иван со светящейся птицей на цепи.

— Ну, Лукопёр! Ну, искусник! — восхищенно кричали из толпы.

— А на вид ванёк-ваньком.

— Да, не перевелись еще богатыри на Руси!

Огромная, восторженно гудящая толпа провожала Ивана.

Вся деревня была в поле, когда из лесу, разбрызгивая искры и урча, выкатился огненный шар. Зажмурились и завизжали бабы, мужики перекрестились и, вылупив глаза, выставили перед собой серпы и вилы.

Подпрыгивая на человеческих ногах, огонь несся на деревню и вопил:

— Это я, Иван! Не бойтесь!

— Это же Иван! — закричали вокруг. — Иван Жар-птицу несет! Марфа! Иван вернулся!

— Ну, все, — сказал Степан Петру. — Сейчас весь хлеб подожжет.

Побросав все дела, с поля, с огородов бросилась деревня к Ивану. Обступили со всех сторон, а подойти боятся: Иван с птицей как костер — жаром пышет. Детишки норвят вперед пролезть, собаки заливаются. Подбежала Марфа с ведром воды и окатила мужа с головы до ног. Зашипел Иван, пар от него во все стороны повалил.

Тут к нему мальчонка бросился лет пяти, не больше, с криком: «Тятя! Тятя!» —

да Марфа его за руку поймала: «Сынок наш».

— Как звать? — крикнул Иван из пламени.

— Петька!

Так и пошли к царю: впереди Иван в огне, а следом вся деревня: мужики с серпами, бабы с младенцами на руках, старики и те увязались. Ну, конечно, ребяшня босоногая и собак без счета.

У царских теремов переполох: одно солнце на небе, другое по земле на них катится, и за ним народ идет. Заполнила деревня весь царский двор, а Иван к дверям направился. По пути окунулся в бочку с водой — вода так и закипела, забулькала.

Царь вцепился в подлокотники трона, повскакали со всех мест думные бояре, когда крикнул ворвавшийся в палаты стражник: — Огонь! Огонь идет!

В панике бросились бояре к выходу и отпрянули, озаренные ярким светом: огненный шар, все сильнее разгораясь перьями пламени, входил в дверь. Царь смертельно побледнел: медленным шагом огонь приближался к трону. Малахон, из последних сил стараясь сохранить на лице важность, все глубже и глубже вползал в кресло.

— Что, что я говорил?! Кто был прав? — кричал он онемевшим от ужаса боярам. — Каков, а?! Приказал царь — он и принес... Берите, берите же ее!!! — орал он, уже стоя на троне.

В следующее мгновение Иван вручил ему птицу, они слились в пламенный клубок, затем от клубка отделился Иван, а царь, оставшийся в огне, завизжал, запрыгал на троне, потом, соскочив, заметался по зале. Вместе с ним заметались бояре и стражники.

Иван стоял в стороне: обгоревший, без ресниц, без бровей, с опаленной бородой и в дымящихся лохмотьях. Кто-то впопыхах сунул ему в руку золотой:

— Иди, иди отсюда, милый...

«И подальше...» — хор горько добавил.

Во дворе царил суматоха: расталкивая мужиков и баб, бежали куда-то с ведрами и баграми дворовые люди. Из окон шел дым. В объятиях к дымящемуся еще Ивану бросилась Марфа. Радостная деревня окружила их и отправилась восвояси.

Позади, крепко задумавшись, шли братья.

— Да-а, — вздохнул Петр. — Простое яйцо такого жара не выдержит.

— Так она золотые несет, это точно.

— Да откуда им взяться, яйцам-то?! Он же ее одну притащил, без петуха...

— Дураком ушел, дураком, видать, и вернулся.

— Считай, что даром ходил...

Вечером Иван, вымытый, в чистой рубахе сидел за столом и ел щи. Марфа с сыном

стояли рядом и улыбаясь глядели на него. Много было гостей в избе: братья с женами и детьми, старики чинно восседали на лавках, остальные жались у стен. С печи смотрел довольный отец.

— Вань, — спросил высокий, хмурый старик, — что там слышать про басурман? Сказывают, опять идти на нас собираются?

— Ты на ярмарке был? — Петр спросил. — Как там цены?

— А правду, Вань, сказывают, что иные земли сами родят? Вот как трава, к примеру, растет, так и рожь?

И вдруг стихли все: в открытой двери избы стоял царский посланник.

— Поспеши, Ваня, — сказал посланник. — Царь зовет.

— Хоть доесть-то дай, — сказал кто-то.

— Ничего, лопнет еще, а мне его живым доставить велено.

Все вокруг прыснуло от смеха — шутка пришлась по вкусу.

— Ну, уж теперь точно в бояре произведут, — Петр Степану сказал негромко.

В сумерках, сжатый с боков двумя сопровождающими, вошел он в царский двор. Почерневшие хоромы еще дымились, повсюду слышался стук плотницких топоров, пахло гарью. Весь двор был заставлен диковинными сундуками, огромными столами с обожженными углами, креслами. Посреди двора тлел золотом пустой трон. Ивана подвели к нему и, надавив на плечи, грохнули об землю.

Смолкли шаги за его спиной, и Иван остался один. Но вот тьма озарилась множеством огней. Иван скосил глаза и увидел двигающуюся к нему царскую свиту с факелами в руках. Малахон шел впереди. Возле Ивана все остановились. Отражающимися в зрачках языками пламени глядел царь на Ивана. Голова его была забинтована, рука лежала в петле повязки.

— За птицу спасибо тебе... — сказал царь глухо, — большую радость принес...

— Как дома? — уже из-за спины откуда-то тихо спросил царь. — Все живы, здоровы?

— Все, царь-батюшка, — кивнул Иван, глядя на трон.

— Далеко ходил? — теперь слева от Ивана метнулся золотым узором подол царского платья.

— Далеко... — Иван с любопытством смотрел на сияющий носок сапога.

— Теперь еще дальше придется... — пасмурным голосом обрезал его царь.

Мелькнули в свете факела рыжая шевелюра и рука, бросившая перед Иваном связку новых лаптей.

— Люди мрут как мухи, — продолжал царь, прохаживаясь за спиной Ивана, — ле-

чить нечем... В темноте живем... Ты не прине-  
сешь живой воды — никто не принесет...—  
Рядом с лаптями появилось деревянное ведро.—  
Что молчишь?

— Уволь, царь-батюшка,— попросил  
Иван.— Шесть лет дома не был... Жены не  
видел... Сын родился...

Царь побледнел вдруг и сказал тихо:

— Садись.

Иван растерялся.

— Садись!!! — заорал Малахон.

— Избави бог, что ты...— забормотал  
Иван.

— Садись! — жестко повторил царь.

Отбивающегося Ивана подхватили под ру-  
ки и втащили на трон. Двое прижали к спине,  
двое других держали за руки.

— Теперь правь! — угрожающе сказал  
царь.— Раз сел, так правь!

— Отпусти с богом,— прошептал Иван.

— Отпустите его,— приказал царь.— Не-  
когда ему тут рассиживаться.

Иван поднял ведро, лапти и молча пошел  
со двора. Из темноты появилась и медленно  
поехала за ним конная стража.

В избе было все так же шумно и весело.  
Терпеливо сидели и негромко переговарива-  
лись прямые, сосредоточенные старики;  
соседи, прислонившись к стенкам, переки-  
дывались шутками и похохатывали, а отец  
все улыбался с печи. Марфа по-прежнему  
была у стола — она будто знала, что Иван  
сейчас войдет, и первое, что он увидел, это ее  
озабоченный взгляд... Он прошел мимо при-  
молкнувших гостей и сел за стол, на кото-  
рый Марфа ставила уже миску горячих щей.

Множество глаз следило за ним.

— Батя,— поднял голову Иван,— я тебе  
валенки в другой раз принесу... Потерпи еще  
малость...

Старики один за другим поднялись и на-  
правились к дверям...

Иван с лучиной в руке стоял в опустев-  
шей избе и удивленно смотрел на свое отра-  
жение в медной начищенной сковородке, ви-  
севшей у печки. На него глядело пересе-  
ченное шрамом, жесткое, обгоревшее лицо.

— Это я, что ли? — усомнился Иван.

— И я рядом,— светло улыбнулась Мар-  
фа. И добавила: — Это мы, Ваня... Я ведь  
судьба твоя!

На печке бормотал что-то старик во сне.  
Возле него спал Петька.

Потом Иван и Марфа сидели на постели  
в неясном свете луны, лившемся в слюдя-  
ное окно. Где-то за печкой стрекотал свер-  
чок. Марфа трогала рукой обожженные воло-  
сы мужа, проводила пальцами по губам, ка-  
салась его груди, гладила брови, руки... В ее  
синих глазах было небо, уплывающее в яр-  
кую глубь, белые взмахи, дрожащие в оскол-  
ках солнца, неясные крики птиц...

В окно глядела окруженная лунным ним-  
3 Киносценарии № 3

бом удивленная морда теленка.

Иван засмеялся. Он сидел рядом с Марфой  
и положил ей руку на голову. Марфа взяла  
его руку и поцеловала.

Занавеска отодвинулась, и они увидели  
стоявшего босиком на полу сына. Иван под-  
нял его и отнес на печку. Затем вернулся и,  
взяв за руку Марфу, тихо вышел с ней из  
избы.

Они осторожно миновали спящую стражу и  
побежали в поле. Лишь один стражник под-  
нял голову и молча посмотрел им вслед.

Иван с Марфой пробежали по убранным  
полю мимо снопов сжатого хлеба и опусти-  
лись к темно-сияющей реке. На ходу они ски-  
нули одежду и вступили в сонную глубину  
отраженного в ночной воде неба... И вспых-  
нуло тотчас и полетело другое небо — живое,  
расплавленное в солнце, бескрайнее...

Утром стражники долго громыхали в дверь.  
Потом распахнули и пошли внутрь. Но толь-  
ко дед и Петька смотрели на них с печи.

Вся деревня была на ногах. Люди высы-  
пали на улицу и глядели на идущих к ним  
и далеко видимых в прозрачном утре Марфу  
и Ивана. Они подошли с какой-то особенной  
легкостью, будто не было у Ивана этих  
последних лет,— повзрослевшее лицо его  
разгляделись и посветлело.

Марфа вбежала в избу и вынесла Ивану  
связку лаптей, ведро и котомку. Иван улыб-  
нулся ей.

Провожали его молча, всей деревней. Про-  
вожала и стража, оставившая своих коней.  
Никто не отвел глаз, когда далеко за око-  
лицей прощался Иван с Марфой и сыном.  
Глядели с жалостью и добром. Глядели, как  
оторвался от них Иван и пошел по дороге,  
один, неизвестно куда.

Иван стоял на горячем песчаном берегу  
реки и, опустив посох в прозрачную воду,  
наблюдал за пробегающими мимо него  
стаями мальков.

«Эх, Ваня, Ваня...— засмеялся хор.— Так  
бы и любой дурак нашел...»

Но вдруг мальки прыснули в разные сторо-  
ны, в ушах раздалось некое подобие первых  
громовых раскатов. Иван испуганно оглядел-  
ся и увидел вдалеке сначала блеснувший на  
солнце шлем, а затем и знакомую громоздкую  
фигуру всадника.

— Балдак! Балдак Борисович! — радостно  
заорал Иван и, размахивая посохом, побе-  
жал к нему навстречу.

Богатырь придержал коня и поехал медлен-  
нее. Он молча смотрел сверху на семенив-  
шего рядом человека.

— Ты что, не узнаешь? Это же я, Иван!  
Который Луконёр!

По лицу великана пробежала легкая тень,  
но ответа не последовало.

— Зимой... помнишь? — не унимался Иван.— Мы еще бились с тобой.

— Так почему же ты жив? — удивился богатырь.

Балдак Борисович, только повзрослевший, с первыми следами усов и бороды, посмотрел на него внимательно и медленно покачал головой:

— Нет, с тобой я не бился...

— Может, скажешь, что ты не Балдак?

— Я не Балдак.

— Но я же вижу, что ты Балдак! — Иван начал злиться.

Одна рука богатыря остановила коня, другая потянулась к мечу.

— Сам ты Балдак!!! — лицо его потемнело, глаза начали наливаться кровью.

— А ты кто такой?! — взбеленился Иван, решительно сжимая посох.

— А я Далбак! — грозно сказал богатырь и вынул меч.

— Как Далбак?

— Так Далбак.

— Борисович?

— Борисович.

— Значит, брат?

— Чей брат?

— Балдака. Ты брат Балдака?

— Да, я его брат.

— А-а...

Далбак спрятал меч. Иван опустил палку. Помолчали. Потом Иван спросил:

— Ты туда?

— А куда же?

— Подвезешь?

— Садись.

Богатырь взял Ивана за шиворот и посадил на коня позади себя.

Скоро они въехали в осиновую рощу.

— Осина, — сказал Далбак Борисович.

От гулких ударов конских копыт вся роща мелко трепетала. Сквозь гул этот сначала едва слышно, затем все явственней стал различим ангельский хор. Иван пошел медленнее, и справа от себя Иван увидел исполосованную черными щелями деревянную церквушку. Замкнутые ее куполом, сливались воедино дрожавшие детские голоса.

— Церковь, — сказал богатырь.

Внезапно пение прекратилось, и из церквушки суетливо выскочил маленький, заросший черным волосом поп с огромным крестом в руке.

— Поп, — сказал Далбак Борисович.

Следом за ним с шумом высыпали оборванные глазастые ребятишки.

— И дети, — сказал богатырь.

Увидев его, те рты пораскрывали... Поп, волнуясь, бежал перед богатырским конем и, то появляясь, то исчезая с глаз Ивана, кричал высоким, срывающимся голосом:

— Добро пожаловать! Милости просим!

— Здравствуйте, — Далбак Борисович на-

клонил голову.

— Может, перекусить желаете?

— Перекусить можно, — согласился богатырь.

— Идемте, идемте за мной, — обрадовался поп и засеменял впереди.

Всадники, окруженные гурьбой ребятишек, поехали следом.

Скоро показалась деревня. Ехавший в телеге навстречу мужичок вежливо поздоровался. Богатырь с Иваном кивнули, потом оглянулись недоуменно: телега была привязана к хвосту лошади.

— Видал? — постучал Иван по кольчуге.

— За хвост привязал, — сказал Далбак.

У крайней покосившейся избы, у втоптанного, разломанного забора повстречали они другого мужика. Он был взлохмачен, словно со сна, и бос. «Ну как?» — крикнул он в сторону недовольным голосом. Вдалеке на огороде разогнулась бабка и помахала в воздухе выдернутой из земли свеклой: «Мала еще!»

Мужичок подумал и махнул рукой: «Ну, пускай дальше растет! Всунь обратно!»

И баба принялась запикивать свеклу обратно в землю.

Поп виновато улыбнулся, потом, выставив перед собой крест, подбежал к калитке единственного целого забора.

— Сюда, сюда, — позвал он.

Иван лег на коня животом и с ведром, посохом и лаптями полетел вниз. Следом спешился и богатырь.

По огороду, не кудахтая даже, а истошно взвизгивая, петля между кочанами капусты и пытаясь взлететь, неслась курица. За ней гналась разъяренная попадьа.

— Держи, хватай ее!

Иван кинулся наперерез курице и, упав, поймал ее. Попадья налетела, выхватила у него курицу и начала сечь ее прутом.

— Ах ты, курва! Цыплят целый двор вывела, а титек не отрастила! Чем кормить будешь?!

— Что это с ней? — удивился Иван.

Далбак Борисович пожал плечами: «Сдурела».

Поп вырвал у жены курицу и принялся заплетать попадье палец за палец на руках.

— Ну сколько раз тебе повторять?! — чуть не плача приговаривал он.

Попадья стала успокаиваться.

— Что ж, так и ходить все время? — пролепетала она, глядя на свои руки.

В овине кто-то хихикнул сдавленно, поп мгновенно насторожился.

— Так и ходи, — тихо ответил он, оглядываясь. Потом подбежал к гостям и, кланяясь и указывая на стол под яблоней, забормотал: — Садитесь, садитесь, я мигом! — и метнулся к сбившимся в кучу детям.

Пробежав вокруг них с палкой, он обвел

на земле охранительную черту, взмахнул рукой, и дети запели. Сам же засеменял к дому.

Стоявшие на крыше дома через дорогу тянули на избу корову. Для коровы такое приключение было, видно, внове: она упиралась копытами в стену и хрипло мычала.

— Не горопись, голубушка,— кричала снизу баба.— Вся травка твоя будет! — Потом повернулась к мужику, шедшему мимо и тащившему козу за хвост, и сказала с гордостью: — Видишь, сколько у нас травы на крыше выросло!

— Ишь ты! — поразился тот.— Поливаете, что ли?

— Поливаем.

И Далбак Борисович поразился:

— Сколько дураков сразу!

«Это только в одной деревне...» — вздохнул хор.

Стол был завален уже хлебом, заставлен кувшинами молока. Путаюсь в рясе, поп с трудом тащил ведро шей.

— Ты крест-то положи, рука освободится,— подсказал Далбак Борисович.

— Что ты! — испугался поп.— Как же без креста?!

Богатырь залпом выпил кувшин молока, взял здоровенный ломоть хлеба, а черпак окунул в щи.

Поп, замерев, с восторгом смотрел на Далбака.

Потом с жалостью оглянулся на детей.

— А у нас тут...— он махнул рукой.— Дела...

— Да-а,— посочувствовал Иван.

Далбак, не поднимая головы от ведра, кивнул. Иван с опаской огляделся и прошептал:

— Псалтырь читали?

— Много раз,— вздохнул поп.

— С образами выходили?

— Выходили, не помогает.

— Соль по углам сыпали, коренья жгли?

Поп утвердительно кивал. Иван задумался, потом весь подался вперед и зашептал возбужденно:

— Есть верный способ. Надо кидать овечью шерсть ключьями вверх и приговаривать: «Чур меня, чур меня».

— Да делали, делали! — горестно ответил он.— Обнаглели гады, не боятся ничего.

— Аминем беса не отбудишь,— промычал богатырь набитым ртом.

— Домовые, овинные? — спросил Иван, кивнув в сторону построек.

— Э-э, сынок, кого тут только нет: и домовые, и овинные, и водяные, и болотные...

Иван наклонился к его уху и еще что-то спросил. Поп горестно посмотрел на него и ответил еле слышно:

— Думаю, что и Сам тут...

Богатырь уже очистил весь стол, собрал в горсть крошки и кинул в рот.

— С кем биться-то надо?! — спросил он деловито.

— Спаситель! — вскричал поп и упал коленями в пыль.— Не биться. Одну только ночь на мельнице переночевать — страх на себя принять. Кто же, кроме тебя, выдержит?!

— Никто,— согласился богатырь.

— Так останешься? — обрадовался поп.

Далбак Борисович покачал головой:

— На ночь не могу.

— Останься,— попросил Иван.— Видишь, детишки-то все равно что сироты.

Далбак вздохнул.

— Мне на подвиг пора. Басурмане прут. Дай бог, к утру до поля брани добраться.

Поп зарыдал.

— И ехать пора, и поп плачет... Как быть? — сказал богатырь и задумался.

Иван в волнении расхаживал по двору.

Прислонившись к стене дома, всхлипывала, глядя на мужа, попадья со сцепленными пальцами. Чуть поодаль, за углом дома, стоял к Ивану спиной человек в зимней шапке и валенках. Всем своим видом он показывал, что не имеет к происходящему ни малейшего отношения, и, напряженно откинувшись назад, прислушивался к разговору попа и богатыря.

Лицо Далбака наконец просветлело, и он улынулся.

— Я к вам на обратном пути заеду, коли жив буду.

Он встал, скрывшись головой в ветках яблони, громогласно поблагодарил за угощение и, переваливаясь на ходу, гремя доспехами, направился к своему коню. За ним, виновато потупившись, пошел Иван.

Незнакомец, как-то странно подпрыгивая в своих валенках, прячась за деревьями, боком переместился ближе к калитке.

Богатырь взгромоздился на коня, протянул ручищу и поднял Ивана. Тот увидел, как задрожала кольчуга на богатырской спине от звука его голоса: «Не плачь, отец, вернусь — переночую».

Иван закачался, звякнула перед его лицом кольчуга, мелькнули в стороне поп с крестом в руке, попадья, поющие во дворе дети. Пропрыгали перед его взором избы и дворы, выскочившие в испуге люди, и открылось сияющее на солнце золотое поле.

Когда подъехали ближе, Иван разглядел ползающих среди пыльных, высушенных солнцем колосьев мужиков и баб. Они перегрызали каждый колос зубами и срезанные таким образом колосья складывали в копны.

— Постой! — крикнул Иван и, соскользнув с коня, упал в дорожную пыль.

— Ты чего, не едешь? — обернулся к нему богатырь.



— Не могу, хлеб-соль отработать должен,— ответил снизу Иван.

— И то правда, я свой хлеб всегда отработываю,— согласился богатырь и тронул по воду.

«Зря!» — сказал хор.

Иван посмотрел ему вслед и, повернувшись, пошел назад, в деревню. На краю поля стоял человек в шапке и валенках и перетирал в ладонях колосья. Когда Иван проходил мимо, он обернулся и быстро глянул ему в лицо. Солнце медленно клонилось к западу.

Скоро оно упало в лес, и закат обжег полнеба.

— Пожар! — завопила деревня.— Солнце сгорело! Во тьме жить теперь!

К ночи охрипли голоса, и деревня слышна была лишь дальним протяжным стоном.

Было тихо и безветренно. Еле слышно скулит во тьме шедший рядом с Иваном поп. Чуть поодаль неслышно двигалась чья-то тень... Потом тень эта свернула с дороги в лес и, нелепо подпрыгивая, побежала. Скоро она достигла края высокого, залитого ярким лунным светом пригорка, и тут оказалось, что это человек в шапке и валенках. С трудом, мучаясь одышкой, он взобрался наверх и скрылся в старой заброшенной мельнице.

Вскоре появились и поп с Иваном. Поп молча указал на мельницу рукой. Иван увидел вдруг, как медленно сдвинулись и, нарушая неподвижный порядок тени и света, бесшумно поплыли ее крылья.

— Продержись только, милый... продержись до первых петухов,— молил поп вслед Ивану. Потом, пригнувшись, побежал прочь.

Дверь тихо скрипнула, и Иван не раздумывая ступил на залпанный лунным светом и белеющий сваленными как попало мешками с зерном пол. На мельнице, видно, давно никто не работал.

Из-за мешков с кривой снисходительной ухмылкой наблюдал за Иваном человек в шапке. Мужичкое, несколько надменное лицо его заканчивалось козлиной бородкой, а толстый, картошкой, нос украшала неожиданная горбинка. Он поднес ко рту согнутую ладонь и заухал соевой, зашумел ночным лесом...

Иван напряженно вглядывался в пустые углы, но ничего и никого видно не было... Вдруг жутко завыл волк... Потом над самой головой раздались громовые раскаты и оглушительный треск и грохот...

Иван бросил ведро, посох и присел, обхватив руками голову...

— Ну что ж, можно начинать,— удовлетворенно прошептал человек за мешками.

Иван пришел в себя, торопливо вынул из кармана уголек, очертил на полу круг и стал внутрь его.

«Давай, давай»,— сказал он и стал ждать. Но никаких звуков больше не было. Стало так тихо, что Иван боялся пошевелиться...

Человек за мешками внимательно изучал его лицо...

Иван перевел взгляд на стену и увидел, как из нее высунулась рука и пальцем поманила его. Иван удивился, почесал голову и огляделся пристальней. Точно: рука торчала прямо из досок. Он посомневался немного, но любопытство взяло верх, и Иван пошел посмотреть, в чем дело.

Из-за мешков выскочил человек в шапке и валенках, мгновенно стер круг тряпкой, а уголек съел.

Палец, манивший Ивана, согнулся и вместе с другими пальцами составил фигу. Мельницу потряс громовой хохот.

Иван кинулся назад — круга нет.

— Вот гады! — возмутился он.

Тут захохотало, завыло на все голоса, и изо всех стен, из-под пола, с потолка вылезли руки с фигурами.

— Чур меня! Фу, фу! — заорал Иван, и руки пропали. Вновь стало тихо.

«Ну все, Ваня,— вздохнул хор.— Попрощаемся...»

Глаза человека, стоявшего за мешками, сияли поистине нечеловеческим огнем. Он вдруг решительно скинул шапку, обнаружив старые облупившиеся рога на плешиевой голове и, вильнув задом, выпустил наружу хвост. Затем лихорадочно сбросил валенки и на полустершихся копытах отбил короткую чечетку. Поплевал на лапы и... из-за мешков к Ивану вышел его сын Петька. «Тятя, тятя!» — бежал он к отцу. Иван протянул руки и вдруг с ужасом увидел, как провалился Петька за два шага до него и с криком полетел в колодезь. Иван чуть было не бросился за улетевшим вниз сыном, но вовремя очухался. «Чур! Чур!» — отпрянул он. Никакого колодезя не было перед ним, лишь в ушах еще крик стоял. Лицо его покрыла испарина.

Сам — а это, конечно, был он — стоял в темном углу, и огоньки его красных глаз возбужденно вспыхивали. «Не взяло,— озадаченно прошептал он.— Ну ничего...» Он вдруг заржал, забил копытами и с криком «Вперед!» ринулся в атаку.

Иван увидел, жмурясь от яркого солнца, что стоит совсем один посреди чистого поля, а на него с гиканьем и улюлюканьем в блеске доспехов, с копытами наперевес несется конное войско. Оглянулся — позади родная деревня, отступить нельзя. А конница все ближе: ржут кони, всхливают взлетевшие мечи. Вот-вот сомнут, раздавят, разрубят, поднимут на копыта... Иван хищно осерился, и из груди его вырвался страшный медвежий рык... Сбились ряды войска, закружились, завставали на дыбы кони... Что было сил зарычал Иван, и смятая, вопящая в панике

конница бежала прочь...

Иван, стоя на карачках, рычал в пустой мельнице. Потом затих и ошалело огляделся. Никого не было. С него градом катил холодный пот.

Растерянный Сам сидел за жерновами, блуждал по сторонам огненным взором и кусал губы. «Опять не взяло... Что это я сегодня? Пить надо кончать...» — с этими словами он достал бутылку, судорожно глотнул, понюхал кончик хвоста и еще глотнул. Выглянул — Иван уже на ногах стоит. Тогда Сам встал на четвереньки и выполз из-за жернова... Иван увидел, как кинулась из-за угла к его избе свинья, за ней другая, третья... Вот уже множество свиней подрывают под домом с заколоченными окнами и дверью, а из дома несутся крики Марфы, сына, отца: «Ваня! Спаси!» Дом кренится, вот-вот рухнет... Иван бросился к свиньям. Но дом продолжал падать, и тогда Иван уперся в него спиной...

«Ну, все! — обреченно сказал хор. — Теперь точно — все!»

Кряхтя, упиравшись из последних сил, держал Иван... стену мельницы. Сам бегал вокруг, шупал пульс, слушал сердце, заглядывал в лицо.

— Ну, черт деревенский, ну, милый, ну, родной! Ты ведь можешь еще, можешь! — колотил он себя в грудь и со страхом глядел на расползающуюся ночь. Все еще держа в руке пустую бутылку, оглянулся. Иван, по-прежнему подпиривший стену, вдруг раздвоился. Сам тряхнул головой — Иван снова стал один. «Ну докажи, касатик! Ну! Вперед!»

Иван поднял голову: перед ним в царской спальне стоял пьяный Малахон с бутылкой в руке. Подошел, покачиваясь, и протянул к нему руку... Оттолкнул его Иван, и Малахон упал на пол: только смотрит Иван — не его это руки толкали, а девичьи. Глянул в зеркало — так и есть, дветка. А Малахон снова кинулся. Схватились они, вывернулся Иван и зацепил царя за бороду...

А по белеющей в ночи дороге уже бежал поп. В одной руке он держал петуха, а ладонью другой сжимал ему голову. Он бежал по серебристому от ночного света полю, по темному, вырастающему стволами на пути лесу и выбежал к мельнице. Он отпустил голову петуха, но петух молчал.

— У-у, поповское отродье! — прикинув к щели в стене, Сам скреб доски железными когтями. Потом выхватил из-за пазухи книжечку и, поглядывая на вцепившегося в мешок Ивана, стал судорожно листать черные страницы с белыми буквами. — Ну что еще, что еще? — бормотал он, держа спянку книжку вверх ногами.

Из мешка, по которому лупил Иван, сыпалось уже зерно...

Поп что было сил ущипнул петуха, и тот заорал не своим голосом.

Сам плюнул, бросил книжку и с криком: «Пропади ты все пропадом!» схватил бутылку и трахнул ею Ивана по голове.

«Ну уж это черт знает что!» — возмутился хор.

На улице безостановочно вопил петух.

Иван очнулся, потрогал ушибленную голову и, подняв глаза, увидел перед собой пьяного разъяренного черта. Недолго думая, он влепил ему оплеуху, и черт, отлетев, врезался в стену.

— Ты чего дерешься?! — завопил он.

— А ты чего?!

— Да я тебя! — кинулся было в драку Сам, но Иван успел поймать его за хвост и, раскрутив, снова грохнул об стену.

Мельница сотрясалась от могучих ударов, поп, замерший от изумления с кричавшим петухом в руках, увидел вдруг, как распахнулась дверь мельницы и из нее выскочил рыдающий черт, а за ним вылетели котомка, шапка и книжка.

Иван хотел было кинуть и валенки, но передумал.

Сам, не разбирая дороги, несся прямо на попа, но в последнюю минуту увидел его, и оба в ужасе отпрянули друг от друга. Петух, выпущенный попом, заголосил и, хромя, бросился бежать. Ошалевший черт подпрыгнул и ударился в другую сторону.

Хор заулюлюкал вслед.

— Эй! — завопил Иван ему. — Постой!

Сам присел на ходу, втянул голову в плечи и обернулся.

— Где живая вода? — крикнул Иван.

Черт махнул лапой в сторону и припустился пузе прежнего.

Поп торжественно стоял на коленях и с благоговением смотрел, как по обсыпанному росой пригорку медленно спускался к нему седой Иван.

— Спаситель, страстотерпец... — начал поп. В эту минуту из деревни донеслись крики, поп обернулся и продолжал: — Родной, великомученик, часовой на этом месте поставим, храм белокаменный...

Крики из деревни сделались громче, стал слышен чей-то истошный визг. По дороге бежали к пригорку дети.

— Паломники хлынут к твоим мощам...

— Каким мощам? — Иван с удивлением смотрел на распростертого у его ног попа.

— Так ведь похороним-то, как святого.

— Ну это еще кто кого похоронит! — Иван тряхнул головой, и мука, делавшая его седым, осыпалась.

— Дедушка, дедушка! — кричали, подбегая, дети. — В деревне нечистых бьют!

Поп вскочил:

— Я сейчас! — и, развеяв черной рясой, понесся в село. Ребятишки повернули и побежали следом.

Иван половчей приладил за спиной валенки и лапти, подхватил ведро, посох и пошел в деревню.

А там: охота, бой, кутерьма! С чердаков тащат заросших, грязных домовых, бьют мычащих, хрюкающих, запутавшихся в сене овинных. Носится по дворам поп и кропит нечисть святой водой, отчего те визжат, как ошпаренные. Мужики в подштанниках тянут из реки сеть, а в сети водяной — обросший ракушками, увешанный жабами, как бо-родавками, с огромными прозрачными глазами. Пленных нечистых, связанных одной веревкой, хнычущих и ревущих в голос, волокут уже в какой-то сарай...

А возбужденные, радостные мужики, очистив деревню, рассыпаются по полю, по перелескам; проверяют кусты, роются в стогах...

— Полевой! — кричит вдруг кто-то, и все мчатся к бредущему по полю человеку, обвешанному валенками и лаптями, с ведром и посохом в руках.

Иван замер на мгновение при виде бегущих к нему и размахивающих кольями мужиков, повернулся и помчался прочь.

— Держи его! Хватай полевого! — кричали и улюлюкали ему вслед.

— Постойте! — подняв руками рясу, несся поп следом. — Это же спаситель ваш!

Встал запыхавшийся, обессиленный Иван, встали мужики, услышавшие призывы попа. Переводя дух, погоня и Иван смотрели друг на друга. Потом с криками «спаситель!» мужики вновь кинулись к Ивану. Иван растерялся, помедлил и побежал прочь. Мужики стали отставать, остановились и долго смотрели ему вслед.

Целый день шел Иван, целый день не встретил ни единой души, и лишь к вечеру увидел он скачущую по полю лошадь. Когда она поравнялась с ним, Иван разглядел ногу, застрявшую в стремени, и убитого, волочившегося за лошадью в высокой траве. Следом прохромал, опираясь на обрубок пики, басурманин... Потом вдаль загрохотало, грохот стал приближаться, и в столбах пыли появился Далбак Борисович. Черный от пороха, с зазубренным мечом и погнутым шлемом, он был по-прежнему спокоен и величав. На коне перед ним сидела и радостно смеялась богато одетая красивая девица. Богатырь остановил коня и поздоровался с Иваном.

— Ну как? — спросил Иван.

— Что как?

— Сколько положил?

— Да тысяч десять положил, не меньше, трое убежало, одну княжну освободил. Одна и была всего. А ты как?

— А я никого не положил, один убежал, освободил душ двести, не больше.

— И то дело для начала...

— Ну я пошел, — сказал Иван.

— А я поехал, я ж на коне...

Иван сделал несколько шагов, богатырь тронул коня ногой.

— Брату кланяйся от меня, — обернулся Иван.

— Какому брату?

— Своему.

— Какому своему?

— Ну, твоему, — насутился Иван.

— Я понимаю, что моему, не дурак.

— Так чего же ты мне голову морочишь?!

Далбак положил руку на меч, княжна пригнула голову.

— Ты чего привязался? — богатырь угрожающе подался вперед.

Иван отступил на шаг и напрягся.

— Я привязался?!

— А я, что ли?!

— Я тебе сказал: Балдаку привет передай!

Далбак Борисович облегченно вздохнул.

— Так бы и сказал, что Балдаку, а то брату...

— А он что, не брат?

— Брат.

— Так какого хрена!

— Какого хрена?

— Ты что, не понимаешь, что раз брату, то Балдаку, значит?!

— Не понимаю, — снова нахмурился Далбак.

— Почему-у?!!

— Потому.

— Чего «потому»?! — заорал Иван, и лицо его скривилось от обиды.

— Потому что нас трое братьев: Балдак, Далбак и Дундук Борисовичи. Понял?

— А-а-а...

Помолчали.

— А кто же старший, кто младший?

— Никто.

— Как — никто?

— Так — никто.

Иван заплакал.

— Ты чего плачешь?

— Не могу понять ничего, — всхлипнул Иван.

— Чего ничего?

— Того ничего, что никто никого... старший, младший...

— Вот дубина, я ж тебе сказал, что никто не старший, не младший.

Иван снова заплакал.

— Ты чего?

— Как же так может быть?

— А так.

— Как? — взвыл Иван.

— Мы все в один час родились, мы братья-однобрюшники.

— А-а-а... Так бы и сказал.

— А ты спросил?

Иван вытер слезы.

— Ну бывай.

— Бывай.

Далбак Борисович развернулся и поехал прочь.

И Иван пошел своей дорогой. Потом вдруг спохватился и крикнул:

— Эй, Далбак! Живую воду не встречал?!

Но богатырь был уже далеко.

— Да где же она...— пробормотал Иван.

«Где-где...— вздохнул хор.— На краю света, Ваня. На самом».

А Иван все шел и шел.

Шел тропами звериными запутанными...

Шел торной лесной дорогой...

Продирался сквозь дремучую стену леса...

Сквозь стену ливня в бескрайней степи...

Сквозь грязи...

Сквозь топи болотные...

Переплывал бурные реки...

Карабкался по снежным кручам...

Шел песками зыбучими...

Все шел и шел...

Палило солнце, а пескам не видно было конца.

«Правее, правее забирай»,— подсказал хор.

Частые крупные звезды сияли повсюду — до самых дальних пределов необозримых песков.

И вновь солнце раскаленной сковородкой нависло. Пески плавилась, воздух плыл в раскаленном мареве.

Босой, черный от солнца, высушенный, словно мумия, с посохом и ведром в руках брел Иван по горячим пескам.

И набрел неожиданно-негаданно на рай: сквозь марево гуще озеро заголубело с ивами плакучими. Протер глаза: нет, не сон. Подошел ближе, тронул воду посохом — круги побежали... Навернулись у Ивана слезы на глазах — откуда влага взялась? Высыпал он из ведерка пыль песочную, нагнувшись и зачерпнул из озера. Дрожащими руками поднес ведро ко рту, смотрит — песок вместо воды. Глядь — и озера нет, пустыня одна жаркая.

«Тут так, Ваня,— сказал хор.— А ты как думал. Тут уж не до жиру».

И снова пошел Иван. То и дело теперь реки по пути попадались, сады вишневые, несколько раз деревня родная встретила. Но равнодушно Иван мимо шел, не обернулся даже, когда Марфа его с их двора окликнула.

А однажды среди пустыни забор появился. Обыкновенный дощатый забор без конца и края путь перегородил. Подошел к нему Иван, ткнул посохом — деревянный стук раздался. Тронул рукой — забор и есть. А что за ним — не видать, высоко. Вскинул Иван посох,

зацепился его крюком за верх забора и подтянулся. Покачнулся забор, заскрипел и стал падать. И увидел Иван, лежа животом на нем, что за забором ничего не было... И в это ничто его посох полетел. Меж тем забор застыл, наклонившись, и тихо раскачивался... Нет, не небо продолжалось вниз, а, сливаясь с небом в один лазурный цвет, неподвижно лежала под ним вода. И еще увидел Иван отраженных в воде трех китов, держащих на спинах своих всю тяжесть земли.

«Край света,— хор прошептал.— Он самый».

Сполз Иван с забора, и тот вновь распрямылся. Глянул: ведро осталось, а посоха нет. Тогда Иван выломал несколько досок и вниз глянул: далеко внизу посох его плавает, весь в зеленых листьях.

«Живая...— дохнуло среди песков.— Вот она... Внизу... Поди достань...»

Сел Иван — идти дальше некуда,— глянул на ненужное больше ведро.

Солнце плавилось в зените, и все вокруг — и пески, и воздух — плавилось и качалось. И Иван плавился и раскачивался. И солнце раскачивалось в плывущем, раскаленном мареве... Иван медленно поднял руку — солнце у него как раз на ладони оказалось — и остановил его. Солнце жгло ладонь, но Иван руку не отнял. Только зубы сжал, да пот на лбу выступил. Потом медленно обхватил солнце пальцами и с силой швырнул его вниз, в дыру.

Там взрыв шипящий раздался.

Иван глянул на обожженную ладонь и вновь поднял ее к солнцу. И снова швырнул его вниз.

«Мозговит!» — с уважением прошептал хор.

Вновь — взрыв и облако пара снизу.

Иван с азартом, с яростью уже брал, раз за разом, и швырял солнце в океан. Взрывы следовали один за другим, и скоро клубы пара окутали все, покрыли забор каплями, оседали влагой в ведре.

Весь стол дико захохотал и загрохал чарками, расплескивая вино.

— На китах, ой, не могу!

— На котах! — взвизгнул кто-то.

Прыгали языки множества свечей, прыгал залитый вином дубовый стол, прыгали бубны в руках пляшущих скоморохов, металась цветные сарафаны, богатые кафтаны.

Царь хохотал вместе со всеми, обвиняя одной рукой хохочущего, черного от солнца Ивана, перед которым на столе стояло его деревянное ведро.

— Вымыслы! — закричали из конца низкой сводчатой залы.

— Вымыслы! — подхватили из другого ее конца.

— Вымыслы! Вымыслы! — закричали все хором.

Шуты колотили пятками, орали:  
— Эй, кит, китик, вылезай выпить!

Карлик в колпаке забрался на стол и захромал к ведру. Здесь он сделал вид, что помазал водой из ведра «больную ногу», и, подпрыгивая, пустился в пляс меж чарок и блюд.

Разживись живой водой,  
Сразу станешь молодой!

Тут карлик медленно поднял вверх прямую ногу. Все заржали, повалились на стол. Царь перегнулся с кресла и повис на Иване:

— Правда, что ли, живая, а, Вань?  
— Ага,— смеясь со всеми, кивнул Иван.  
— Может, проверим? — крикнул царь.  
— Проверим!!! — взревел стол.  
— Кто желает? — хохотал царь.

Шут в паническом ужасе спрыгнул на пол. Все замолкли...

Только Иван, глядя на хохочущего царя, смеялся.

— А-а! — махнул рукой Малахон и положил голову на стол.— Всем смертям не бывать, а одной не миновать! Рубите мне!

Иван, зараженный его весельем, крикнул:  
— Где топор?!

И вдруг все обрадовались, вскочили и бросились освобождать место на столе. Полетели блюда, чарки... Кто-то завернул царю руки за спину, кто-то держал уже голову.

— Топор! Где топор?! — кричало сразу несколько голосов.

Малахон с трудом вырвался, бледный как полотно, он обвел всех свирепым, внимательным взглядом. Но через мгновение он уже смеялся и качал головой, глядя на Ивана:

— Ишь, какой хитрый! А если тебе?!

— А что, ваяйте! — с готовностью воскликнул Иван и, положив голову, с улыбкой поглядел на царя.

— Давайте скорей! — крикнул Малахон.

Рыжий уже волок огромный топор.

— Ну Ванюша! — хохотал царь.— Смелей! Слово даем, что обратно приставим?!  
— Даем!!! — завопил рыжий.

Все расступились и около улыбающегося Ивана остался палач. Корчась от смеха, он с трудом поднял топор...

...Марфа, тревожно ходившая по избе, вдруг остановилась, охнула и схватилась за сердце. Потом кинулась к двери...

Обезглавленное тело Ивана сидело в кресле.

— Не приставляйте! — сжимая кулаки, крикнул царь.

— А слово! — возразили пьяные голоса бояр.— Кто слово давал?!

— Не хочу-у! — с налитыми кровью глазами орал царь и топал ногами.— Нет моего согласия!

По темной дороге задыхаясь бежала Марфа. Голова ее была наполнена гулом, она не ощущала ничего, кроме тугих ударов ветра в разгоряченное лицо и враждебного, воющего пространства.

Приближенные сгрудились вокруг Малахона. Шел спор.

— Как хочешь, царь, а совестно! — веско сказал старейший, белый как лунь боярин.

— Царское слово крепко держать надо! — воскликнул другой, носатый, и пошатнулся.

— Ну ты меня не учи! — нахмурился грозно Малахон.— Я своему слову хозяин — хочу держу, хочу нет.

— Ну так будем приставлять или нет? — мокрый от усердия рыжий трясушимися руками старался поровнее приладить голову Ивана на прежнее место.— Я держать устал!

Седой кивнул ему и показал рукой: приставляй.

Царь молчал, лишь выперли на скулах и побелели желваки.

Некто из свиты, коренастый и красномордый, зачерпнул чаркой из ведра и, спотыкаясь, с вытянутой рукой пошел к Ивану. Возле царя он приостановился и сказал:

— Ну чего ты психуешь? Какая живая вода? Чувь все это! Сказки народные! Да ни в жисть не прирастет... — И пошел дальше. Около Ивана обернулся и спросил:— Ну что, взбрызнем для порядка?

— Давай,— процедил сквозь зубы Малахон,— чтобы разговоров не было...

Красномордый приблизился к Ивану, набрал в рот воды и, надув щеки, прыснул что было силы...

Иван открыл глаза, и сквозь туман увидел веселые, красные, пьяные чьи-то рожи. Они таращили глаза и орали немymi ртами. Иван почувствовал боль и, подняв руку, потрогал свежий рубец на шее. Потом его потревожил какой-то прорвавшийся в его сознание звук, он опустил глаза и увидел шута, вылезшего из-под чьих-то ног и тычущего в его сторону пальцем. Ивану слышен был лишь его пронзительный, визгливый смех, и только спустя несколько мгновений хлынули крики и хохот.

— Жив, опять жив!

— Ай да Иван!

— А голову-то криво приставили!

Он понял, что смотрит куда-то вбок, но, чтобы перевести взгляд, ему пришлось повернуть все тело. В поле его зрения обнаружился царь, который подмигнул ему радостно и напустился на рыжего:

— Ты что же, обалдуй ржавый, сотворил?!

Ты как голову приживил? А ну, давай по-новому руби!

Затем Иван услышал свой смех и голос:

— Не надо, не надо, и так сойдет!

— Смешно дураку, что рот набоку,— пошутил красномордый, и все захохотали.

Потом Иван услышал, как крикнул Малахон:

— Я пью за Ивана!— и увидел царя, стоявшего с полным до краев бокалом красного вина в поднятой руке.— Жив Иван, потому что живуч, а живуч, потому что жизнь любит, жить любит, шельма! — И все закричали, а царь, выпив до дна, кинул бокал через плечо.

Метнулся рыжий и у самого пола этот бокал подхватил... И вновь запели девки, заплясали, забили в бубны скоморохи, зашумел стол.

Внезапно рядом раздался высокий голос шута:

— А вода-то вкусная!

Карлик стоял на столе возле ведра и размахивал кружкой.

— Проверим?— крикнул чей-то хмельной голос.

— Проверим!!!— взревели бояре.

Ветер сшибал Марфу с ног, расплел, растрепал ее косу, обхлестнув сарафаном, вылепил фигуру. Все труднее давался каждый шаг. Скоро показались впереди черные изломанные очертания царских жилищ. В развеваящемся кафтане, подхваченный ветром, неся ей навстречу какой-то человек. Он поравнялся с ней и исчез за спиной, а Марфа, продолжавшая бежать, вздрогнула вдруг от застывшего в шагах крика. Ветер, казалось, остановил ее нахонец... потом повернул круто и одним порывом бросил навстречу словно повисшему в воздухе, бегущему к ней Ивану...

Так они встретились в третий раз.

Старейший из бояр схватил ведро и, запрокинув голову, забулькал. Седая голова его стала темнеть на глазах...

Тут уже все повскакали!

Вмиг все смешалось, несколько рук схватились за ведро, дернули — полетели щепки,— и живая вода пролилась на стол. Какая-то девушка упала на колени и принялась ловить ртом сбегаящую со стола струйку, старейший из бояр все молодец и превратился уже в юношу, а меж ног великана, в прошлом карлика, застывшего в потолке по поясу, пробежала хрюкая вскочившая с блюда свинья под хреном. Каравай хлеба закололся и налился зерном; жареные гуси встрепенулись, загоготали и залетали; из пола поднялся молодой лесок, пробилась травка, зацвели цветы. Девка встала с колен беременной, а рядом, уцепившись за край ее сарафана, хныкал, путаясь во взрослых одеждах, вернувшийся в далекое детство боярин.

Все катались по траве меж грибов и, схватившись за животы, умирали от хохота...

Лишь царь стоял в стороне. Он был мрачен.

В теплой избе горели лучины, лилась протяжная песня. Пели сидевшие за уставленным едой столом и на лавках вдоль стен девки, бабы и мужики, пели седые старики и старухи, старшие братья Ивана, пела Марфа, серьезный, вихрастый Петька и пятилетний Степан. Только печь была пуста... Новые валенки стояли на месте, где прежде был отец. Иван оглядывал родные загорелые, обветренные, синеглазые крестьянские лица, и хриплый голос его вплетался в долгую, раздольную песню...

Долина моя, долинушка,

Долина моя широкая,

Раздолье мое далекое!

Иван счастливо улыбался, обнимая правой рукой младшего сына и поглядывая на сидевшую рядом Марфу. Песня, закончившись, не прекратилась, а незаметно продолжилась другой...

Приоткрылась дверь, мигнул, позвал его глаз рыжего царского прислужника, и вновь медленно притворилась, никто из поющих не заметил... Иван улыбнулся Марфе, тихонько встал и, пробравшись среди гостей, вышел из избы.

В ветреной ночной тьме развевались гривы коней, темные, вихляющие фигуры людей обступили его и сжали в кольцо. Кольцо это раскачивалось, хмельно поблескивали глаза, лица, разукрашенные синяками и шишками, кривились от сдерживаемого смеха. Все то и дело прыскали, толкали друг друга локтями. К Ивану шатнулся царь и схватил его за грудки:

— Ну вот... значит...— смех душил его, он побагровел, замолк на мгновенье, потом продолжал:— Мы вот тут совет держали и порешили...— кто-то из свиты не выдержал, повалился на землю и, воя от смеха, покатился,— и порешили: пойдешь туда, не знаю куда...— рыжий уткнулся соседу в грудь и застонал, заглушая одеждой рыданья. Голос Малахона срывался, слезы застилали глаза, текли по щекам:— ... и принесешь то, не знаю что... и ничего другого, прочего... только это... и не перепутай... У-у-у... — завыл он вдруг и рухнул назад, в толпу.

Все уже откровенно, в голос, хохотали. Иван стоял прямой и спокойный, голова его была повернута в сторону, глаза смотрели мимо царя, в ночь.

Он молча повернулся и пошел к дому.

Когда Иван открыл дверь, из глубины избы, из-за дальнего края стола глянули на него

огромные, испуганные глаза Марфы. Взгляды их встретились. Марфа догадалась обо всем, и лицо ее померкло.

Песня стала стихать, распадаться на отдельные голоса и вскоре замерла.

Как когда-то, на своей свадьбе, Иван с Марфой сидели рядом, во главе стола. В молчании все смотрели на них.

Ушел Иван ранним, ненастным утром, когда спала еще деревня. Тихо и пусто было вокруг. Лишь Марфа стояла на краю деревни и смотрела ему вслед.

Вот он уже виден едва...

Вытянулась Марфа за ним струной, руки протянула и пала коленями в осеннюю жижицу.

— Свет ты мой, — горячо зашептала она. — Солнце ты мое ясное, Ванюшка! Пошла я, жена твоя, в чисто поле, во широкое раздолье, стала посреди родной сторонушки, призвала ветры буйные, небо высокое, солнце красное во свидетели. Заговариваю я своего ненаглядного над следами его милыми...

Марфа медленно шла по спящей деревне.

— Умываю я своего Ванюшку во чистое личико, утираю платком венчальным уста его сахарные, очи ясные, чело думное... — Марфа в горнице стояла перед иконой, под которой горел язычок мирской свечи. Низка стала свеча, взырь растеклась... — Освещаю я свекою обручальною его осанку соболиную, его кудри русые, его лицо молодецкое, его поступь борзую... — Тихо, стараясь не разбудить сыновей, взяла в сенях подойник и пошла по двору к хлеву. — ...Будь ты, мой муж ненаглядный, светлее солнышка ясного, милее вешнего дня, светлее ключевой воды, белее ярого воска, крепче камня горячего Алатыря...

Просыпаясь, деревня наполнилась звуками: скрипели калитки, вздыхали в стойлах коровы, далеко разносились негромкие голоса. Окончательно разбудило и растревожило деревню появление царя в сопровождении свиты и стражи. Разбивая копытами грязь, кавалькада проскакала по дороге и остановилась у избы Марфы. Малахон спешил и вошел во двор. С крыльца на него смотрели сонные ребятишки.

— Мамки нету, — буркнул старший.

— А где же она? — подозрительно прищурился царь.

Петя молчал.

— Так она доит, — простодушно улыбнулся Степан.

Не разбирая луж и грязи, пошел царь к хлеву.

Со всех сторон медленно стягивались, окружая двор, крестьяне. Так же медленно

разбрелась вдоль забора конная стража.

Войдя в темный хлев, царь услышал сначала приглушенный голос Марфы:

—...Отвожу я от тебя, мой Ванюшка, черта страшного, отгоняю вихоря бурного, отделяю от лешего одноглазого, от чужого домового...

Потом увидел белые, звенящие о дно подойника струйки молока, лоснящийся коровий бок и очертания сидящей на чурбаке Марфы.

— Марфа! — выдохнул Малахон и опустился на колени.

И угрюмым мужиком, и молчаливой страже видна была через открытую дверь хлева спина царя, стоявшего на коленях.

Марфа головы не повернула, шептать горячо продолжала:

—...от злого водяного, от ведьмы киевской, от злой сестры ее муромской, от моргунь-русалки, от летучего змея огненного...

— Когда царь стоит на коленях, — тихо сказал Малахон, — с ним шутки не шутят, Марфа.

Царь бледен был, лишь глаза горели на лице.

Марфа мельком скользнула по нему невидящим взором:

—...отмахиваю я тебя, мой милый, от воро-на вещего, от вороны-каркуньи...

— Без тебя не уйду! — твердо сказал царь и хлопнул в ладоши.

—...защищаю от кощея-ядуна, от хитрого чернокнижника...

Рыжий, держа что-то под полой, влетел в хлев и, сунув царю в руки корону, исчез. Малахон поставил корону на землю перед Марфой.

— Будешь царицей, женой моей.

Марфа недоуменно глянула на корону.

—...от заговорного кудесника, от ярого волхва, от старухи-ведуньи обороняю я тебя, муж мой... — глаза ее сияли.

Застонал царь, как от страшной боли, от которой нет средства никакого, кроме последнего.

— Во имя сатаны, — медленно и сильно начал он, — вступлю я на запретное место и гляну под сыру-матеру землю. Государь сатана! Пошли ко мне на помощь, рабу своему, бесов и дьяволов с огнями горящими... — и зажглись перед ним зеленые козлиные глаза.

Встревожился скот, всполошились, залетали куры, стараясь петухами запеть.

— Будь ты, муж мой, — страстно продолжала Марфа, и вновь светлеть стало, — моим словом крепким укрыт в ночи и полунощи, в пути и дороженьке, во сне и наяву от силы вражьей...

—...не могла бы она без меня ни жить, ни быть, ни есть, ни пить...

—...от нечистых духов, сбережен от смерти

напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопленья, укрыт в огне от сгорания...

—...как белая рыба без воды, мертвое тело без души, младенец без матери...

То тьма с горящими в ней зелеными огнями, то свет чередовались.

Все отчаянное голоса, все ярче вспышки света, чернее тьма... Вот уже мерцание яростное, под всеобщий рев скотины, из хлева перелившееся на двор, на потрясенную деревню.

— А придет час твой смертный, и ты вспомяни, мой Ванюшка, про любовь нашу ласковую...

— Крепки и лепки слова мои!.. Крепче и лепче клею карлуку и тверже и плотнее булату и камению!— самозабвенно, глаза в глаза с сатаной в козлином обличье, огонь в огонь, царь закончил.

И вспыхнул яркий свет, и увидел царь в своей короне петуха. Закудахтал петух и взлетел, оставив после себя большое яйцо.

Горящими глазами смотрел царь на яйцо. Потом взял его и медленно вышел из хлева.

Люди и стража, прянув, отступили: на раскрытой ладони Малахона посреди скорлупы сидел черный слепой котенок.

— Не к добру это,— сказал Петр Степану.

Иван стоял на росстани у столба, на котором было что-то начертано. Почесал в затылке. «Эх, кабы грамоте уметь, знал бы куда теперь...»

И пошел он прямо...

Велика Русь-магушка, привольно идти по ней, не спеша, куда глаза глядят... Темны ее боры, глубоки озера, светлы, извилисты реки... Там лошадей купают... там пахнут уже под озимь... В садах плоды снимают... с песнями, всей деревней, закат солнца в поле провожают... на веселых ярмарках гуляют... три брата-богатыря в чистом поле с басурманами сражаются... свадебные тройки мчатся... бруснику в золотых лесах собирают... А вот и гуси на юг потянулись... первый снег поля покрывает... скоро и на саях с горок покатались... девки при лучинах гадают... ряженые с песнями и пляской масленицу — соломенное чучело несут...

Весна не наступила еще, но снег, которым завалены были леса и поля, начал тревожиться под ярким и теплым не по-зимнему солнцем. Голые ветки деревьев оттаивали и готовились к новой жизни. Лесная дорога на пригорках почернела и размягчилась.

Разгоряченный и радостный, возвращался царь с удачной охоты. Приближенные, охотники и егеря оживленно переговаривались, и в лесу стоял гул от их голосов, конского

храпа и лая собак. Дорога вышла к озеру, и царь увидел лошадку, везущую по льду сани с дровами. Рядом с санями шла Марфа.

Она шла по озеру, на берегу которого повстречалась когда-то с Иваном. Глядя под ноги, она не замечала ничего вокруг и улыбалась своим мыслям. Внезапно лошадка ее остановилась, и, подняв голову, Марфа увидела гарцевавшего перед ней Малахона.

— Ну вот мы и встретились,— улыбнулся он.

— Встретились,— ответила она просто.

— Ну так как,— он похлопал рукой по седлу,— сама сядешь или подсадить?

Марфа вдруг повернулась и бросилась бежать. Малахон тронул коня и, посмеиваясь, поехал следом.

Задыхаясь, она добежала до берега и тут увидела царскую свиту. Метнулась в сторону и, провалившись в рыхлом, мокром снегу, побежала по пустому, сверкающему белизной озерку. Вслед ей несли собачий лай и улюлюканье царской охоты. Овчинка ее распалась, платок сбился, сполз на шею. Над самым ухом слышалось громкое дыхание и фыркание царского жеребца. Вот уже жеребец поравнялся с нею и протянулась рука... Она отшатнулась, упала в снег и, вскочив, вновь побежала... И снова все громче за спиной конское дыхание... Марфа рванулась из последних сил и... взлетела... Заржал конь и встал на дыбы, онемел всадник, глядя вслед улетающей лебеди...

— Ах, вот оно что...— прошептали его губы.

Царь соскочил с коня, вскинул ружье и прицелился. Раздался выстрел, и следом за царем открыла пальбу и вся охота. Лебедь заметалась в небе...

Далеко внизу чернели рассыпанные по белому озеру фигурки людей. Над ними вспыхивали огоньки и вылетали облачка дыма...

Молча въехала охота на царский двор: впереди темный от ярости Малахон, за ним растерянная, испуганная происшедшим и особенно молчанием царя свита. Не сразу заметил царь сидевшего на бревне в углу двора мужика, а заметив, не узнал сначала. Спешившись, он взгляделся пристальней, и лицо его дрогнуло в усмешке. И свита признала в этом мужике Ивана, кто-то хохотнул и глянул вверх. Иван поднял голову и увидел лебедь, кружившую высоко в небе. Нескольким человеком уже, открыто и издевательски глядя на него, ухмылялись: рыжий, сунув в рот пальцы и задрав голову, оглушительно свистнул, кто-то разрядил ружье в небо. Иван почувствовал беду и в упор глянул на царя. Тот так же пристально смотрел на Ивана, видя испуг и ужас в его глазах и ожидая, когда он поймет все



до конца. Так Иван узнал, что произошло... «Вот, Ваня,— сочувственно сказал хор.— Такие вот нравы».

Кто-то толкнул его: «Пошли»,— и он встал. — Зачем пришел?— спросил Малахон.

Стоявший на коленях Иван поднял голову и увидел в глубине залитых солнцем хором царя на троне и бояр подле него. В окна вместе со столбами света врвался теплый, свежий от тающего снега воздух и шевелился в складках рубища, в спутанных его волосах.

Иван молча, с ненавистью смотрел на царя.

— Где был?— снова с насмешкой спросил царь.

— Не знаю,— пожал плечами Иван.

— Принес?

— Принес.

Царь протянул руку. Иван показал пустые ладони. Царь подал знак, и за спиной Ивана появились двое молодцов. Они схватили его, вывернули руки и подняли.

— погоди,— сказал Иван,— хочу последнее слово сказать.

Царь оглянулся на бояр. Те покачали головами: «Нечего, нечего, времени нет». Царь обвел их мрачным взглядом, повернулся к Ивану и кивнул пренебрежительно:

— Ладно, говори, только быстро.

Молодцы отпустили Ивана и отошли.

«Ну, Ваня, с богом!— взволнованно сказал хор.— Всем сердцем с тобой!»

Иван поправил котомку за плечами и, размахивая руками, затопал на месте и запел:

Куда пойду, не знаю сам:  
На небо, в землю, в океан,  
И где — в раю или в аду —  
Чего нет на земле найду.  
А может, в поле иль в саду  
К себе я в гости попаду:  
Ведь не для красного же вида  
Мне к телу голова прибита.

И вдруг увидели все, что не царский пол ноги Ивана топчут, а чавкают по грязи и за спиной его вместо царских хором появилось черное осеннее поле с голым кустарником и низкое пасмурное небо...

Один из бояр наклонился к трону: «Морочит...»

— Пускай, плевать я хотел,— не отрывая от Ивана цепкого взгляда, ответил Малахон.

А ноги Ивана уже хрустели по первому, тонкому ледку... увязали в снегу... Проплыл белый зимний лес... выглянуло солнце, и оттаявшие нагие ветви выбросили зеленые листья... Земля украсилась травой и цветами, пели птицы, жарко палило солнце.

Боярам и царю стало душно.

...Иван остановился в поле и отер рукавом пот...

Царь медленно, словно не по своей воле, поднял руку и рукавом охотничьего костюма

вытер мокрый лоб. И он, и окружавшие его бояре были уже во власти мороки.

...Вдруг раздалась далекая пальба, и из леса с лаем выскочили охотничьи собаки, а следом царь с егерями и охотниками. За ними, изредка постреливая, гнались медведи с ружьями и рогатинами. Бегущий царь увидел Ивана и... Малахон, сидевший на троне, вскочил и заорал: «Караул!» Иван схватил Малахона за руку: «За мной!» Они кинулись в одну сторону, в другую — везде флажки, капканы, сети, из-за кустов грозно выглядывают волки, лисы, кабаны. Наконец они миновали все препятствия и выбежали к озеру. Вдруг бас: «А-а, вот он где!» Смотрят, медведь стоит неподалеку и ружье на царя наводит. «Ныряй!»— заорал Иван. Малахон с криком рухнул в озеро, нырнул поглубже и поплыл. Кругом водоросли, коряги... Вдруг из-за подводного куста огромная щука выплыла, на царя нацелилась... Задергал Малахон руками и ногами — наверх ринулся. Вынырнул, смотрит — берег рядом. Визжит от страха — вот-вот щука за ногу схватит — и саженками, саженками к берегу!.. Глядь, а берег-то и не приближается, будто на месте он плывет. Замолотил что было сил руками, забурила вода, да все попусту. «Ты что?!— Иван с берега кричит.— Нашел время купаться! А ну вылазь!» Поднатужился царь из последних сил — вот он берег, рукой подать... Вдруг голоса чьи-то: «Догоняет, догоняет...» Глянул Малахон — свита его на берегу стоит и берег этот, шестью в дно озера упершись, назад отталкивает. «Давай скорей, балда!» — Иван царю орет. «А ну, поднажмем, ребята! Э-эх! — взревела свита.— Топи царя-батушку, мать его так!» «Злодеи!!!» — захлебывается царь. «Деспот! — рыжий в ответ кричит.— Тебя и утопить мало!» А царь уже пузыри пускает. «Тонет, тонет!» — ликовала свита. «Ванька,— булькает царь,— спасай...» Свистнул тут Иван: «Эй, мужики-и!» Вмиг набежали мужики деревенские, растолкали, раскидали свиту — кого под зад, кого по шее — и к царю. А тот еле живой — на скользкий берег никак выбраться не может. Подхватили его мужики под микитки и поволокли куда-то. «Ну вот, насилу дождались!— радуются.— Уж сеять давно пора, а земля не пахана!» «Чего сеять?— царь еле языком ворочает.— Какая земля?..» А мужики уж бегом несутся. Следом рыжий бежит, канючит: «Нам, нам его лучше отдайте...» На непаханом поле толпились крестьяне, каждый со своей сохой. «Тащите скорей!— торопили они.— Вон нас сколько, а он один!» Малахона уже быстро и умело запрягали. «Вы что?.. Я кто?— бормотал он в ужасе.— Братцы... Я ж не умею...» «Н-но, окаянная!» — стегнул его кнутом самый маленький и самый оборванный из крестьян. Взыл

царь и, шатаясь, потащил соху. «Быстрее! — кричали мужики. — Рысью, рысью! Ежели рысью, то за неделю, может, и управимся!» Зарыдал Малахон в голос. А Иван среди мужиков толкует: «Вы что же, православные, ведь это царь, а не лошадь... Негоже... негоже...» «Гоже, гоже... — мужики в ответ. — Попахал он на нас, кровопиец, теперь наш черед!» А царь уж совсем из сил выбился, заплелись его ноги, подкосились, и растянулся он на земле. Но тут же получил кнута, да такого, что подскочил аршина на два и завизжал, как зарезанный: «Ванька, друг! Выручай, гад!» Иван в ответ подмигнул — обнадежил, набрал воздуха да как свистнет, как крикнет: «Эй, бабы-ы!» Тут, откуда ни возьмись, бабы бегут со всех сторон — павы придворные, молодухи и в летах. Налетели на мужиков, защекотали, исцарапали, царя вмиг выпрягли и с собой потащили. «Что?.. Кто?.. Куда?..» — царь совсем ошалел, головой крутит, вырваться порывается, да куда там... «Насильник, распутник!» — вопят бабы. Каждая норovit до него дотянуться. «Блудник, потаскун!» — тащат они его в разные стороны, щиплют, рвут одежды... «Тятя, отец!» — кричат босоногие мальчишки. Ревут в голос малютки. «Нарожал, — визжат бабы, — а кто растить будет?!» У царя уж и голоса нет — только руки к Ивану протягивают: «Спасай, конец настал...» Кивнул Иван и рывкнул: «Эй, стража!!!» Враз стража объявилась, баб, младенцев раскидала, царя за ноги ухватила и поволокла куда-то с криком: «Его там ждут не дождутся, а он тут развлекается!» Вконец одуревшего и растерзанного, они втащили его в тронный зал. «Я!.. Нет, я!..» — кричали бояре и рвали друг у друга из рук царские одежды, и все сразу пытались сесть на трон. «Вот он! Вот он!» — вопили стражники. «Казнить его!!!» — обрадовались все. «Я! Меня пустите! Дайте мне!» — умолял рыжий, волоча по полу огромный топор. Царя схватили, заломили руки и положили голову на трон. «Я больше не буду...» — тихим, осипшим голосом жалостно прошептал Малахон...

И вдруг все прекратилось. Иван по-прежнему стоял посреди залы и печально смотрел на замороченных им царя и бояр. Рыжий, побелев от страха, медленно опустил и выронил из рук топор. Все замерли, только двое бояр все еще дрались за корону. Потом и они остановились. Царь и бояре с ужасом смотрели друг на друга. Белый, трясущийся Малахон медленно пятился к окну.

— Царь-батюшка! — кинулся перед ним на колени рыжий.

— А-а-а! — завизжал Малахон и с криком этим прыгнул в окно. — Я больше не буду!.. — уже издали, с полей донесся его голос.

«Добро всегда победит, — облегченно вздохнул хор. — А как же иначе!»

Иван не спеша подобрал ружье, котомку и пошел к двери.

Иван шурился на ослепительно горевший на солнце снег, повсюду на своем пути видел жадно протянутые к яркому предвесеннему небу голые ветки кустарника. В потемневших, дымящихся паром оврагах бежала талая вода. Все жило предошущением весны...

И вновь он увидел белоснежную птицу, кружившую высоко над ним.

Из деревни неслись песни и заклинания людей, мычание коров. Иван прибавил шаг и скоро уже стал различать знакомые слова в этом всеобщем протяжном крике:

Ой, весна-а-а! Ой, красна-а-а!  
Ты куда ушла-а-а,  
Ты куда ушла-а-а,  
Куда дела-а-а-ся?

Вся деревня сидела на крышах изб, сараев, хлевов, овинов и звала, умоляла, требовала.

Приди к нам, весна,  
Со радостью!  
Со великой к нам  
Со милостью!  
Со рожью зернистою,  
Со пшеничкой золотистою...

Во всю силу голосов люди выкликали весну, боясь, что она их не услышит. Из хлевов ревели скотина.

Коровки режут — на волю хотят,  
Лошадки идут — они травки ждут,  
Свинки хрючат — корешков хотят,  
Овечки кричат — они травки хотят,  
Шелковой травы, ключевой воды.

Никто не заметил Ивана, входившего в деревню.

«Красная весна, что нам несешь?!» — голосили с гумна прямо над головой его разряженные девки. «Красное лето, теплое лето!» — несло с другого конца деревни.

И, переведя туда взгляд, Иван побледнел... на деревню опускалась лебедь. Ноги вдруг сами понесли его...

Он бежал по пустой деревенской улице, оглушенный лавиной криков и заклинаний...

...Их слышно было и с воздуха. Все ближе была деревня с крышами домов, сплошь усыпанными людьми, с бегущим по улице Ивановом...

...который видит уже, как влетела лебедь в деревню...

...Иван уже совсем рядом...

...бежит к нему навстречу радостная Марфа...

Они обнялись посреди шумной, наполненной весенними призывами деревни. Обнялись и стояли так, не в силах оторваться друг от друга.

Петр и Степан работали в хлеву — даром времени не теряли.

— Словами воздух не наполнишь!— стараясь перекрыть общий шум, заорал Степан и кивнул на крышу, содрогавшуюся от воплей.

— Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто,— поддержал Петр.

Ребятишки, гурьбой сидевшие на сарае, качали и подкидывали печеных жаворонков и орали что было мочи:

Ой вы, жаворонки,  
Жавороночки!  
Летите в поле,  
Несите здоровье,  
Первое коровье,  
Второе овечье,  
Третье человечье!

И Степка орал. И Петька, державший на руках запеленутого визжавшего малютку.

— Как назвали?— крикнул Иван, и Марфа ответила:

— Ваней.

— Вылитый отец,— ухмыльнулся Петр.

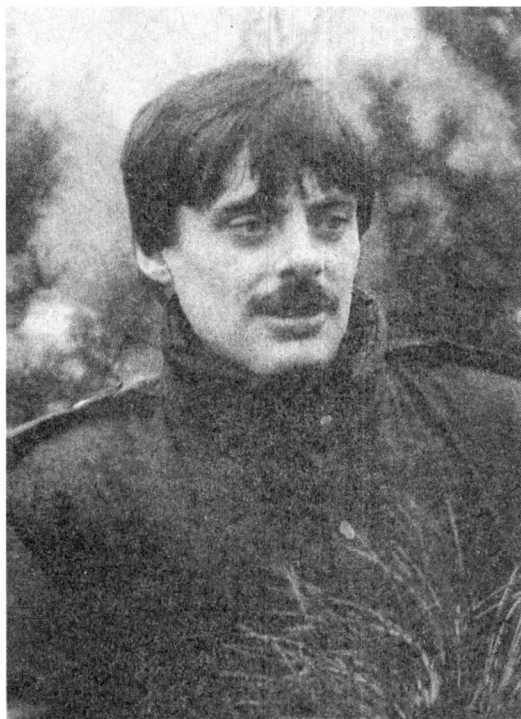
— Так ведь яблок на сосне не бывает!— крикнул Степан.

И увидели все Ивана и Марфу: стихла на миг деревня. И тотчас дружно запела величальную песню:

Эх, родимая земля!  
Слава селам и полям!  
Всем спасибо скажется —  
Слава хлебопашцам!  
Слава бору, слава броду,  
Слава русскому народу!  
Слава морю-окияну,  
Слава нашему Ивану!

1970—1982 гг.





**Борис  
КЛЕТНИЧ**

## **СВОБОДА НА БАРРИКАДАХ**

— ...Тринадцать, пятнадцать... откуда они только вылезают? Дай-ка еще махонькую, масюсенькую, с картиночкой!.. Себе!.. Паразит, у меня тоже девятнадцать!

— Банк стучит!

— ...Но-но-но... ну еще одну! Туз с руки!.. что ж ты мне дал!

— Плакаться умеешь, это все, что ты знаешь!

— Еще! Еще!.. Жуткая карта.. По мозгам противника, восемнадцать... двадцать одно! Пруха!

— Шесть, двадцать одно!.. Смеется тот, кто смеется последним!

— Где ты, мое счастье?..

— Давай, давай, расплачивайся... не отходя от кассы!

— Ай-люли, выйду ль я... ай-люлю, выйду ль я... это как же с тобой расплачиваться, тут за три сотни, меня моя баба сгноит!

— Не садись играть!

— Я тебе, Каплин, заказ уладил, две недели живешь, на всем готовом, рыбалку тебе — пожалуйста! Совесть поимей!

— А совесть ни при чем, Алексей! Ты сел играть!..

— Жухло, знать тебя не хочу!..

Тот, кого назвали Алексеем, отключил и без того тусклую лампочку, питавшуюся от невидимого аккумулятора, возмущенно подскочил с земли и побежал в полной темноте куда-то вниз, где плескалась вода и

волновался тугой, точно стреноженный камыш.

Огорченно плюхнулся в воду, а искупавшись, затрусил по бережку в сторону — выдергивать и скручивать лески ночных переметов.

Светало. Силуэтами прорезались приземистые кресты и колыбельные решеточки могильных оград, потом пепельной синевой отделилась от темноты сирень, вольготно осенявшая старое крестьянское кладбище. Подробно защелкали птахи.

Алексей Беленко, в трусах и майке, снял свою шахтерскую каску с каменного креста, рассеянно смел в нее со столика яичную скорлупу, кожуру огурца, подобрал с земли пустую бутылку.

На проселке, огибавшем кладбище, стоял каплинский «Москвич». Каплин поднял расстеленные передние кресла, извлек из багажника и, тяжело пыхтя, раскоряченной походкой, перенес в кабину здоровенный гипсовый бюст Алексея Беленко — тоже в каске, но с двумя Звездами на груди.

Молча уселись и поехали, не глядя друг на друга.

Местность была разрыта карьерами.

Серые горы каменного песка-мулузы были насыпаны тут и там.

Ночные смены возвращались из забоев.

У корпусов шел митинг.

Бюст установили в аллеике.

Живой потный Беленко, в чистой робе, с аккумулятором и фонарем на ремне, хмурился в президиуме.

— Митинг в честь трудового подвига бригадира камнерезчиков Беленко Алексея Ильича разрешите считать открытым!.. Слово предоставляется...

И пошло-поехало.

— ...Наш знатный шахтер Алексей Беленко удостоен второй Золотой Звезды и персонального права на этот бюст...

— ...Алексей Беленко с пятнадцати лет на нашей шахте. Потомственный камнедобытчик, он сполна хлебнул послевоенного лиха...

— Я вот с какой стороны хочу рассказать о дяде Леше! — выступил кудрявый смугленький паренек с очень живыми чертами лица — из породы комиков-любимцев. — Я сидел в итэка, навалил по молодости... обстановочка там — глаза разбегаются!.. (смех, оживление) потеряться можно! К тому же я круглый сирота, никто меня за забором не ждал. Уж такая свобода — захлебнуться можно!.. Но дядя Леша дважды приезжал ко мне со свиданием, слал письма, я его путеводную руку всегда чувствовал!.. И после дембеля я прямо сюда, нигде не задерживаясь, впрягся в камень, а друзья мои по призыву уже по второму кругу пошли! И я бы мог за ними, но дядя Леша подстраховал! Спасибо, дядя Леша! — Под аплодисменты он подошел к виновнику торжества и с милой фамильярностью обнял.

— ...Трудовой коллектив шахты одобряет курс на реализацию радикальной экономической реформы! — затрещал следующий оратор.

— Выручай, Виля! — пробубнил Беленко юноше, крепко удерживая его за локоть. — Я в дым продулся... — и он покосился на соседей, не слышат ли, — Каплин, скульптор, обчистил меня на три сотни, а у меня у Вовки свадьба... он мне сказал, или плати, или дай человека на неделю, ремонт ему по квартире... ты, Виль, все ж ученик, а я тебе в табеле все закрую, прогресс сорок процентов заявлю, никто не заметит, поезжай, а?

— Лихо вы судьбу мою решили!..

— А кого? Лапа не поедет, Шевчук шланг, Скреплюк стукнет, только ищет, как меня посадить... — Тут его сзади пихнули. Беленко вздрогнул, а потом ринулся на пяточок у бюста. Начиналось награждение.

«Москвичок» удалялся от карьеров. Дальний и короткий упор фар проваливался в набухающие сумерки, не проясняя видимости. С хребтов, как оснастка, висел густой темный дождь и оползала глина. «Москвич»

шел уже по брюхо в воде, и конца не было видно.

— Не хотят тебя отпускать! — усмехнулся Каплин. — Природа против!

— Очень я ей нужен! — возразил Виля.

— Кабы не был нужен... кабы не был нужен... — бормотал Каплин, разворачивая машину.

Вернулись к развилке и на упертой первой скорости потащились с низины вверх, долгим хребтовым путем в объезд.

— Нос морковкой, не переживай! — дружески увещевал Каплин на тонком благополучном шоссе, набитом, как заклепка, на промышленный рыхлый пейзаж. — Эксплуатировать я тебя не собираюсь. Работа плевая, обои и пол... и сам бы справился, да этому герою прощать не хочу, слишком, паразит, красиво живет!

— Дядь Леш, что ли? Чего ж у него красивого? На карачках под землей всю жизнь проползал, как все!

— Как все? Именно что как все!.. Но памятник-то я ему лепил, а не тебе!

— Но он же бригадир там, я не знаю, депутат там, деятель...

— Рожа у него для президиума скроена и биография, как у холмогорской коровы, вот и все заслуги! Нельзя таким прощать!

— Да вы завидуете, что ли?

— Да! — вскричал Каплин. — И я бы так хотел! А не гожусь! А не глупее!..

— Чудак вы человек! Алексей Ильич пивка попить и то озирается! Простым работягам хоть залейся, а ему нельзя. Несвобода!

— Какая еще несвобода! Скажи мне, кто свободен! Ты свободен? Или я свободен?

— Из-за проволоки смотреть — тут каждая муха и та свободна!

— Ты дурачок! — зевнул Каплин, устав кричать. — Тебя в «очко» проиграли. Триста сорок гнилых рублей — вот цена твоей свободы!.. Он свободен! Ха-ха-ха!.. Он свободен!..

«Москвич» желчно влетел в ночной проспект. Начинался город.

На законном карнизе, царапаясь о жезл, курлыкали голуби. Сокрушительный солнечный луч свирепо преломлялся в полукрытых створках и затем прямо ступал в комнату, где хрустели на полу замазанные газеты; драные обои, как афиши, лохматились со стен, но высоченный ажурный потолок был уже побелен и держался как бы сам по себе.

По тонким отопительным трубам пополз в пыли из комнаты справа, гудя, как в морской раковине, щенячий цепной чих невидимой

соседки. Оначихнула ровно пятнадцать раз, и Виля открыл глаза.

Каплин, в трусах и сандалиях, наспех дописывал афишу «Разини» — французской кинокомедии и почему-то страшно гримасничал.

— Не брезгую никакой халтурой! — грустно пояснил он.

— Где какое слово написать — вам говорят или сами решаете? — с уважением спросил Виля — он чувствовал себя причастным к необычному из дел.

— На этом полотне я хозяин! — отвечал Каплин. — Могу так, а могу и смя!

— А вписать мою фамилию?

— То есть?

— Вот здесь, под Луи де Фюнесом!.. Потачимся, а? — загорелся Виля. — Напиши, Есаульцев Вильям... кто проверит?

Каплин задумался.

— Ищу себе на задницу приключений! — проворчал он, но аккуратно приписал несколько букв. Получилось так: «В главной роли: Луи де Фюнес, Уильям Эсаульцев».

— Ну и имечко тебе подарили! — хмыкнул Каплин.

— Директор детдома развлекался! — погрузился Виля. — И не погрешь!.. А что, не слышали, имена можно менять?

Выйдя из комнаты, он попал в темный, с антресолями, коридор коммуналки. Квартира казалась большой и запущенной.

В туалете на полу валялся ядовито-желтый, в полоску, пояс от женского халата.

На кухне крашеная блондинка, низкая и большегрудая, в неряшливо запахнутом халате, пока не замечала пропажи пояса. Она плотно заложила в кофемолку зерен и затархтела ручкой, точно граммофонной.

— Благодарю! — приняла она от Вили пояс и так же значительно на него посмотрела.

— ...Я была некрасива, но феерически хороша! — рассказывала ему манерная, страшенькая старушка, Кира Георгиевна, присев на краешек стула, точно сей момент встанет и откланяется. — Родители выписывали для меня всю французскую моду, я не знала у них ни в чем отказа!..

Виля докрасивал каплинское окно. Из подъезда напротив выскочил мужичок с мусорным ведром — в трико, майке, шлепанцах на босу ногу. Он подбежал к бакам, распугав жадных кошек, но неожиданно ускорился, рванул в арку, а оттуда в соседний двор, где впрыгнул, как был, с ведром, в белые «Жигули» и был таков.

— ...Иду я однажды по Георгиевскому скверу в обществе двух молодых людей.

На мне шелковые панталоны из тончайшего шелка. И вдруг — о ужас! — я чувствую, что порвалась резинка. Кругом общество, знакомые, мы неспешно фланируем, а я чувствую, начинает падать! Не подаю виду!.. упали!.. Я хладнокровно переступаю и иду дальше! Слышу, за моей спиной оживление, нас окликают, но я не подаю виду!.. Я вас заговорила, не отпирайтесь, но мне девяносто третий год, воспоминания — это моя вторая реальность... Единственное, о чем я вас попрошу, как временного соседа! — старуха перешла на официальный тон. — Не занимайте телефон с одиннадцати до без четверти двенадцати! В этот промежуток мне звонит — ха-ха — мой ухажер!.. И еще! У нас распушенный город, какое-то вдруг воровство обнаружилось, а я жутко трушу!.. А вы, значит, только ремонт в этой комнатке сделаете и уйдете? Жаль, вы такой приятный юноша, понимаете, я курю только «Казбек», а за ним нужно ходить аж на Мукомольную, и, как назло, у меня разболелась нога, я совсем теперь не ходок. А с племянницей моей Александрой, вы ее видели на кухне, мы жутко вздорим, она неблагодарное создание, я ни о чем ее не прошу!.. И еще! — жадно говорила старуха, зримо глотая воздух, — я не переносу розы, у меня на них прочная аллергия, поэтому только не эти королевы-отравительницы, любые другие цветы!..

Открылась входная дверь. Две мужские фигуры с коммунальной нацеленностью прошли коридором. Первый был Каплин, второй — моложавых лет толстощекий незнакомец в желтой майке с надписью «Crazy Eddy»\*. Войдя в комнату навстречу выскочившей старухе, они продолжили разговор, не поздоровавшись с Вилей.

— Тут все заблестит, я вложил душу в этот ремонт! — умильно убеждал Каплин с испариной в голосе. — Я вложил средства!..

— Не туфти, паркет запарол! — присев на корточки и отдирая газеты от пола, сварливо возражал незнакомец.

— Циклевка, Эдик! А?

— Красители впечатались! — заорал в бешенстве Эдик, озирая и в самом деле попорченный паркет. — Предупреждал тебя, животное, не превращай хату в мастерскую!.. — он надувал щеки и глотал слова, поэтому было не страшно.

— Эдик, справка!..

— Сваливай с квартиры и штраф! Паркет седьмого года!

— Зациклюю, потом ешь! Не снимется, все с себя сниму! Дай неделю, заблестит, как у кота! — гневно выл Каплин.

Эдик закурил и засопел, потупившись в детской обиде.

\* Сумасшедший Эдди.

— Даю неделю! — наконец сказал он.— Проводи до дверей!

Каплин поспешил за ним.

— Уильям ибн Шекспир! — темпераментно заговорил, вернувшись,— хозяин требует нашей крови, у него переезд, нужно помочь! Ком-пен-си-ро-вать!..— и он весело кивнул на паркет.

— Ты почему не потеешь, лягушка!..— ругался взмокийший Каплин, когда они с Вилей надрывно тащили ящики новоселов по узким лестничным пролетам пятиэтажки, по закону подлости — на пятый этаж. Две прогибающиеся лыжные палки с повязанной между ними веревкой заменяли носилки. После каждого вояжа, спускаясь вниз, Каплин страдальчески отхаркивался и с невыносимой буквальностью прощупывал свой живот.

Возле подъезда, под дождиком, громоздилась еще целая гора подобных ящиков. Они брались за очередной, тяжело поднимались пролетами, и Каплин вновь обижался:— Ты почему не потеешь, а?.. Из меня три литра, не меньше, вышло...

Вила виновато молчал, он был очень бледен, но и впрямь сух.

А на кухоньке в квартире женщины лепили пельмени в форме египетских пирамид. С каждым подъемом пирамидок становилось все больше. В казане жарилось мясо.

— Иди-ка сюда, красивенький! — заметив его взгляд, позвала черноволосая круглолицая женщина с голыми руками. Она налила в кружку квасу и протянула ему. Он пил, а она, смеясь, поддерживала кружку за дно. Там было пол-литра, не меньше. Он хотел остановиться, но она не опустила руки, подталкивая кружку. Пришлось, под смех и восклицания, давясь и слюнявясь, допивать до конца...

— И не потеет, хоть тресни! — продолжал изможденно шипеть Каплин во время очередного подъема.

Вила, шедший впереди, бросил свои палки, ящик хрястнулся о ступеньки, опрокинув Каплина. Каплин увидел разъяренное лицо Вилы и остался лежать.

Вила приобхватил ящик и со стоном взгромоздил его на хребет. Неуверенно побрел по ступенькам, но дошел.

Глубоким вечером он доставил наверх последний ящик.

В большой проходной комнате уже отмечали новоселье. Каплин сидел среди прочих и не поднимал глаз.

— Садись, заслужил! — сказал Виле «Crazy Eddy» и задвигал незанятым стулом.

— У меня увели пиджак! — ответил с порога Вила.

— Где? Кто? — всполошились женщины.

— Внизу, со скамейки! Я думал, дети присмотрят!

— Фраер, что в нем было? — огорчился Эдик.— Мильоны? Брильянты?

— Тридцать два рубля и паспорт!..

— Ну паспорт подкинут!.. Варя, дай ему полотенце, пусть умоется и садится кушать!

Варя, та, черноволосая, показала ему полотенце, но осталась в ванной.

— Мойся, не стесняйся! — улыбнулась она.— Ну-ка...

Он снял рубашку.

— Нравится мне твоя мордашка, где это тебя Капля подхватил?

— Долгая история! — отвечал Вила, ополоснув лицо.— Может, выйдешь, я б штаны скинул и под душ...— он взглянул на нее и опустил глаза.

— Знаешь, у меня нелегкая жизнь! — со смехом сказала она,— но снять такого хорошенького мужчину я себе позволю... И не тарасься, я совершенно свободна, морду за меня бить не будут!..

— Это как же? — потерянно спросил он.

— Я тебе покажу! — расхохоталась она.

Он взял с полочки флакон с туалетной водой, открыл крышку и глотнул. Задержав жидкость во рту, приблизился лицом к лицу. Она изумилась, но идти на попятную было поздно. Она с ужасом приподняла верхнюю губу, и они поцеловались. Пахучая едкая вода каталась, как ртуть, в их вздувшихся от борьбы ртах. Две пары глаз, серые и черные, прижгли друг друга, как жирное солнце в увеличительку, с ненавистью совокупились плазменным перекрестком. Наконец она задохнулась, судорожно забила рукой в стену, в мякоть полотенца. Вила дал ей отпрянуть, она начала выкашливать, спазматически задыхаясь, в ванну, на пол, куда попало...

Бежал по летней ночной грозе, с каскадами многоэтажного грома. Вспышки молнии до предельной бледности высветили на углу афишу «Разини». «В ролях: Луи де Фюнес и Уильям Эсаульцефф».

С утра оттирал паркет щеткой и растворителем. Каплинская комната делалась неузнаваема. Бежевые обои освежили ее, стекла, вымытые до блеска, притягивали внутрь пасмурное свечение перламутрового дня.

На раскладушке работал переносной телевизор с перекошенным изображением, шли полосы.

— Иди-ка сюда! — заглянула в комнату Александра в своем желтом халате.

— Никаких дел! Отчаливаю! — грубо отказал он.

— Да на минуту! — не тушевалась она. — Как его просить надо!

На кухне она протянула ему чашку с дымящимся кофе. — Отпей! Отпей-ка!.. Чувешь? — взревела Александра и, высыпав из кулька на стол кучу одинаковых на первый взгляд кофейных зерен, начала быстро разгребать их и расфасовывать. — Орешки! Кедровые!.. Ты будешь свидетелем! Я на нее, маразматичку, напишу, я ей обеспеченную старость устрою!.. Послушай, а может, это диверсия? Может, она все понимает и нарочно?..

Потащила его за локоть по коридору. Заколотила в старухину дверь.

— Я не желаю с тобой контактировать! — дерзко отвечала старуха. — Прочь от моих дверей. Уильям, вы здесь? Оттащите ее, ха-ха, если это вам под силу!..

— Я тебе оттащу, я тебе оттащу!.. — перестав ломиться, Александра куда-то торопливо скрылась, а вернулась ликующая, с пожухшим уродливым букетом опадающих роз. — Вот тебе, дыши, девушка... — опустившись на колени, Александра начала проталкивать розы под дверь. — Дыши, моя единственная!..

Старуха за дверью заметалась в сильнейшем беспокойстве и почти сразу же принялась чихать своим бесконечным щенячьим чихом.

Схватившись за голову, Виля вернулся в комнату, но чих преследовал его проторенным лазом отопительных труб.

— Ты б знал, что она мне учудила! — ворвалась за ним Александра. — Она наследство свое перевела музею, гы-гы! — ужасно засмеялась она. — Там шесть тысяч, пережила двух мужей, оба врачи, евреи! Хотя я знаю, что Саул Рувиныч, второй муж, на меня завещание составлял, я была его любимицей!.. Я ей так просто не дам на тот свет уйти, я ее приторможу, музейная курица!.. А ты, писуля, что-то ты струсил, чем она тебя купила? Может, у вас любовь? Гы-гы!..

— Тетя! — Виля поднялся ей навстречу, ее как ветром сдуло.

— «...Подтвердился предположения о существовании в городе преступной организации, промышленяющей разбоем, квартирными кражами, хищением государственного имущества...» — сообщал мужской голос из мелькающего телевизора. — Сотрудниками угрозыска проведен ряд успешных операций по захвату, удостоверен ряд личностей преступников. Взгляните на фотографии, товарищи телезрители!.. Кузнецов Сергей Лукьянович примерно сорок лет!..»

Виля начал вращать ручки и тумблера телевизора, пытаясь наладить видимость.

— «...Белый Гильяз Андреевич, тридцати трех — тридцати пяти лет...»

Видимость оставалась неважной, а Виле так хотелось взглянуть на фотографии.

— «Есаульев Вильям Вильямович, двадцати двух лет... Обратите внимание на этого Есаульцева! Наш, доморощенный бандит, уроженец нашего района!..»

На экране проступило его, Вилино, лицо с паспортной фотографии.

В дверь зацарапалась и тихонько вошла Кира.

— Это правда, что вы нас покидаете? То, что вы наблюдали, называется «их нравы»! — хохотнула она. — Эта похабная развратная девка и не на такое способна...

— Кира Георгиевна, влип я! — замычал Виля.

— Уильям, дорогой, у меня нестерпимо болят ноги, вот тут, у бедер, показать? Ха-ха!.. а мне непременно полагается быть на партийном собрании в жэке. Проводите меня, дорогой!.. Хотя они там и страшные демагоги, но увь, это единственное общество, ха-ха, в котором я нынче принята!..

Во двореке у подъезда стояли милицеские «УАЗ» и «Москвичок». Здесь же топтались ленивые милиционеры с собакой, кучка взволнованных соседей и радостной детворы. Черный, недавно положенный асфальт плыл от жары.

— Гляжу, выбегает из подъезда нездешний! — рассказывал из окна третьего этажа старик-жилец, наслаждаясь видом задранных голов. — Мужик как мужик, с мусорным ведром, волосня в полхруди, да в тапках... бехом к контейнерам, останавливается, думаю, опорожнит ведро и назад, а тот — по сторонам зырк! и как почесал в арку, со зловонным сосудом, и обратно я его не видал, а целый день не отлучался от окна!

— Они! — степенно махнул рукой мужчина в штатском, начальник группы. — Ведро — камуфляж, целый театр разыграл!

— А правда, что они себя есаулами назвали? — спросили из толпы.

— Когда речь идет об орханизованной преступности, без комендантского часа не обойтись! — продолжал вещать с третьего этажа старик.

— Ну и будет вам комендантский час! Дождались! — отвечал штатский. — Они уж средь бела дня палят! Вчера сберкассу на Короленко брали!..

— Будет, будет, никуда от комендантского часа не деться! — воодушевился старик. — Хотите демократию — пожалуйста! Но вот в Европе и Соединенных Штатах демократия,



а какая там преступность закоренелая!.. Вот и у нас свои Есаулы появились!

Виля вел Киру через весь двор, к арке.

— Это что за благородное собрание? — слабо воскликнула она. — О! когда-то я занималась служебным собаководством! — переключила она внимание на тяжело дышавшую овчарку.

— Идемте, идемте же! — торопил Виля.

На каменном заборе в подворотне мальчишки, озираясь и хихикая, писали мелом: «Привет от есаулов!»

Виля и старуха миновали проезжую часть переулка, пересекли маленькую площадь.

— Я вас поздравляю, мы прибыли! — объявила Кира, указывая на двухэтажный казенный дом с табличкой. — Вот она, моя альма-матер, ха-ха!.. До дверей я доберусь без вашей помощи, потому что они смотрят из окон... а я, ха-ха, хочу выдвинуть себя в депутаты! Посмотрите, как непринужденно я умею ходить! — и она отправилась к дверям.

Он обессиленно присел на бордюр. Голова у него шла кругом.

Из-за поворота выехала блестящая черная «Волга».

Кира выходила из-за припаркованного у тротуара фургона.

Виля никогда не видел, как машины сбивают людей, но сейчас перед ним муторно расстился будничный фатум, его сглаженные приметы: старый асфальт переулка, вывеска молочного магазинчика, пыльный конторский дом.

«Волга» шла на малом городском ходу, и все-таки Кира возникла перед ней из-за фургона нечаянно, абсурдно — как сброшенный с крыши мешок с песком, как подарок. Через секунду, подкинутаая, как борцовская кукла, Кира рухнула перед остановившейся машиной, вроде бы и не успевшей на нее наехать.

Событие казалось микроскопическим: даже в масштабе двух-трех ближайших переулков ничего не изменилось — все те же вывески, голуби, редкие прохожие, тот же неподвижный фургон. Но человек лежал перед онемевшей «Волгой», и постепенно что-то начинало происходить.

Водитель, молодой эlegantный мужчина с «ежиком», в узком кожаном галстуке, жалобно бормоча что-то утешительное, отгаскивал тряпичную Киру к машине, к раскрытой задней дверце. Но по тесным тротуарам уже собирался народ, кто-то вызывал «скорую», мешали водителю уехать вместе с Кирой. Полузасунутую в машину Киру потащили назад, к месту, где она была сбита, а уложив — принялись очерчивать мелом.

— Ты же видел! — бросился водитель к Виле. В руках он бессознательно мямля шляпку

Киры. — Я видел, ты видел... Она перед фургоном скакнула, у нее не видел!.. У меня тридцать на спидометре!..

Прибыла «скорая», а следом гаишник на «Москвиче». Водителя деловито отозвали, и он, скорбно оглядываясь на Вилю, побежал к гаишнику, все так же разминая в кулаке шляпку Киры.

Гаишник поглядел, куда он указывал, но на бордюре никого уже не было.

— Утеря паспорта? — спросил в окошко лейтенант. Окошко задрало, зато открылась дверь.

Виля вошел. Лейтенант захлопнул за ним дверь и вытащил из замка ручку — теперь, прихваченная лишь подвижным язычком, оскопленная, дверь была неуправляема и глуха.

Лейтенант, поигрывая ручкой, двинулся пружинистой походочкой, не оглядываясь, к стеклянным дверям маленького конференц-зала.

— Еще один! — обратился он к кому-то, заглянув внутрь.

— От зайцы! — хмыкнул сидевший за столом майор. — Начинаем, закрой нас, Хохолов!

В зале человек пятнадцать расположились жалкой группкой.

Майор встал и прошелся до зарешеченного окошка.

— Ну что, сограждане вы мои! — отечески начал он. — Липовые вы граждане!.. Цена вам, как гражданам, ноль целых хер десяти!.. Как же вы могли!.. В городе напряжение, город трещит! Всякие подстрекатели демонстрации устраивают, мол, долой органы безопасности и внутренних дел, долой прописку и воинский учет! Б... буду, если западных диверсантов сейчас в городе не наберется сотня-другая, под шапкой свободы!.. И в такой взрывоопасный момент вы проявляете преступную халатность и теряете документы! А может, те есаулы, как они себя прозвали, что перегоняют рефрижераторами на Кавказ тонны левого товара, может, у них ваши паспорта с переклеенными фотографиями! А у нас магазины пусты, карточная система, очереди, а впереди еще подорожания и, шут его знает, не денежная ли реформа!.. Народ волнуется, а это дурной признак! А отмени прописку — вы же, как обезьяны, на деревьях полезете, палками перебьете друг друга!.. Еще на коленях, шутники, к госбезопасности приползете, — мол, спасите, оградите!.. А теперь по двести рублей сюда!

Люди подошли и клали перед майором на стол заявления и купюры пачками.

— Ну что... здоров, Вильям Есаульцев! — широко улыбаясь, протянул руку майор, когда все вышли.

— Наше вам, Петр Богданых...

— Знал, что тебя увижу! — майор фамилярно взерошил ему волосы. — Как пожи-ваешь?

— Паспорт свистнули, Петр Богданыч!

— Знаю, что свистнули!

— Я не виноват!..

— Ты и тогда, годика два тому, не был виноват... Баркин киоск поворошил, но сел ты!.. И сейчас сядешь, да еще ого-го! Как зовут тех, кому ты одолжил свое имя! — вдруг вскричал майор, и пальцы его снова вцепились Виле в волосы. — Кто такие Белый и Кузнецов? Белый и Кузнецов! Есаульцев, Белый и Кузнецов!

— Где вы ксиву мою подхватили? — вырвался Виля. — Не дамса, стены перегрызу!..

— Еще документы какие есть? — тяжело дыша, спросил майор. — С фотокарточкой?

— Охрана природы! — Виля униженно протянул маленькую корочку.

— В сортир сходи с охраной природы, лесник! — выругался майор. — Ждать меня! — и выскочил из зала.

Вернулся с паспортом.

— На! — усмехнулся он заблестевшим глазам Вили и швырнул паспорт на стол. — Тебе повезло, твоя бумага попала в приемнике у какого-то безымянного бродяги. Народ волнуется, народ, пойми, требует имен! А у тебя не имя, а подарок, бутерброд... Вильям Есаульцев — не то белогвардеец, не то сионист!.. Сейчас немедленно убайдачишь в свою дыру и — не подавать признаков жизни, затаниться, пока не возьмем Белого и Кузнецова!.. Вот какой я добрый человек, а мог бы уже министру рапортовать, понял!.. Повтори, Петр Богданыч добрый человек!.. Ну, не слышу!

— Петр Богданыч добрый человек...

Улыбающийся Виля оглядел напоследок чистенькую комнатку, взвалил сумку на плечо, запер дверь и пошел по коридору.

Путь ему преградила расставленная самодельная стремянка, ходуном ходившая под Александрой. Александра ковырялась в темном хламе антресолей, среди каких-то кулков, металлолома, в густой, как пудра, пыли.

Виля протиснулся у стенки, но тут перед ним шлепнулся с безжизненным стуком сначала один, затем другой костыль — оба старые, тяжелые, густо перевязанные у оснований ветхим бинтом.

Слезла и Александра.

— Отдадите Каплину! — протянул ей ключ Виля. — Я домой...

— Не в службу, а в дружбу... — загудела Александра, и на глазах ее вдруг выступили слезы. Она наклонилась и подобрала костыли.

— По дорожке на станцию... хирургия... второй этаж, шестая палата! Ты меня, парень,

тоже пойми! Не хищница! Своего хочу! Она же со своими мужьями жизнь мне сломала. Удочерили, прописали, а зачем?! Жила бы себе в общежитии от конторы, давно б квартиру отдельную получила, а отсюда мне теперь до самой смерти не выбраться!.. Я у юриста была! — строго заговорила она. — Будет экспертиза! Если ее признают... — она покрутила у виска, — значит, завещание недействительно! Буду судиться с музеем, такого Репина им намалюю, прохиндеям!.. Только бы старуха подольше протянула, а оттуда не выйдет, гарантия!..

Трамвай шел по монотонному обстоятельному маршруту, какие протаптываются в расплющенных промышленных городах, не обзаведшихся собственным метро. Седьмой час вечера вылепливал свою ежевечернюю обязательную фигуру — душное и отчужденное братство разъезжавшихся с предприятий людей.

Невозможно было никуда упрятать, хотя бы прислонить костыли, и потому сходил за инвалида и уже дважды ему уступали место.

Но он был занят другим. Он явственно видел, как маленькая кисть молодой брнетки тянулась в толчее к чьей-то сумке, как угрюмые пальчики цепко раззевнули ее под агрессивные толчки трамвайных рессор и молчаливое гудение распаренных тел.

Отвернулся к стеклу, к бульвару, но не выдержал и посмотрел вновь — пальчики шарили в сумке.

Тогда он проковырял костылем отверстие в толпе и пнул брнетку по напрягшейся щиколотке в кроссовке. Этим нерасчетливо резким движением была нарушена потная идиллия разбухшего вагона.

— Водитель, не открывай дверь, поймали вора! — выкрикнули из салона. — Передайте, чтоб не открывал на остановке... пусть к милиции везет... это чья рука?.. мужики, му-жики, вяжите ее!..

Толпа, как капуста, молниеносно сбрасывала с себя листья, оголяя кочан события, пока не выкристаллизовалась маленькая девушка в тренировочном костюме и кроссовках, и кто-то ударил ее по лицу без всяких скидок, кулаком, сшиб с ног, и она очень сложно и тяжело полетела, и голова ее с открытыми глазами, откинувшись, разбилась Виле нос, но падающее тело, как бы спохватившись, одернуло ее в последний момент, увлекая в мягкость гуши.

Весь этот треклятый город, не выпускающий его из лап, светился в чаду его инстинкта. Испытав страшный удар, махнул два раза, слева и справа, по гуще.

— Есаулы! — закричали, кажется, все женщины сразу. — Гена, тебя убьют!..

Вилю кто-то огрел сзади костылем по плечу, он отскочил, готовый убивать, и увидел, что огрела карманница, окровавленная и азартная.

— Есаулы! — всех звонче выкрикнула она и вновь занесла костыль.

Он перехватил удар и потащил за костыль карманницу к выходу, прорывая трусливую толпу, к все-таки открывшимся задним дверям.

С остановки они рванули, не разжимая костыль, через трамвайные пути непредсказуемыми зигзагами шока, через решетки сквера, по газонам, но это были зигзаги свободы, и свежее дуновение вечеряющих тополей подтверждало ее, и только второй костыль, сгнувшийся в отъехавшем вагоне, был ее смехотворной ценой.

Остановились у рынка.

— Лиза! — снисходительно протянула ладошку карманница.

Со всех дел они сидели в летнем кинотеатре, совершеннейшем шапито, с брезентовым куполом, и смотрели какой-то старый замечательный американский фильм. Потрескивал цветной экран, а дублированные голоса актеров шероховато и романтично разносились по аллеям, долинам и косягорам дремучего лесопарка. В кинотеатрик задували пышные летние ветра, доносились отзвуки далеких танцплощадок.

Лиза, Лиза... Это она, это ее появление обернулось для него таким пылким вечером, такой легкостью и свободой. Он косился на ее блестящий восторженный глаз, полностью переселившийся в экран, на удлиненный нос и бесплодные губки, слушал ее щедрый хохоток. Человеку, которого час назад били в трамвае как вора, мудрено было так смеяться.

— ...Ну какой же он лапушка, этот Пол Ньюмен! — захныкала она на финальных титрах. — Клянусь, ничего б не пожалела, чтоб еще раз посмотреть... кинемеханику б отдалась! — хотнула она так искренне, что на них заозирались. Хулиганский маленький синяк лежал под ее глазом.

В аллеях темнело. Черное озеро, припрятанное среди кустистых полуостровов, выдавало себя жирным желтым отблеском иллюминаций. Воздух пропитывался невидимыми обильными народными гуляниями. Среди десятков дежурных летних парочек, сидевших по разбросанным скамейкам парка, деловито целовались Виля с Лизой. После такого фильма да в такой праздничной темноте у озера невозможно было не целоваться. Одинокий, безнадежно забытый костыль, перемотанный грязным бинтом, валялся, брошенный, в колючих кустах.

— Ну что, спаситель! — блаженно спросила она. — По домам, по углам?

— Тебе хорошо! — очнувшись, отвечал он. — А мне и ночевать негде. Ключи отдал!..

Сказка продолжалась. Город казался нерасторопным толстяком, растерявшимся от такого неуправляемого множества расслабленных томных ночных людей.

— Я уверена, ты знаешь много анекдотов! — требовательно заявила она. — Со мной на парикмахера учился Женька Брузиня, ты — копия, тоже кучерявый, глаза хитрые, как у тебя, и такая же походочка пижонская, так он тыщи анекдотов знал, его потом в цирковое училище приняли, на клоуна... ну толкни же анекдот! — она пихнула его.

— Выступает мужик с говорящей лягушкой! — начал Виля. — Выходят на сцену, аншлаг. Он ее кулаком по спине ба-бах! «Чего тебе?» — спрашивает лягушка. «Говори, сволочь!»...

Уже на этих словах Лиза принялась хохотать, да так радостно, что, не досказав, затоптав анекдот, как окуроч, засмеялся и он.

На балконе ее общежитской комнатки стояла большая, наполненная водой деревянная бочка реликтовой формы, в которой, спасаясь от жары, дремала, похрапывая, девица-соседка.

— Привет! Обещанного три года ждут? — процричала она, проснувшись.

— Забирай, Лорка! — Лиза угромо сбросила кроссовки. — Нету бабок!..

— А за износ? Третий день таскала!..

— В нос за износ! — огрызнулась Лиза. — Возвращай смены, два воскресенья!.. Во, познакомься, это Вильгельм!

— Пошла ты со своими сменами знаешь куда! — расстервозилась Лорка и гневно выпрыгнула из бочки, оказавшись почтенного роста. Прошлепав и наследив по комнате, накинула халат на мокрый купальник и выбежала.

Поглядели вниз, за перила. Никого.

Поднатужившись, приподняли бочку, и вода, разматываясь, как вяленый шланг, вдруг бабахнула об асфальт, как убиенный арбуз.

Втащили бочку в комнату, Лиза протерла соску пыльного, свернутого в рулон, надувного матраса. — Прошу! — протянула его Виля.

Он трудился, тромбоня щеками, а она дразнила его, надуваясь и издавая неприличные звуки.

В углу у шифоньера стояла неизвестно чья полуторапудовая гиря.

Спал на балконе, ворочаясь на кое-как застеленном резиновом матрасе. Грубые ночные облака с ветровым раскатистым шумом перемещались по смуглым небесам. Две-три слабые городские звезды едва просматрива-

лись и совершенно не участвовали в этой глобальной ночной картине.

— ...Ну какой же он лапушка, этот Пол Ньюмен!.. Клянусь, ничего б не пожалела, хи-хи, киномеханику б отдалась!.. — дремотно вспоминал он ее интонации и смех, надумывая или же сильно преувеличивая их прелесть.

Она разбудила его среди ночи и была в очень дурном расположении.

— Фенев появился... двигайся! — заспанно приказала она. — Презираю таких бабешек, чтоб не могли обойтись без мужика... только давай не касаться, духота такая, все липкое... и никаких дел! — ворчала она, устраиваясь рядом на матрасе. Она была в рваной майке, и голос ее звучал обыкновенно, резко, даже сварливо. Но он уже того не замечал.

— ...Ей бы лишь бы кого, хоть столб, хоть штырь!..

— Анекдот дорассказать? — спросил он, глядя ей в затылок.

— Ну... — вяло разрешила она.

— Ударил он лягушку по спине второй раз. «Ну чего тебе надо?» — опять спрашивает лягушка. «Говори, дармоедка, а не то!..» Молчит. Тут он ей третий раз ка-ак... «Ква-а-а... Ква-а-а!»...

— Нудный тупой анекдот! — недовольно заключила она и в одно мгновение уснула.

Лицо ее во сне стало сосредоточенным, как бы вопросительным. Нос казался великоват, напряженные губы мелкого рта излишне тонки, а брови и ресницы, отмытые от косметики, негусты и совсем незатейливы. Это было вполне некрасивое и не очень счастливое лицо. Но он уже того не замечал.

Он оказался неплохим парнем, этот Фенев, Лоркин приятель. Натуральный горбун, бородатый, пожилой, но парусиново-элегантный в своей поношенной светлой одежде.

— Можно одевать бензобак. Прицепим тросик, газ,отрегулируем сцепление, и можно ехать! — сказал он, выкатывая из гаража мотоцикл. Дожливое пустынное воскресенье осеняло единичных прохожих в белесых перуелках, тишину.

— Надьшимся! — заулыбался Фенев. — Грибов наберем... Славный наш полигон, за два года две тачки превратились там в металлолом, но ничего, собрал!..

Они с Вилей ловко приводили в чувство первый мотоцикл, за ним второй. — И главное, на всей трассе ни одного гаишника! У тебя же прав нет? Нет! Ну и даже лучше, с правами особенно не полихачишь!..

Хотелось благодарно ему улыбаться, такая радость предвкушалась.

Появились Лиза и Лора, накрашенные, независимые, кажется, так и не помирившиеся, но обе в дорожном, с сумками.

— Поздравляю, Митечка, с днем рождения! — Лиза лицемерно чмокнула его в щеку.

— Время пошло! — провозгласил Фенев, заводя мотор. — По коням!..

Гнали по вымершей трассе, потом по проселку, потом через огромный заросший полигон, где сорная трава все смелее и гуще поднималась между бетонными плитами. Вьехали в лес.

— Не улыбайся! — кричала Лиза за спиной, не видя его лица. — Ты чего тащишься! — вцепившаяся, как зверек, в его спину, она угадывала, что он широко смеется от скорости, неуправляемо, беззвучно хохочет, что он счастлив и по-ухарски легкомыслен. — Смотри в доро-огу! — требовала она.

Дорогу, от деревьев до деревьев, перекрыла большущая разлитая лужа. Решили разогнаться и проскочить ее с визгом на скорости, подняв ноги. У Фенева получилось, а Вилин мотоцикл, коварно дрыгнувшись, резко и неприязненно завяз в грязи. От его предательского толчка Лиза с тортом в руках вылетела из седла и упала с глухим мутным плеском.

— Торт цел! Даже не намок! — закричала она, сидя в луже.

Виля стоял по колено в воде, лопааясь от смеха.

— Лорка, меняемся! — сообразила обидеться Лиза и побледнела. — Фенев, или я сажусь к тебе, или я возвращаюсь домой! — и вдруг она заплакала. Факт и ужас падения только сейчас доходили до нее. Общая романтическая беззаботность оставила ее. — Ты нарочно! — ахнула она, подходя к Виле заплетаящей походкой, готовая вцепиться ему в лицо. Вместо ответа, продолжая смеяться в голос, он обнял ее, она смиренно опустила голову, еще пуще и беспомощней плача.

Фенев и Лорка одинаково пожали плечами и вернулись к мотоциклу.

— Прошу тебя, осторожно! — кротко сказала Лиза, вновь усаживаясь в седло.

Но не миновали и километра по темной лесной дороге в мокром осиннике, как оторвался глушитель от выхлопной голени, и, врезавшись в землю сантиметров на десять, пропорол тормозной путь.

Как два трюкача, Виля и Лиза отделились от мотоцикла и летели затем несколько приключенческих метров, не укладывающихся в понятия земного притяжения, в систему ушибов и крови. Дурная чудесная воля, как пастух, пасла их, приземлив на ноги и дав в четыре руки перехватить падающий мотоцикл, не успевший заглухнуть.

Фенев развернул свою тачку и подъехал, вопросительно улыбаясь. — Ты меня не так, парень, понял! — обратился он к Виле. —

Я разве говорил, что Лизульку надо прикалывать?..

Лиза подхватила свою сумку и, не говоря ни слова, побежала, как невменяемая, по щебечущему лесу. Виля открутил изогнутую вхлопную трубу.

— Отсюда до города тридцать верст! Ты думаешь, как она дойдет? — заволновался Фенев и, не дожидаясь ответа, ринулся за Лизой.

Растекалось и делалось резче неуверенное солнце. Лес подсыхал и оживлялся. Среди разбитых холмов фигурного торта, как по Акрополю, ползали ржавые муравьи.

Загорали вчетвером на полянке.

— ...Грыз я тихоокеанское побережье... — рассказывал Фенев, вкладывая в крупный Лорин рот землянику. Его голый горб с двумя красными прыщиками, стоило ему заворочаться, перемещался по спине, как лифт. А на руке, ниже локтя, синела татуировка: «Я люблю тебя, Вера». — ...Сначала мотористом, потом механиком первого класса. И если б не амурное поползновение к подруге помощника капитана, Биндер, латыш, плавал бы до сих пор и горя не знал!.

— Тебе сколько лет исполнилось, дядя? — с сомнением спросила Лора. — Небось полтинник, а все амур!

— Сорок шесть! — звонко гнул Фенев. — Но прожито не зря!.. Я с миром был на ты; я перевидал и перепробовал даже слишком много... Сингапур! — вдруг строго сказал он, точно выплюнул в трубочку горошину. — Сэ-Шэ-А-а, штат Вашингтон, Портленд, Аляска... Австра-алия, Сидней, Дарвин... Новая Гвинея, берег Маклая... остров Пасхи! — волновался он, замечательно вращая барабанчик интонаций, выдувая голосом живой шелест калейдоскопа.

— И с папуасочками амур крутил? — вернула его на землю Лора, подмигивая Виле и Лизе, но оба делали вид, что дремлют.

— Я был свободным и веселым человеком! — сардонически заключил Фенев. — Мне было что терять!

— А сейчас ты связанный и грустный? — с раздражением спросила Лора.

— В этом городе, в этой среде!.. — хмыкнул Фенев.

— Ой, я не знаю, какой ты был механик! — перебила Лора, — но ездить трусливо... с тобой, как на кобыле!..

— Я могу вытворить с этой тачкой все что угодно! — лениво отвечал Фенев, но непроизвольно подобрался.

— Наблюдала весь путь... двадцать по спидометру твой потолок!

Фенев поднял голову и посмотрел почему-то на Лизу, но та промолчала и,

как и Лорка, с дурацкой томностью закатила глаза.

И тогда Фенев, как мог ловко, вскочил на ноги, от чего из горла его вырвался странный свист. Лицо его стало злым, выражение принципиальности его испортило.

Завел двигатель, и лес поежился от возобновившегося треска.

— Выходите смотреть! — крикнул он и помчался на танковую бетонку.

Несчастный заяц выбежал перед ним и с парализованной прямолинейностью поскакал перед колесами, не догадываясь или не умея свернуть. Фенев что-то закричал и, растерявшись, срулил на косую тропинку. На первом же ухабе он подлетел метра на два. Вниз пошло переднее колесо, его свернуло набок, и Фенев телом вспахал землю, и это получилось так чудовищно зримо, больно, непоправимо, точно он платил за все легкомысленные сегодняшние полеты молодых попутчиков. Он закричал от боли кошмарным открытым звуком, смолк и закричал по-новой.

Набирая воду в ладошки, Виля обмывал Фенева. Грязные струйки бежали по телу разбившегося. Фенев, совершенно нагой, вдрызг расцарапанный, уложен был на бережку дикого озера. Длинные лилии, пузыри, зеленый, как от плесени, селезень!..

— Больно? — спросил Виля.

— Лучше б насмерть, сука, насмерть! — простонал Фенев. — Ай-я-яй... ай-я-яй!.. — шепотом, точно кого-то стыдя, забормотал он. — Горб цел? — вдруг спросил он ясным голосом.

— Целехонек! — расплылся Виля.

— Меньше не стал? — Фенев начал ошупывать свою спину. — Стал, родной, стал меньше! — он уставился на Вилю, медленно-медленно подмигнул ему.

— Ты как спишь? — спросила она ночью в темноте палатки. — Пришибленный, не иначе!.. Женька Брузиня, тот, что на тебя похож, ну, которого на клоуна приняли, испривстался б!..

— Лиза... Лизка! — перебил он. — Скажи, тебе б хотелось, чтоб после смерти люди не умирали, а... как бы объяснить?

Она присвистнула, но тут до нее донесся глубокий дотошный скрип деревьев и почти одушевленный хмурый гул листвы. Брезент палатки колыхался.

— Еще бы! — стеснительно отозвалась она. — Я бы так хотела еще когда-нибудь бабушку увидеть!.. А что?

— Да вот что! — сокрушено продолжал он. — Я сейчас думаю, если б я знал, что после смерти останусь жить, я был бы лучше, я бы ничего не боялся!.. точно!..

— Как это лучше? — с дрожью спросила она, придвигаясь. — Это что за грехи у тебя?..

— Когда я сидел в итэка, я был шестеркой у Басмача, Пилота и Павличука... анекдоты им трепал без конца, как твой Брузиня, песни блатные им пел... а если б я их не боялся, я бы лучше за Денисова пожилого заступался бы... Мне всего полтора года насчитали, и я хотел освободиться, вот, думал, будет свобода и буду счастлив... понимаешь, счастья хотелось!..

— Кто ж его не хочет? — стыдливо полуспросила-полупризналась Лиза.

— Да не знаю... но я его хотел и потому боялся... а сейчас думаю, может, стоило умереть, а?

— Дурак! — ахнула она, зарываясь с головой в тряпье. — Дурак, дурак... дурак!.. послушай! — очнулась она через несколько мгновений. — Значит, вот... — отчужденно, сдавленно начала она. — Счастье, не счастье, мне плевать!.. а если хочешь, уедем к моей родне в Татарию... и женимся, меня тут тоже ломает жить... а там полдома в райцентре, дядька главбух, устроит!.. — и униженная собственным предложением, посмотрела на него с ненавистью и ожиданием.

— Да! — сказал Виля, приподнявшись на локте и улыбаясь. Ее вновь затрясло от его улыбки, как тогда, после падения в лужу.

— Я тебя очень люблю! — продолжал он, улыбаясь еще шире.

— Ква-а... ква-а-а!.. — сварливо передразнила она и отползла в угол.

Снаружи, из второй палатки, донесся далекий хохоток Лоры и глуховатая скороговорка Фенева.

Печально и тревожно было возвращаться на рассвете в город. Тухлые контуры тягучих промышленных облаков висели над его атласом, и сам он, отсюда, с хребтов, казался бескрайним макетом, мертворожденным плотницким чудом.

Пустынная, давно упраздненная дорога на полигон была перекрыта армейским пикетом. Из «ЗИЛа» выпрыгнул офицер в лазурном резиновом комбинезоне, за ним двое солдат, тоже с ног до головы в резине.

— Куда? — офицер поднял флажок.

— С пикника! — отвечал расцарапанный Фенев. — Что за кипеж, начальничек?

— Документы с городской пропиской имеются?

— Какая прописка, говорю же, с пикника!.. Я с автосервиса слесарь, твоим полковникам тачки ремонтирую!.. Пряма блокада!..

— А то блокада, что уже сутки в презервативах ходим! — выругался офицер. — Утечка на комбинате... охота дышать? — вперед!..

Объехали «ЗИЛ» по обочине и — по спуску — в город.

Киру в шестой палате он не нашел.

— Это не старуху сумасшедшую ищешь? — догадались женщины. — Она в коридоре... с ней полежишь! все мечется, вопит, уходит домой собралась... а как курить надумала!..когда сообразила, где она находится, головой стала биться вот об эти ручки кроватные... ее психиатр будет смотреть!.. Милый, что там у городу слышать, вправду, зрыв?..

Шагая по темному зловонному коридору, всматривался в несчастных больных, ворающихся и неподвижных, юных и стертопожилых, но одинаково беспомощных и покинутых. Дежурные посты медсестер пустовали.

Весь медперсонал, выстроившись шеренгами во дворике, проводил занятия с противогАЗами.

И тут он увидел Киру. Кровать ее располагалась в неосвещенном отсеке, далеко и от ламп, и от окон. Ему бросилась в глаза ее голая бледная нога с привязанным к ней деревянным креплением, а потом такое же белое маленькое лицо с открытыми глазами в седеньком венчике волос — была на воле, подкрашивалась. Кажется, она давно приметила его фигуру.

— О-о, привет, привет... — помахала она ручкой. — Послушайте, куда я попала? Я никого тут не знаю, и со мной решительно не хотят иметь дела! Я в полной депрессии, как Америка в двадцатых. Ха-ха...

Виля подсел на койку.

— ...вы представляете, наши советские медики целенаправленно меня игнорируют. Они проходят мимо, хоть цепляйся за халат, как утопающий!.. Что делать? Вы не помните, как я сюда угодила?.. А может, я уже умерла и дело происходит в аду? Ха-ха!.. У меня к вам несколько просьб! Во-первых, здесь где-то поблизости стоят розы! Я их не вижу, но нутро мое чувствует! Это, несомненно, розы, уберите их, я задыхаюсь!.. Во-вторых, вы должны будете принести мне бумаги, конверты и авторучку, я хочу написать Илье Эренбургу о его романе «Люди, годы, жизнь». Третье... вы обязательно принесете мне мой семейный альбом, зелено-бархатный альбом, войдете в мою комнату и в третьем справа ящике буфета...

— Кира Георгиевна, не надо альбома! — возразил он. — Зачем он здесь?.. — но старуха слышала только себя.

— У меня произошла настоящая трагедия! — вдруг горько сказала она. — Сегодня ночью я проснулась от какой-то дурной и тяжелой мысли, мучившей меня даже во сне. Как только я проснулась, я сразу поняла, в чем дело... я не могла вспомнить свою фамилию!.. Я не помню свою фамилию по второму мужу... я помню девичью фамилию, родители мои были Слепковы, мы сама-

ринские, потом с Борисом Яковлевичем я была Львовская, но потом я вышла замуж... я не помню... я не помню, кто я есть... если я не вспомню фамилию, я умру... я хочу вспомнить свою жизнь, мне нужен альбом, где она... как моя фамилия... слушайте, тут у меня в тумбочке, посмотрите, не могу дотянуться, из нее отвратительно пахнет!..

Виля приоткрыл дверь тумбочки и извлек из нее какой-то мягкий кулек. Давя рвоту, заметался по коридору, пока не нашел подсобку с мусорными баками... Остервенело вымыл руки под краном.

Возвращаясь к Кире, увидел, что возле нее стоит целое семейство: муж, жена и две маленькие девочки. Это был водитель, сбивший Киру. Его жена, принужденно улыбаясь, вынимала из сумки какие-то пакетики и кулечки.

Миновал их, не оборачиваясь.

На столике дежурной действительно стояли в вазочке двухдневные розы. Огляделся. Кира упоенно беседовала с новыми посетителями и норовила потрогать малышей. Вытянул из воды букет, укололся об шипы, скривился, подбежал к окну и вышвырнул вниз, во дворик, где продолжался химтренаж.

По опустевшим улицам ползли один за другим, до синевы промывая асфальт, десятки поливочных «ЗИЛов», а пожарники из тонких шлангов прочесывали какой-то жидкостью деревья.

На центральный рынок въехали и заблокировали его со всех сторон спецмашины, и высыпавшие из кузовов солдаты в мандариновых, под цвет базара, погонах ринулись по всполошившимся рядам, арестовывая товар, показательно сметая с прилавков фрукты, зелень...

На кухне под шипенье и стрельбу сковородок, Александра мялась с пожилым усатым милиционером. То она била его по рукам и бросалась к подгорающим мордатым блинам, то опять самозабвенно мялась, кусала за усы и косила глаз в коридор...

Виля прикрыл за собой старухину дверь. Под мышкой он зажимал огромный помпезный альбом. Многозначительно прокашлялся. Тяжелым бегом прибежала красная Александра.

— Как ее фамилия? Кирина! — шепотом спросил Виля.

— А что? — шепотом отозвалась Александра.

— Она забыла и мучается...

— На кой ей знать ее фамилию?

— Говорит, не вспомню, умру!..

— Умрет?! Через две недели комиссия, никаких умрет! Ее фамилия Ма-а-зель Кира Георгиевна... дай позырить альбом, я тут тоже есть! — выхватив альбом, перелистала его. —

Вот... и вот... ой ты пуся! — тыкала она в умильные детские фотокарточки. — Скажи, что жизнь с людьми делает!.. — Виля узнавал на фотографиях молодую Киру — в шароварах и свитере, на коньках... в строгом жакете, с прической, за чертежным кульманом... — А это, знаешь, кто? — заговорщицки кивнула Александра на кухню. — Участковый Кудасов! — и сделала значительные глаза. — Я его приласкаю, от меня кусок не отвалится, а мазельскую комнату он прикроет за мной, а с двумя комнатами я меняюсь на отдельную, ага?..

— Я вам желаю победы! — улыбнулся он и собрался уходить.

— Стой! — вдруг жестко остановила она. — Тут скоро комиссия, а она еще, глядишь, в себя придет! Альбом не даю! — и вцепилась в альбом. От неожиданного ее рывка фотокарточки посыпались между страницами на пол, в темноту. Виля оттолкнул ее, начал лихорадочно собирать их. Александра набросилась на него, оба упали.

— Николой! — крикнула басом Александра...

Вагоны зацокали по зачарованным дистиллированным улицам и проездам.

Центральный рынок после утренней акции напоминал дно вымершего много веков назад озера — он был захламлен, пустынен, костист.

Трамвай заныл вдоль решеток сквера, как раз на этом месте несколько дней тому назад он усмотрел в сплетенной, почти пластилиновой толпе тонкую инфантильную кисть карманицы. Да, сейчас в его жизни присутствовала Лиза. Связь с женщиной вмещалась в нечеткий путаный серпантин его распорядка, планов и попросту бередила душу замирающим сердечным желанием, вколола в него стошприцевый парад импульсов, бурную влюбленность и, что ни говори, жажду удовлетворения, то есть счастья.

Выскочил из трамвая и побежал не самым коротким, но сиюминутно-нетерпеливым путем к Лизе.

На углах роскошных, разреженных безлюдием проспектов маячили патрули, да несколько работяг подвешивали поперек проспекта с автовышки какое-то кумачовое изречение.

В нэповские завитушные окна парикмахерской он увидел Лизу, занимавшуюся клиентом. Клиент скалистым профилем врубался в жизнь, а Лизины пальцы, те самые утрюмые пальцы карманицы, ласкали его лицо, обрабатывая щеки каким-то интимным кремом. И так легки, чувственные были их прикосновения, что лицо клиента должно было бы обмякнуть и потечь. Но профиль не сдавался, сохраняя нагроможденную

тяжеловесность этажей. Потом Лиза наклонила всю махину этой головы в умывальник, под теплую вкрадчивую струю своднищыводы, и принялась промывать черные упавшие волосы.

Виля заглянул за занавеску в зал. В Лизином кресле сидел Фенев. Лицо его, оживленное, забрызганное, смешное в беспорядочных после мытья волосищах, ничего не имело общего с тем профилем в окне, но это был он. Лиза растерла его полотенцем, и тут же из-за портьера появился косматый толстый мастер в полупижамной униформе. Оставив подготовленный фронт работ, Лиза отступила, глаза ее небрежно проползли по Виле, но тут она спохватилась и поспешила к нему.

— Фенев одолжил нам триста рублей! — вполголоса, с ликованием сообщила она у огромного зеркала в холле. — Надо сматываться из этого города!.. Ты сейчас бегом к кассам... — она вынимала из халата и отсчитывала купюры, — запишешься на завтра, и придется стоять всю ночь!.. ближайшим самолетом до Казани, понял?

— Наконец-то! — потряс кулаком он. — А то, думал, до смерти отсюда не выбраться!..

— Чертова география! — ругнулась Лиза. — Фенев горбатый весь мир перенюхал... берег Маклая, остров Пасхи... а мы, как зеки, с тобой! Бытие определяет сознание, хочу куда-нибудь...

Огромная толпа жаждущих покинуть город ночевала у касс. Вращалась световая реклама Аэрофлота — голубой земной шар и на его фоне золотой самолетик, выхватывая из темноты беспорядочные группки людей. Составляли списки на утро, устраивались покемарить на ступеньках, сбивались в кружки по интересам, курили, а кое-где, похоже, и выпивали.

— Кислый воздух... — тянули носом в кружке. — Кислый воздух! — независимо подхватывали в другом, — кислый воздух...

Воздух был как воздух: ночной, темный, душноватый, кое-где подсвеченный небогатой рекламной проспекта.

— А комбинат работает! — говорили в кружках, тыча в незатейливую темноту, откуда и впрямь можно было выудить некий далекий, абстрактный гул. — ...работает... — подтягивали в других кружках. — Работает... — и была саднящая безобидная грусть в этом мерном, как поступь ослика, путешествии слов, понятий и впечатлений по ночной очереди.

— Останавливать — значит убыток... кто позволит!..

— Говорят, проект был ошибочный!.. проект... проект... проект... а проектировщики давно уж кто в Америке, кто в Израиле...

это точно?.. совершенно точно... сколько себя помню, всегда кто-то виноват... значит, диверсия?.. конечно, диверсия... определенно, диверсия... на кой на стрелочника кивать! что, Чернобыль, тоже диверсия?.. а ты в лицо мне не дыши!.. но если диверсия, то кто?.. кто-кто?..кто-кто?.. а есаулы на что?.. есаулы это исполнители!.. музыку заказывают другие!.. ты идиот!.. Светка, бегом сюда, послухай, что здесь ховорят!.. а кооперативщики тоже есаулы?.. а кто же еще! здрастье, это ж настоящий капитализм... конечно, есаулы... с такими ценами, с таким товаром! у них же все прихвачено!.. в магазинах почему колбасы с нового года нет? почему масло по карточкам? потому что есаулы скупают... а мы потом по их волчьим ценам кормимся!.. да я еще ни одного есаула в глаза не видел! только слышу: есаулы, есаулы... зато они тебя видят!.. это мы между собой как волки грыземся, а они по всему миру спаяны... ой, Светка, я, кажется, ражу ат таких кашмаров!.. из наших городов выживают нас... не хочешь; не уезжай!.. а я не уезжаю, я детей на лето и обратно! я свои три комнаты двадцать три года зарабатывал, не уеду, хоть потоп!.. Три часа! становись на переключку... я называю номер, а тот, чей это номер, выкрикивает фамилию и становится у панели в ряд... жду три секунды и вычеркиваю без права восстановления!.. номер первый!.. Абрамзон!.. о, и здесь эти первые... второй! Глобутько!.. номер третий!.. номер третий!.. вычеркивай его ко всем монахам!.. номер третий вычеркиваем!.. номер четвертый!.. Виноградов!..

— ...шестьдесят четвертый!.. шестьдесят четвертый!.. вымарывай!.. э-э, да тут шестьдесят четвертый Есаульцев! Вот в чем дело!.. Падлы, напоминают о себе! издеваются!.. убивать их, белорожих!..

Виля сидел на ступеньках и делал вид, что рассматривает несколько фотокарточек, которые ему удалось выхватить из альбома. Молодая Кира Георгиевна в шароварах и свитере на коньках... моложавая, с прической, Кира за чертежным кульманом...

— ...шестьдесят пятый!..

— Абуос Вил! — аукнулся с акцентом какой-то африканец и побрел туда, где все, назвавшие свою фамилию, выстраивались хвостом вдоль стеклянных панелей агентства.

Виля тихо прошел в толпе и прислонился к стеклу перед африканцем. Где-то, человек на двадцать впереди, слушали в темноте радиоприемничек, русскоязычную передачу из-за кордона. Мало-помалу шорох и треск вместе со специфическим текстом стали привлекать к себе внимание.

— Ничего, дождетесь, белорожие, прикажут радио сдавать, как в сорок первом, все, как миленькие, сдадите, до последней лампы!.. скажите, пусть заткнет свою канализа-



цию!.. вот он и есть есаул, даже не прячется!..

Там, откуда доносилась передача, произошло оживление, потом ругань, хлопки и удары, многоголосица драки. Приемник с силой грохнул об асфальт, и тот вскричал, как животное. Дежурно завизжали женщины, кого-то потащили бить с проспекта во дворы.

Все так же гудел вдалеке невидимый комби́нат, и вращалась световая реклама Аэрофлота.

И тут кто-то твердо взял Вилю под локоть.

— Шестьдесят четвертый? — формально спросил его.

— Нет! — ватно отвечал он.

Четверо здоровенных мужчин блокировали его.

— Вы шестьдесят третья? — обратились мужчины к впереди стоящей женщине. — Я шестьдесят третья! — близким к истерике голосом отвечала та. — Шашашать пяты! — подтвердил африканец.

В лицах четверых не было ни ненависти, ни азарта — нейтральное пресное спокойствие, деловая государственная правильность черт, точно сама господствующая идеология, рискнув воплотиться в человеческом облике, вычислила и нарастила эти образцы.

Дежурный открыл окошечко, потом дверь. Пропустив конвой, защелкнул дверь на язычок и вытащил из замка ручку.

Вилю провели коридором в уже знакомый конференц-зал.

У зарешеченного окна курили майор Петр Богданч и... Алексей Беленко в строгом костюме с двумя Звездами и депутатским флажком. Конвоиры козырнули и ушли. Алексей Беленко нерешительно двинулся навстречу Виле, они одновременно ускорились и с синхронными мужскими рыданиями бросились друг к другу в объятия.

— Хохолов, чаю нам и бутербродов! — крикнул Петр Богданч в коридор.

Виля жевал казенный бутерброд и, громко всхлиывая, с единовременным шумом прилебявал из домашней чашки. Алексей Беленко, откинувшись на спинку стула, с трагическим выражением перебирал и перекладывал в пачке сигареты: фильтром вниз, дулом вверх.

— Мальчик! — трагически вымолвил Петр Богданч. — Я приказывал тебе уехать и спрятаться, почему ты не уехал?..

— Закрутился, подгулял! — глухо, грубо отвечал Виля. — Жениться собираюсь!

— На ком? — недоверчиво спросил Петр Богданч.

— Дядя Леша! — вдруг обратился Виля к бригадиру. — Хватит... я Каплину комнату сделал, а на дальше уговора не было!.. забирайте меня!

— Конечно, заберу! — побагровел Алексей Беленко. — Молодежную свадьбу сыграем... — и заклацал зубами по стакану с чаем.

За окнами рассветало.

Майор прошелся по залу.

— Вот ты, Виля, женишься удумал! — развязно начал он и вдруг горестно отмахнулся — от самого себя, от дешевого своего тона. — Какое женитье, парень! Ах, ну что за женитьба!.. ты не слепой. Беда пришла, Вилям, огромная бескрайняя народная беда!.. Объясни мне, в чем виноваты тысячи, десятки и сотни тысяч наших с тобой земляков? За что им такое?.. Для того ли они первое народное государство на костях своих строили, для того ли терпели лишения и кактаклизмы, чтобы сейчас, в конце столетия, рабочий человек страдал от аварий, от неурожая, от коррупции, от гибели лесов, полей и рек... от равнодушия и бюрократизма! Отвечай, Есаульцев! Для того или не для того?

— Не для того! — рефлексивно, как за кусок сахара, отвечал Виля.

— Жаль тебе, Есаульцев, людей?

— Жаль...

— Допустим... А теперь порассуждаем. По-деловому!.. Итак, ты знаешь, что город в депрессии, в упадке... по ряду причин, объективных!.. Мы разумные с тобой люди, мы с тобой понимаем, ничего не происходит просто так, даже кошки сначала блудят, потом котятся... и сегодняшнее положение тоже есть результат определенных событий, определенного стечения обстоятельств... и конкретных ошибок. Мы будем искать корни бед. Я тебе обещаю, пока я здесь, в этом кресле, я буду зубами, когтями, кишками пахать, но я город подниму!.. Сколько ты мне даешь времени? Два года даешь? Год даешь? Вижу, даешь! Спасибо... Но как нам жить сейчас?.. Как нам, скажи, ходить сегодня по улицам и встречаться глазами друг с другом?.. Как вернуть простому человеку ясную и такую необходимую веру в добро?.. Ты знаешь? Нет? И я тоже нет! — голос майора дрожал, по щекам вспыхнули слезы. — Я только гадаю-гадаюсь!.. Я знаю, что в самые тяжелые, самые беспросветные дни, полосы жизни человек остается человеком, если у него есть вера! Вера в конечную победу!.. С такой верой наши люди выносили на себе Отечественные войны, репрессии, разруху!.. И эту веру мы должны вернуть людям и сегодня!.. Как я себе представляю такое?.. Человек начнет верить в то, что завтра полегчает, если сегодня ему скажут: брат, сегодня тебе плохо потому-то и потому-то, и мы эти потомуты устраним так-то и так-то!.. И брат все видит, ему показали правду, он успокаивается, он рад успокоиться, он рад даже

обману, даже лжи, потому что, со своей стороны, ему необходимо спокойствие! Он только ждет, чтоб мы с тобой показали и объяснили ему причины, слегка извинились и расшаркались, и он охотно нас простит, ведь мы возвратили ему спокойствие! Веру!.. То есть мы лишь собираемся таковую вернуть, и тут ты мне главный помощник!

— Как... к-как?.. — начал заикаться Виля.

— Тебя покажут людям, возможно, по телевидению, возможно, в натуре, — мол, вот он перед вами, тот самый Есаул, эмбриона, что пил вашу кровь и мешал нашему счастью... как видите, он пойман и устранен!

— Но ведь я не виноват! — ахнул Виля.

— Ты не виноват! — подтвердил Петр Богданч.— Никто, есаул, не виноват. То есть все как раз и виноваты! Все виноваты, все плохо работают, воруют, все оступели, спились, одичали, шкурники долбаные!.. Но-о, ты по молодости лет не понимаешь, а мы с бригадиром!.. — он кивнул на Алексея Беленко, и тот печально качнул головой, — ...человек сто лет предпочтет жить в дерьме, чтоб сто несчастий на голову его свалилось, но единственного не трожь: он не отдаст своей святости!.. Человек должен знать, что он хороший, что он не рыжий, он ни в чем не виноват, все кругом виноваты, но не он!.. И вот эту невинность мы с тобой и должны вернуть людям! Тогда будет мир!..

Виля поднялся. Глаза его забегали.

— Сейчас пойдешь с дядей Лешей, как след подумаешь! — повысил голос Петр Богданч, — ...и доложишь!

— Если я не са-а-хла-асен! — застонал Виля и в беспамятстве затопал ногами, потом схватил чашку и отбросил в стенку. Вдребезги! Петр Богданч со страшной резиновой силой облапил его, погасив все движения, и теперь, как плохой трагик, сверкал глазами и горячо, по-собачьи, дышал в лицо. — Через пару месяцев, когда утихнет, отпустим, болван!.. Ничего, салага, не понимаешь!.. Тихо уедешь, фамилию клеим любую, паспорт выпишем, все детдомовский, не один хер какая фамилия!.. Я тебя с бригадиром-героем отпускаю, а мог бы сгнать да министру отрапортовать, значит, доверяю, понял?..

При пиджаке со Звездами, в сорочке с галстуком, но почему-то в трусах, широких, в цветочек, Алексей Беленко ползал среди разгромленной мебели гостиничного «люкса», по тягостному кладбищу пустых бутылок. Нашел нераспечатанную и заурчал, грызя пломбу, приложился к горлышку — бултых, бултых...

— ...Думаешь, это тебе больно? нет, это мне страшно! тебе-то что?.. если ты считаешь, что я виноват, я тебя убью!..

Его молодой друг бездыханно лежал на диване, лицом вниз.

— Каплин виноват... — пыхтя, он подполз к дивану, — под меня копают, Скреплюк стучит... это они добились, чтобы бюсты отменили, посмешище из меня!.. то ставят бюст, то ломают... не ставили бы бюст, не звали бы Каплина... шулера... я не виноват, он меня раскрутил на три сотни... перед Володькиной свадьбой... — Беленко встал на четвереньки и уронил тяжелую голову на спину Виле. — А все бюст, бюст... я бы не играл, ты бы не поехал с Каплиным... я тебя спасу! до генсека дойду... это будет стоить мне депутатства... майора, змею, не слушай... провокация... его дела... ты не есаул!.. э-эх! вот твои... — затрусил он Вилю. — Триста сорок рваных!.. — начал он остервенело бить Вилю бумажником по голове. — Драпай куда-нибудь, ну...

Три девушки с красными повязками общественной дружины, и Лиза среди них, фланировали по переулку. Виля, пошатываясь, брел за ними, понемногу догоняя.

Старый черный «мерседес», прошипев в метре, остановился впереди, игриво загордив девушкам дорогу.

Лиза сорвала с локтя красную повязку и, помахав подругам, юркнула внутрь. «Мерседес» умчал.

На центральной площади, под открытым небом, шло цирковое представление: летали воздушные акробаты, плясали дрессированные медведи, дурачились клоуны...

Вдоль всего проспекта, ставшего пешеходной зоной, тянулись лотки с пирожными и прочими сладостями. Из репродукторов неслись цветные дыни музыки. Тысячи людей.

Город на глазах преображался в добродушного отходчивого зеваку. Впечатляющие, слишком сильные краски заката, небесной протяжно-синей широты, ослепительно-серых хребтов углубили парадную картину мира, сделали ее значительной и холодной.

Ночью на площади у кинотеатра наметалась толпа, обступившая афишу французской кинокомедии «Разиня». На ней, под Луи де Фюнесом, значилось «Уильям Эсаульцефф». То был приснопамятный каплинский шедевр.

Сначала в афишу тыкали, потом начали плевать и пинать ногами. Затрещала фанера, потекла краска. Общее движение толпы несло Вилю к афише, ухнув, ударило об нее среди самостоятельности плевков, пинков и прочих жанров, повлекло дальше, в сторону, уступая место последующим поколениям.

По бокам, формируя живой коридор, гарцевала конная милиция. Лошадиные морды,

как китайские болваны, раскачивались над людской прорвой.

Потом что-то еще произошло, и афиша с готовностью воспламенилась. Кони пришли в движение, занервничали, оттесняя людей от огня.

Неумелое, дребезжащее факельное шествие, в сопровождении все той же гладкой конницы, торопливо, точно не доверяя братской вседозволенности, пролилось по проспекту и тонкими струями амальгамы расплозлось по ночным улочкам, постепенно замирая в водостоках мглы. И только шелковые тугие шапты конских животов — амортизаторы собитий и обстоятельств — оставались до утра в городской степи.

Отворила дылдастая Лорка — как всегда, в халатике на мокрое тело. Лужицы ее следов проглядывались от балкона.

— Что эта шлюха нам с тобой нарисовала, как тебе нравится? — кривляясь, воскликнула она, отступая на шаг. — Мне этого горбатого не жаль, но принцип! она мне говорит еще «ты б...», сама ты б..., да проходи!.. а горбатый дешева! ну ушел к другой, так он кроссовки забрал, передарить Лизке, и она будет носить!.. э-эх! — безбедно, с юмором вздохнула Лорка, — переживем! — и кивнула на балкон, где из бочки с водой торчали незнакомая мужская голова и плечи.

Дождался Лизу в темноте перед общением. Беспросветное ночное время уплывало всем неделимым пространством по развороченной небесной пахоте.

Улегся на скамейку и, подложив локти под голову, поджал ноги и пытался уснуть.

Что изменилось?

Ночь на ее балконе, резиновый матрас, шумные облака, ее вопросительное во сне лицо... Дорога на полигон, лес, лужа, торт, труба голени, полет без ужаса, падение без боли... Что изменилось? Там была свобода.

...Белая ладонь автомобильных фар легла на темные тряпки деревьев и, переместившись по радиусу, самоустранилась в стороне.

Фенев и Лиза вышли из «мерседеса» и направились к дверям.

— Минуточку! — окликнул их Виля.

Горбатый Фенев в модных «варенках» убежал от Вили мелким петляющим бегом по законопаченному плющом и тополями двору, лавировал между детскими скамеечками, песочницей и стоечками для белья, нырял под проволоку, спотыкался, тормозил, срезал углы. Горло его издавало низкий непрерывный свист, от чего казалось, что он рядом, и

Виля страшно бил в пустоту, изворачиваясь на бегу неслушающимся корпусом, проваливался, теряя равновесие, пьяно, долго поднимался с четверенек, гнал Фенева дальше. Фенев вывернулся, проскочил в свободную половину, к воротам и, как муха, долго жужжавшая на стекле и отыскивавшая наконец открытую форточку, с нереальной резвостью вырвался на улицу.

Из подъезда выскочила прятвавшаяся там Лиза, она пыталась проскользнуть туда же, но путь ей был отрезан, она заметалась, и, как к спасению, отбежала к «мерседесу». Огромная покинутая машина надежно разделяла их.

Она не спускала с него азартных презирающих глаз. Это было очное предательство, всякие объяснения делались ненужны. Они медленно перемещались вокруг и по разные стороны кузова, на одной оси, следя друг за другом, — точно закручивали невидимый кран.

— Я погиб! — он опустил голову, первым потеряв присутствие духа.

Тут же остановилась и она.

Он легкими шагами звездочета отступил в темноту и вернулся с обломком кирпича. Теряя опору, принялся с размаху избивать черную шагреню «мерседеса». Хрустнули стекла, лопнули фары. «Получай, есаул проклятый, хавай, падла!..» — и продолжал избивание несчастной машины... Отбросил кирпич и отошел, что-то обиженно бормоча. Присел на лавку и поник головой...

Очнулся — привязанный к спинке скамейки колючим автомобильным тросом. Рядом курил задумчивый Фенев. Светила луна.

— Живой? — спросил Фенев, не поворачивая головы. — Из-за Лизульки, сучечки, не плачь... это она тебя грузилом тюкнула, я только вязать помог...

— Воды дай! — утробно захрипел Виля, вдруг затрепыхался и заохал от боли.

Фенев официально, как официант, вернулся от «мерседеса» с пластмассовым стаканчиком.

Виля напился из его рук и тут же с отвращением выхаркал все обратно.

— Пустырник же! — удивился Фенев. — Успокоительное, для себя заваривал!.. — и обиженно отложил стаканчик. — Я тебя еще тогда на полигоне узнал, — доверительно заговорил он, — ты есаул, по телеку твою фотку давали... мы с Лизулькой тебя не выдали! — самодовольно засмеялся он. — Но и ты благородство имей! Я ее уже год люблю без колодок, нюхаю и сознание теряю!.. ты понимаешь, что это такое, когда мужик в сорок шесть лет без памяти в любви!.. ты понимаешь, что я за нее пять бы таких комбинатов взорвал!.. хоть разок в жизни попробую на вкус счастье!..

— Счастье? — вдруг совершенно трезво переспросил Виля.

— Счастье! — удивленно подтвердил Фенев, наклоняясь к нему.

— Ты, механик, не ее, а себя без памяти любишь! — продолжал Виля. — Вот твое счастье!..

— Почему же не ее? Она певучий инструмент моего счастья!.. Я молюсь на нее, как на эту луну, я готов отдать ей свое тело, свой горб, свою душу — пусть делает с ними что захочет!.. Я, как в семнадцатом году, готов штурмовать Зимний, перекроить мир, перевешать врагов — ради счастья!.. я готов быть идиотом, но счастливым идиотом, горбуном, но счастливым горбуном!.. пожалей нас!.. дай нам пожить!.. — он поднялся. — Видишь ли, есаул, счастье — это единственный смысл человеческой жизни, и за него надо бороться! Мы появляемся на свет, мы подрастаем, набираемся сил и устремлений!..

— И подышаем, да, Фенев?..

— Я верю в науку!.. Я храню в душе обещания ученых научиться продлевать жизнь, а со временем вообще уничтожить смерть!.. Представляешь, будут такие таблеточки! — с ликованием возвестил он, пятясь к машине. — Я не отвязываю тебя! Пойми, приберешь накануне счастья!.. А за тачку не сержусь, солидарен по-мужски!..

«Мерседес» фыркнул, вздрогнул и с мягким прибойным шумом, как морская волна, покотился восвояси.

Лиза освободила его.

— Фенев ментуру вызвал! — сказала она. — Убегай, сейчас будет!..

Он пошевелил суставами, поднял руку.

— Проспался, есаул? — по-матерински спросила она. — Бить не будешь?.. Ну что... Фенев все тебе объяснил, повторяется неохота. Ты хороший парень, но я все-таки порву с тобой. Я не знала, что ты есаул!.. Я честный человек, у меня сложные обстоятельства, но я человек честный, понимаешь... а ты!.. ты хороший парень, мать твою, но ты есаул!.. дело, видишь, не в Феневе, я его прогнал!.. в общем, разбежались!.. я тебе деньги на билет давала, там рублей семьдесят было... так не волнуйся, я не требую!.. едут!

Во двор въезжал и припарковывался поперек ворот милицейский «жигуленок».

Скрываемые тополями, рванули в разные стороны: Лиза в общежитие, «есаул» — через забор, в бега..

Лазурные шевелящиеся цепи подразделений в общевоинских защитных комплектах тянулись палаточными лагерьями вокруг горо-

да, точно кто-то нетвердо очертил циркулем по хребтам и ущельям. Повсюду гнездились небрежно замаскированные контрольно-пусковые пункты на толстых подошвах колес.

И старая дорога на полигон, давно потерявшая стратегический подтекст, также была прихвачена муравейником солдат в резине.

«Есаула» еще издали приметили, он видел, как муравейник заволновался.

Мелкие ласточки, как плотва, кувыркались в спелом, желтом от солнца небе. Комбайны, как лунатики, неуверенно топтались на колючих от урожая равнинных пятаках, а на пригородном футбольном поле толпились постаревшие стога. И никому нельзя было доверять.

Пригибаясь в холмовой траве, побежал назад.

В ванну набегала вода из крана.

Прибранный беленковский «люкс» пустовал. Виля разделся. Поглядел в зеркало, под уклоном свисавшее со стены. Тонкая мальчишеская фигура и неожиданно дряхлое, папирусное лицо...

Плюнул в зеркало.

Раскрутил железный беленковский станок, взял двумя пальцами, как пластинку, лезвие, влез в ванну. Спокойно, как бы имитируя, провел им несколько раз по всей внутренней поверхности руки. Сжимал щепотки своей хлебной кожи: на животе, ногах, плечах — да, это было его родное тело, с которым он прощался.

Кровь текла вяло, она не принимала всерьез его намерений. Потом и вовсе свернулась.

Вылез из ванны, отряхнулся, завернулся в полотенце. Все это были до ужаса житейские действия, они вышибали из него необходимое запаянное настроение, и он даже усмехнулся от досады и удивления.

Прошел в комнаты, к телефону.

— ...Хирургия?.. у вас в коридоре, в конце, у кухни, лежит старуха со сломанной ногой! Значит, передайте ей, что ее фамилия Мазель! Ма-а-зель!.. Умерла? Пардон! — повесил трубку.

В кожаном кресле скромно сидела молодая темноволосая женщина в такой же кожаной костюмной паре, точно она и кресло существовали единородно.

— Кира Георгиевна! — обрадовался Виля. — Виноват, покинул вас!.. фотокарточки при мне, да не довез, простите!..

— Прощаю! — беззаботно сказала она.

— Ваша фамилия Мазель!..

— О-о, это меня не волнует! — темпераментно перебила она. — Давай о тебе!.. ты признаешь поражение? — она показала на его порезанные запястья. — Скажи мне,

чего ты испугался? Ах да, ты страшишься...

— Не страшусь! — ожесточенно сказал Вилья.— Меня обманули, обложили!

— Пожалей их!

— За что мне их жалеть? Это меня жалеть надо!..

— Они несвободны, они живут без смысла и без правды, они повязаны обстоятельствами... — слово «обстоятельства» она с издевкой растянула. — Сколько обстоятельств, столько правд... А что ты! Ты и в колодках будешь свободен!.. Не укрывайся, не умирай, прими их темноту, их злобство, ты же с ними повязан, ты встречался с ними глазами, делил с ними кислый воздух этих городов, ты такой же плохой, как они, а они такие же добрые и невинные, как ты, вы действительно братья!..

— Но вы-то! Вы-ы! Как Александре кровь попортили, наследство... музей.. а сейчас взяли и умерли до комиссии!

— Я горько в этом раскаиваюсь... и ничего уже не могу изменить! Ты же все держишь в своих руках!.. тебе легче, чем всем, у тебя никого нет, ни отца, ни матери, ни любимой, ни детей, ты и в этом свободен!

— Я что, похож на сумасшедшего? — просто спросил он и ухмыльнулся.

Кира с отчаянием схватила его руку.

— Ты меня не заставляй! — смеялся он, легко заламывая ее кисть.

— Я тебя не заставляю! — согласилась она. — Будь свободен, выбирай сам!.. но ведь ты любил этот мир, да?

— Да, я их любил... я любил Алексея Ильича, Елизавету...

— Больше, чем себя?

— В сто тысяч раз больше! — застонал он...

Большеглазый вертолетик взлетел с маленького деревенского аэродрома и пополз, как пчелка, по небесному «холодцу» в сторону отдаленных сельхозугодий.

В вертолетике сидели разодетая накрашенная Александра и усатый участковый Кудасов в штатском.

За картофельными и кукурузными прозаическими холмами лежало неожиданное для гористой полосы плато дымчатого кремowego оттенка.

Вертолетик закружил над плато.

Безбрежные дремучие колонии перезревающих розовых роз, похожих на вывороченные высыхающие медузы, безвольно раскачивались от горизонта до горизонта.

Александра вытащила из-под низкого кресла продолговатый железный ящик. Кудасов дал знак пилоту и принялся откручивать на полу какой-то кран. Обнажился анальный люк. В люке все те же розы. Задуло.

— Собаке собачья смерть! — провозгласила Александра и, прижимая к груди ящик,

неуверенно побрела по зудящей болтанке к люку.

Кудасов для надежности встал на четвереньки у отверстия. Протянул руки к ящику. Ветер бил его чуб.

— Сама! — восторженно рыкнула Александра и улеглась на живот. — Нет тебе моего прощения, Кира! — воскликнула она. — Пусть прах твой сгниет в этих розах, ты их очень любила. Чтоб тебе вечно чихалось! — и выпотрошила урну над жадной животной плантацией.

Фенев медленными глотками напился газировки из бесплатного цехового автомата. Вошел в курилку, где стучали в домино рабочие. Один из них, тут же оставив костяшки, поднялся ему навстречу, и они удалились.

Направились куда-то по пустым, в мазуте и пыли, коридорам, лестницам, цехам. И оказались в гигантской безлюдной кузне.

— Что скажешь, до свадьбы заживет? — взволнованно спросил Фенев, подавленный видом огромных наковален, прессов, печей...

— Да-алжно! — неопределенно отвечал рабочий.

— Сучечка! — у Фенева дрожали губы. — Горб ей мешает... А не могу! Люблю, на все согласен! — он достал бумажник, вытянул перевязанную пачку денег.

— Желаю счастья! — удовлетворенно ответил рабочий, принимая пачку.

— Рубашку, штаны снимать?

— Непременно!

— Ну хоть покажи, где этот самый пресс! инструмент моего счастья? — разъярился от возбуждения Фенев.

— Ну вот! — кивнул рабочий на один из громоздящихся станков с трехэтажный дом высотой. — Штамповка под прессом, вот матрица, пуансон, год изготовления сорок девятый, харьковский станкостроительный...

— Куда ложиться?

— Ну на матрицу...

Фенев в секунду разделся догола и начал вскарабкиваться на наковальню.

— Падождь! — пряча улыбку, остановил рабочий. — Я ж тебя не нагрел! Пойдем, я тебя нагрее... ковка-то горячая!.. — и увидев, как изменился в лице Фенев, великодушно добавил: — Не бойсь! Финскую баню уважешь? ну эт того же свойства... вот сюда ложись! — и показал на выдвижную металлическую плитку небольшой камеры.

Фенев воздел к потолку руки, закрыл глаза.

— Если девка что надо, оно того стоит! — разговорился рабочий. — Я ради своей зубы вставлял, — показал золотые челюсти, — и друга своо ножом пропорол, с кровью!.. Потерпишь, покряхтишь, косточки поболят,

зато всю жизнь молодой и счастливый будешь!.. Ла-жись!..

Нагой Фенев лег животом на плиту, рабочий накрыл его колпаком и с шумом затолкал всю махину в печь.

Огромный, как стадион, летний кинотеатр в чаще у озера был забит иррациональным количеством народа. Народные волны давно уже потопили символические границы кинотеатра и постепенно, как шерсть, затягивали всю территорию парка культуры.

Повсюду висели репродукторы, из которых пузырилась единая высоколобая ясноглазая музыка.

Но вот все смолкло.

— Начинаем показательный диспут-процесс! — раздалось в репродукторах.

В темной каморке за сценой сидели на полу трое — Виля, майор Петр Богданых в какой-то робе и неизвестный, очень запущенный старик, жевавший свалывшуюся корку черного хлеба, которую он брал прямо из-за пояса грязных широких штанов.

— Вы о чем шепчетесь? — вскрикнул в полусне Петр Богданых, хотя его соседи подавленно молчали. — Поздно шептаться!..

Под потолком над ними пищали в темноте птенцы, там было гнездо.

— Мне плевать! — заскрипел Петр Богданых, тоскливо ворочаясь на полу. — Меня через месяц в аппарат на повышение... нигде такой раскрываемости нет!.. Главное, чтоб не разорвали, кордоны надежные, но масса, масса!.. И Дружбы народов тоже обещали, орден такой!.. А может, я проделывил? Может, министр меня посадил?.. Молчишь? — прицепился он к Виле. — Тебе-то твоя баланда всегда обеспечена!.. Есаульцев, Белый и Кузнецов!..

Пластина с нагретым под колпаком Феневым выехала из печи. Рабочий нажал кнопку на пульте, опустившиеся крюки крана подхватили пластину и, приподняв метра на три в высоту, установили на наковальне.

— Включаю штамп! — сказал рабочий и нажал на педаль.

Тысячетонный трехэтажный молот поднялся, завис и с завыванием обрушился на распростертого горбом наружу Фенева.

От этого необратимого удара в окрестностях началось землетрясение. Разбуженные скальные породы, преодолев свои скульптурные формы, вышли из берегов, горбатые урочища заворочались, с хребтов повалил камень.

— Это я сгребал твой пиджак! — вдруг заговорил в темноте запущенный старик, — ну вон от дома... вторую неделю пехал по городу! Мне бы в Барнаульскую область, Гелевку-станцию, а я еще в Москве куда-то не в то подсел... я из Орловской области ехал обратно к себе в Гелевку, гостил у сестры, да забыл, куда и как... с войны контузия, голова от дороги шумит, все теряю... милиция пять раз забирала, все деньги отняла и отпускала... мне б на поезд в Гелевку! А они говорят, посидишь сейчас тут с двумя, потом на поезд посадишь в твою Гелевку, Барнаульская область! — и он замолчал, напрягшись, кажется, вспоминая, ради чего заводил разговор. — Ну так ты меня прости, Пашку!.. Я на твои деньги и хлебца пожевать не успел, а снова забрали!..

— Ну что, прощаешь его? — с третьейкой нейтральностью спросил Петр Богданых. — Аммиаком от него несет, то есть, прости, мочой, поиздержался в дороге! Это не он, это народ виноват!..

— Как же мне тебя не простить? — заговорил Виля. — Прости, Пашка, ты меня, что из-за меня, есаула, и тебя прихватили!.. Я-то Есаульцев, никуда не деться, а ты за что пострадал!..

— Проклятый народ! — вновь заскрипел в отчаянии Петр Богданых. — Даже если полковника дадут, и то зайкой останусь!..

— Алаверды, Петр Богданых! — засмеялся Виля. — Вы ж учили меня, за веру все отдать можно!.. Переживем!

Отворилась дверь.

— Вперед, есаулы, вражьи скулы! — два милиционера вывели их из каморки. Здесь, в коротком коридорчике, они почувствовали подземные удары. Открылся проем сцены...

Тысячи горбунов, мужчин и женщин, детей и стариков, поднялись со своих мест и с протяжным промышленным гулом понеслись табунами под уклон, к сцене.

И долго-долго тянулись над волнуемым озером непрерывные породнившиеся шумы землетрясения и станочного народного возмездия.

Фенев, молодой, стройный, длинноногий, и Виля, кудрявый, заспанный, покидали на рассвете город.

Гладкая, безмятежная, цветущая степь без единой горбинки занимала все видимое пространство. Вся жизнь была впереди.

Но чем дальше они удалялись, тем более их силуэты теряли человеческий облик: теперь уже казалось, что это волк и ягненок мирно шествуют вдаль.

И волк был облезлый, и ягненок чахленький. Но царил между ними мир, и это стоило всего.

Богумил  
ГРАБАЛ

## ПОЕЗДА ПОД ОСОБЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ



**В** этот год, год тысяча девятьсот сорок пятый, немцы уже не господствовали в небе над нашим городком. А уж тем более — над всей округой, а тем более — всей страной. Пилоты пикирующих бомбардировщиков до такой степени дезорганизовали работу транспорта, что утренние поезда отправлялись в полдень, дневные — вечером, а вечерние — ночью. Иногда, правда, дневной поезд прибывал на станцию с точностью до минуты, но так случалось потому, что это был опоздавший ровно на четыре часа утренний пассажирский состав.

Позавчера вражеский истребитель обстрелял над нашим городком немецкий же транспортный самолет, да так, что у того отвалилось крыло. А потом загорелся фюзеляж, и самолет рухнул на какое-то поле. Крыло же, когда отрывалось от корпуса самолета, вырвало из него целые пригоршни различных винтиков, болтов и гаек, которые посыпались на городскую площадь, чуть не продырявив головы нескольким женщинам.

А крыло парило и планировало над нашим городком; все, кто только мог, любовались этим зрелищем до тех пор, пока оно на бреющем полете не пронеслось над самой площадью, на которую высыпали посетители

из обоих ресторанов; тень крыла мелькнула по земле, и люди бросились на другую сторону площади, а потом сразу же назад, туда, где только что стояли, — полет крыла напоминал движение огромного маятника, увлекшего жителей нашего городка за собой в сторону, противоположную месту его возможного падения; при этом крыло издавало все более и более громкий свист, тональность которого становилась все более напевной. Внезапно, после молниеносного броска вниз, оно приземлилось в саду ксенздадекана.

Не прошло и пяти минут, а люди уже набросились на крыло, отрывая от него жестяные пластины и металлические перекрытия. На следующий день листы жести стали крышами кроличьих клеток и курятников, а один шустрый умелец уже вечером того же дня выкраивал из жестяного листа всякие блестящие штучки, украсившие потом мотоциклы всего городка.

Таким образом, исчезло не только само крыло, но и все другие части самолета Третьей Империи, упавшего за городом на припорошенное снегом поле.

И я поехал туда на велосипеде спустя, примерно, полчаса после того, как самолет упал, чтобы посмотреть, что там и как. И уже

тогда мне навстречу попадались жители нашего городка, катившие тачки и тележки с захваченной добычей. Догадаться, что они там в своих тележках везли, было невозможно, и я ехал себе на велосипеде дальше. Мне просто хотелось посмотреть на этот разбившийся самолет — я терпеть не мог людей практичных и запасливых: чтобы я подобрал или отвинчивал какие-то там железяки или всякую прочую дрянь — это же додуматься надо!

По протоптанной в снегу тропинке, которая вела прямо к обгоревшим обломкам, шел мой отец и нес в руках какой-то серебряный музыкальный инструмент. Он улыбался, потрясая серебряными кишками, — это были небольшие трубочки, служившие самолету бензопроводом. Лишь дома, вечером, я понял, почему отец так радовался этой добыче. Он распилил трубочки на шесть—десять равных отрезков, разложил их перед собой, а рядом в качестве образца положил свой «вечный» карандаш с вставляющимся грифелем.

Мой отец мог смастерить все на свете, поскольку, как только ему стукнуло сорок восемь лет, он вышел на пенсию.

Отец работал машинистом на железной дороге и с двадцати лет ездил на паровозе. С выслугой лет у него было все в порядке, так как на этой работе для получения пенсии год считался за два, однако жители нашего городка с ума сходили от зависти, стоило им только подумать, что мой отец может прожить себе на этом свете припеваючи еще лет двадцать или даже тридцать. А отец, между прочим, и теперь вставал раньше всех, даже раньше тех, кто ходил на работу. Со всей округи он тащил домой всё: гайки, болты, подковы — любые железяки, какие только можно было подобрать на городских помойках. Дома он все это старательно сортировал и рассовывал по чуланчикам и на чердаке, так что дом наш выглядел свалкой металлолома. Если кто-то выбрасывал старую мебель, то ее обязательно подбирали мой отец, и поэтому, хотя мы жили втроем, у нас было пятьдесят стульев и кресел, семь столов, девять диванов и множество шкафов, а также умывальников с рукомыльниками. Но отцу и этого было мало — он объезжал на велосипеде ближайшие окрестности, перекапывал мотыгой помойки и возвращался вечером домой с богатой добычей: ведь все что угодно могло когда-нибудь да пригодиться. И пригождалось. Когда кому-то что-то было нужно — запасные части для автомобиля, молотилки или даже дробеструйного аппарата — и он не мог этого нигде достать или купить, он приходил к нам... Отец задумывался, после чего безосшибочно лез на чердак или заглядывал в один из чуланчиков, а иногда даже просто

подходил к сваленной во дворе груде металла, протягивал руку и доставал то, что было нужно просителю.

Вот почему все «железные» воскресенья проходили под руководством моего отца, и, когда весь собранный металлолом отвозили на железнодорожную станцию, отец каждый раз отсыпал небольшую часть.

И все же соседи несмотря ни на что никак не могли научиться прощать моему отцу что бы то ни было.

А все из-за того, что наш прадедушка Лукаш с восемнадцати лет получал ежедневную пенсию в размере одного дуката, который потом, уже во времена Республики, ему пересчитали в кроны. Мой прадедушка родился в тысяча восемьсот тридцатом году, в тысяча восемьсот сорок восьмом служил в армии барабанщиком и в этом качестве участвовал в сражении на Карловом Мосту, где студенты забрасывали солдат булыжниками. Один булыжник угодил прадедушке в колено, сделал его, таким образом, на всю жизнь инвалидом. С того времени прадедушка и стал получать пенсию — по дукату в день. На этот дукат он покупал себе бутылку рома и две пачки табака. Однако вместо того, чтобы сидеть себе дома, покуривая и попивая, он шлялся по улицам — его как назло тянуло именно туда, где люди работали. Прадедушка попивал свой ром, покуривал табачок и посмеивался над теми, кто работал, поэтому по нескольку раз в год прадедушку избивали до такой степени, что дедушка привозил его домой на тачке. Но прадедушка, как только зализывал свои раны, снова начинал приставать к людям, кому лучше живется, — им, работающим, или ему, инвалиду, так что его в очередной раз измордовывали совсем уж не по-христиански. И только падение Австрии отняло у прадедушки пенсию, ту самую пенсию, которую он получал в течение семидесяти лет. А уже во времена Республики пенсии перестало хватать на покупку бутылки рома и двух пачек табака. Тем не менее, каждый год прадедушку Лукаша где-нибудь да избивали до полусмерти, потому что он так и не прекратил хвастаться этими семьдесятю годами, когда ежедневно покупал на пенсию бутылку рома и табак. И так продолжалось до тысяча девятьсот тридцати пятого года, когда прадедушка вздумал похвастаться перед каменотесами, которых только что выгнали с работы, а каменоломню закрыли, и те его избивали так, что он умер. Доктор после говорил, что прадедушка мог бы прожить еще лет двадцать.

Ни одна другая семья так не въелась в печенки всему городу, как наша.

Мой дед — чтобы яблоко все-таки далеко от прадедушки Лукаша не упало — был в свою очередь гипнотизером и выступал с



крохотными развездными цирковыми труппами, однако весь город усматривал в его гипнотизерстве, лишь желание как можно легче, дуриком, проскочить по жизни. Но вот когда в марте тридцать девятого немцы перешли нашу границу, чтобы захватить всю страну, и их войска двигались на Прагу, один лишь наш дедушка вступил с ними в борьбу как гипнотизер, чтобы силой своей целенаправленной мысли задержать вражеские танки. Наш дедушка шел по дороге навстречу танкам, вперив свой взор в головную машину, за которой ехали моторизованные части пехоты. Из бронебашни танка торчал видимый по пояс немецкий солдат в черном берете, на котором красовалась эмблема — череп и перекрещенные кости. Мой дедушка шагал прямо на этот танк с вытянутыми перед собой руками и глазами посылал немцам импульс-приказ: поворачивайте и возвращайтесь туда, откуда пришли... И надо же — этот самый первый танк встал, за ним остановилась вся армия. Дедушка уперся растопыренными пальцами в броню танка и продолжал посылать немцам мысленный приказ: поворачивайте и возвращайтесь туда, откуда пришли! Поворачивайте... Минуту спустя немецкий офицер дал отмашку флажком, танк двинулся дальше, но дедушка не уступил, и танк переехал его, оторвав ему голову. Больше уже ничто не препятствовало вторжению немецких войск. Сразу же после того, как войска прошли, отец отправился на поиски дедушкиной головы. Дело в том, что головной танк так и остался стоять на полпути к Праге, дожидаясь какого-то специального тягача, поскольку дедушкина голова застряла между гусеницами и колесами. Отец умолил, чтобы ему разрешили достать дедушкину голову, а потом похоронил ее как полагается по-христиански, вместе с туловищем.

С той поры в моей родной сторонке не утихали споры. Одни утверждали, что наш дедушка был законченным идиотом, другие говорили, что не совсем, потому что если бы все вот так, как он, вышли навстречу немцам, да еще вдобавок с оружием в руках, то кто знает, как бы все для немцев обернулось.

Тогда мы еще жили за городом, а в город переехали позже, и мне, привыкшему к простору, всегда, когда мы приезжали в город, он казался каким-то страшно тесным. Полной грудью я мог вздохнуть лишь тогда, когда оказывался за городом. Но как только я возвращался в город, как только за мостом улицы и улочки съезживались и сужались, съезживался и как-то уменьшался в размере и я; у меня было, да и, наверное, на всю жизнь останется ощущение, что в городе из каждого окна за тобой наблюдает по крайней мере одна пара глаз. Когда кто-нибудь ко мне обращался, я моментально краснел, по-

тому что мне казалось, что всем без исключения людям кто-нибудь во мне да не нравился. Три месяца назад я перерезал себе вены на руках, хотя вроде бы никакого повода к этому и не было. Но на самом деле повод был, и я очень боялся, что каждый, кто на меня только посмотрит, сразу же догадается, что это был за повод. Вот почему на меня из каждого окна смотрели эти наблюдающие за мной глаза. Что может себе думать человек, когда ему двадцать два года? Я мог думать, что жители нашего городка смотрят на меня так внимательно потому, что подзревают меня в том, что я перерезал себе вены, чтобы только не работать, а они эту самую работу должны выполнять за меня так же, как делали это за нашего прадедушку Лукаша, и за дедушку Вильгельма, который был гипнотизером, и за моего отца, только затем ездившего четверть века на паровозе, чтобы уж потом всю жизнь ничего не делать.

В этот год немцы уже не господствовали в небе над нашим городком. Когда я по тропинке доехал до самого фюзеляжа самолета, снег на поле так блестел, как будто в каждом его кристаллике, в каждой снежинке бежала сверкающая секундная стрелка каких-то миниатюрных часов, переливающаяся на солнце всеми цветами радуги; я слышал это тиканье не только в каждой снежинке, но и на своей руке — мои часы тоже тикали, но тиканье еще и доносилось из обломков самолета. Я подошел ближе и убедился: действительно, тикали бортовые часы и даже показывали точное время — я сверил по своим часам. А потом я заметил, что там, в глубине, торчит, тоже блестя на солнце, белая перчатка, и я прекрасно понимал, что перчатка эта не сама по себе, а что она надета на чью-то руку, а рука тоже не сама по себе — она начинается от плеча, а плечо — это часть человеческого тела, которое погребено там, под этими обломками...

Я всей своей тяжестью навалился на педаль велосипеда, со всех сторон оглушительно тикали секундные стрелки миниатюрных часов, приведенные в движение солнечным блеском, а по железнодорожным путям весело грохотал товарный состав — он вез платформы с углем и, значит, возвращался из Мостецкого угольного бассейна; у одного вагона, прямо посредине состава, заклинило тормоз, металл раскалился докрасна, но немецкий паровоз радостно тянул даже и этот вагон с заблокированным тормозом.

Уже завтра я буду стоять на двухколейных путях на своей станции, где у всех поездов, идущих с запада на восток, согласно расписанию, — нечетные номера, а у поездов, идущих с востока на запад, — четные. Снова, после трехмесячного перерыва, я буду отвечать за движение поездов на станции, через которую проходят два пути с огромной пропускной

способностью; у первого магистрального пути — с запада на восток — первый номер, и все остальные подводющие пути, расположенные по правую руку, имеют нечетные номера: третий, пятый, седьмой и так далее, а все, прилегающие к магистрали номер два, — четные: четвертый, шестой, восьмой... Конечно же, эта нумерация предназначена только для нас, работников железной дороги; с точки зрения какого-нибудь болвана, стоящего на вокзальном перроне моей станции, первый путь будет пятым, второй — третьим, третий путь — первым, а четвертый — вторым...

Итак, раненько утром я надена мундир, черные брюки, голубую форменную рубашку и служебную шинель с медными пуговицами, которые мне мама начищает мелом; потом я застегну красивый воротник, на нем — как у шинели и у рубашки — такие же кокардочки, по которым каждый железнодорожник сразу поймет, какое служебное положение я занимаю. Приколотый к воротничку значок выпускника средней школы извещает всех о том, что у меня уже есть аттестат зрелости, а пришитая рядом золотыми нитками звездочка говорит о том, что я учусь в железнодорожном училище. Кроме того, на воротничке сверкает самый красивый из моих знаков отличия: крылатое колесо паровоза, украшенное голубыми и фиолетовыми цехинами и поэтому напоминающее золотого морского конька.

Я соберусь еще затемно, моя мама будет провожать меня взглядом — она будет неподвижно стоять за оконной занавеской точно так же, как за всеми окнами, которые я буду проезжать, будут стоять люди и так же, как моя мама, смотреть на меня из-за занавесок; я же буду себе ехать в сторону реки, где на полевой тропинке вдохну полной грудью так, как всегда, потому что я очень неохотно еду на работу на поезде, а здесь, у реки, так легко дышится, здесь нет никаких окон, никаких ловушек, никаких иголок, которые тебе внезапно могут сзади вонзиться в голову.

В канцелярии дежурного по станции все было по-прежнему, как и три месяца назад, до моего отсутствия. Блок, регулирующий работу шлагбаума, все так же напоминал огромную шарманку или какой-нибудь игровой автомат, телеграфный стол стоял у окна, из которого открывался вид на пятикилометровой длины дорогу, обсаженную с обеих сторон старыми яблонями, дорогу, конец которой венчал замок графа Кински; сегодня утром, как только вззошло солнце, замок стоял погруженный во мглу аж по второй этаж, и казалось, что он подвешен в воздухе на золотой цепи. На столе громозди-

лись три телеграфных аппарата полувековой давности, произведенные фирмой «Сименс Хальске», и три телетайпа. Здесь же стояли два обычных телефонных аппарата и три внутренних, все они постоянно включались и выключались, трезвонили и давали отбой, так что в канцелярии дежурного по станции не прекращалось нежное потрескивание, позванивание и щебетание, как в лавочке торговца певчими птицами.

Окно зала ожиданий все так же заслоняла зеленая портьера, схваченная медными кольцами, а рядом стоял металлический шкаф и автомат, компостирующий билеты.

Дежурный по станции пан Губичка<sup>1</sup> поздоровался со мной и тут же объявил, что мы будем работать вместе, потому что после трех месяцев болезни мне необходимо вновь пройти полный курс обучения. Затем господин дежурный спросил меня, который час, и отвернул мне рукав, однако на часы он даже не взглянул, а уставился на свежий еще шрам.

Я покраснел и тут же стал изображать что ишу свою красную форменную фуражку. Она лежала в шкафу, вся в пыли, и с внутренней стороны, на подкладке, были видны следы мышинных лапок. В сиянии лучей утреннего солнышка я чистил свою фуражку и слушал, как в голубятне воркуют голуби господина начальника станции.

За зданием станции были видны все препятствия на скаковой дорожке, вся трасса Большого Пардубицкого стипль-чеза, потому что граф Кински выводил скаковых лошадей полукровок, которые выигрывали ему не только Большой Пардубицкий приз, но и Большой Ливерпульский, стоивший почти миллион фунтов стерлингов, а по тем временам это были такие бешеные деньги, что граф тут же начал за малосеньким зданием нашей станции строительство огромного театра, кинотеатра и концертного зала для нашего городка, однако ни одно строительство закончено не было, после чего граф решил строить зернохранилище — вероятно, это было прекраснейшее зернохранилище на свете, вход в которое украшала римско-греческая колоннада. Зернохранилище это называли на английский манер — «ливерпулем».

Ровно в половине восьмого в канцелярию дежурного по станции вошел господин на-

<sup>1</sup> Большинство имен в повести Б. Грабала — «говорящие». Так, имя телеграфистки Зденички Святей можно было бы перевести как Святая; инспектора Слушный — Правильный, Любезный; связанной Виктории Фрайе — Победа Свободы; дежурного по станции пана Губички — как Поцелуйчик, а имя главного героя могло бы по-русски звучать как Милош Пипка. В повести не имеет собственного имени начальник станции. В одноименном фильме И. Менцеля по сценарию, написанному им совместно с Б. Грабалом, он Грличка — Голубка. (Прим. пер.)

чальник станции. Весил он более шести пудов, однако женщины говорили про него, что танцует он неправдоподобно легко. Редкие волосинки на голове он зачесывал так, что они пересекали лысину слева направо, с правой же стороны, от уха, шел зачес на противоположную сторону. Но когда господин начальник станции шел по перрону и дул ветер, то волосистой покров на его голове вставал, принимая форму готической арки.

Вот он открыл дверь своего кабинета. Никому бы и в голову не могло прийти, что у начальника такой малюсенькой станции может быть столь роскошно обставленный кабинет. На персидском ковре цвели голубые и красные цветы, три турецкие табуретки еще более подчеркивали его ориентальный стиль. Тяжеленный, красного дерева, инкрустированный письменный стол заслоняли листья огромной пальмы, создавая над венецианским креслом, стоящим у стола, некое подобие балдахина. И вообще весь этот кабинет производил такое впечатление, что его вместе с господином начальником станции можно было приподнять и унести как паланкин, в котором носят папу римского.

На комод в стиле рококо стояли мраморные часы, у которых вместо маятника были три позолоченных шара, вращавшихся попеременно то в одну, то в другую сторону, и каждый, кто слышал, как часы бьют, непременно обращал на них свой взор и говорил:

— Какой прекрасный бой у этих часов!

Кроме того, в кабинете стояла служебная тахта, покрытая шоколадного цвета клеенкой, а на стене висела большая написанная маслом картина, на которой был изображен паровоз курьерского поезда, отъезжающий с пражского вокзала Вильсона: во все стороны — и на железнодорожное полотно, и в небеса — из машины валит пар, и паровоз набирал ход, окутанный облаками этого пара. Картина не могла не взволновать любого служащего государственной железной дороги, не говоря уж о нашем начальнике, у которого в жизни было только две цели: чтобы его назначили государственным железнодорожным инспектором и еще — иметь право именоваться бароном Лански из местечка Роза, так как, проводя генеалогические исследования, он обнаружил, что в его жилах есть капля голубой крови. Таким образом, господин начальник был как бы двойных голубых кровей, поскольку железнодорожников всегда называли голубой аристократией.

Как бы то ни было, у господина начальника нашей станции было вполне понятное пристрастие к разведению голубей. До войны он страстно увлекался нюрнбергскими турманами — голубями с агрессивными черными

и белыми стрелками на крыльях. Ежедневно он сам чистил им голубятню, менял воду и подсыпал корм. Однако, когда немцы так варварски напали на поляков и завоевали их, господин начальник в один прекрасный день не открыл клетку и перед своим отъездом в Кралов Градец приказал вокзальному уборщику передуть всех до одного нюрнбергских турманов. Неделию спустя он привез польских сизарей, прекрасных птиц с красивой голубой грудкой и великолепными крыльями, украшенными белыми и сероватыми треугольничками, подогнанными, как кафель в ванной.

Я стоял на путях и прямо-таки физически ощущал, как на меня кто-то смотрит, — я обернулся, но лишь когда я посмотрел вниз, в открытое окно полуподвала, то там, в темноте, я увидел жену начальника станции, которая кормила гуся и смотрела на меня. Жена начальника станции мне очень нравилась — она частенько приходила в канцелярию и, просиживая там весьма подолгу, вязала спицами огромную скатерть; от этого ее вязанье веяло тишиной и покоем, а из-под ее спиц появлялись на свет все новые и новые цветы и птицы. Перед ней на телеграфном столе лежала раскрытая книга, над которой она склонялась в поисках дальнейших инструкций по вязанью, — это выглядело так, как будто она, играя на цитре, заглядывала в ноты.

Однако при всем этом каждую пятницу жена начальника станции резала кроликов, и делала она это таким образом: вытаскивала кролика из клетки, стискивала его ногами, а потом втыкала ему в шею тупой нож и подрезала горло; зверушка еще долго попискивала, потом его голосок слабел, а взгляд жены начальника станции оставался при этом точно таким же, как и во время вязанья скатерти. Она мне как-то объяснила, что когда кролик таким образом истекает кровью, то мясо у него становится значительно более вкусным и нежным. В своем воображении я уже видел, как она будет резать гусака: оседает его, как лошадь, прижмет его оранжевый клюв к шее, старательно выскребет ему темечко, а потом его кровь потечет в тазик; птица будет слабнуть и слабнуть, пока наконец совершенно не поникнет и не распластается на земле, тогда жена начальника станции останется сидеть только на носках своих полусогнутых ног.

— Стажер Грма! — услышал я голос начальника станции. Пришлось пойти в канцелярию, где я выпрямился, подтянулся и отпарировал:

— Стажер Милош Грма на служебное дежурство явился!

— Садись! — кивнул начальник станции, приподнимаясь из-за стола.

Пальмовый лист опустился мне на голову.

Начальник стоял передо мной, и его заплаканные глаза блуждали по моему мундиру. Он обнаружил непорядок, застегнул мне расстегнувшуюся на рубашке пуговицу и спросил:

— А заметил ли ты, дорогой Грма, отсутствие телеграфистки?

— Зденички Сватой? — уточнил я.

— Вот именно, сватой... — задумчиво вздохнул начальник станции. — Что, в городе ничего такого не слышно?

— Я не слышал. А о чем?

— Странно. Тут же прямо целые организованные экскурсии приезжают, чтобы посмотреть на нашего дежурного по станции, как если бы у него было четыре ноги! Или две головы! Ничего не скажешь, прославил нашу тихую станцию!

— Значит, господин дежурный по станции опять проштрафился? — спросил я. — Потому что когда я работал в Добровице и проходил практику под руководством пана Губички, то люди тоже приезжали со всей округи, чтобы только на него посмотреть... Это было как раз после того, как они вместе с одной дамой разодрали обивку на диване господина начальника станции...

— Австрийский клеенчатый диван? — начальник станции широко раскрыл глаза. — Такой же, как этот?

— В точности такой же, — подтвердил я.

— Ну-ка, Милош, присядь-ка, — ласково пропел начальник станции и оседлал второй стул, при этом почему-то прикрывая рукой ухо.

— Все было так, — начал рассказывать я. — Последний ночной пассажирский поезд уже ушел, а с нами с самого вечера в канцелярии дежурного по станции сидела одна очень изысканная дама — она пила вино и курила сигареты. Примерно в полночь господин дежурный по станции пан Губичка сказал мне: «Милош, хоть ты пока еще практикант, но мне кажется, что на тебя можно положиться. Я тебе доверяю. Подежурь здесь за меня пару часиков». Я согласился его подменить, и пан Губичка с дамой заперлись в кабинете начальника станции. Я приложил ухо к двери и слышу: «У тела свои запросы, киска, у тела свои права и законы».

— Ну и свинья, просто какой-то грязный боров! — начальник станции вскочил и посмотрел в окно, где за воркующими на переднем плане голубями и слонявшимися чуть подальше пассажирами стоял дежурный по станции. — И самое главное, — продолжал возмущаться начальник станции, — что его кобелиную натуру ну никак не распознаешь по его внешности!

Пан Губичка в это время засунул себе в ухо мизинец и вертел им так, как будто стремился вытряхнуть из уха последнюю каплю.

— В тихом омуте черти водятся, — вздохнул я. — А в час ночи, когда к товарному составу прицепляли вагоны с сахаром, я постукал в кабинет начальника станции и услышал оттуда такой звук, как будто там кто-то двигал гроб... И в ту же секунду раздался ужасный крик. Я ввалился в кабинет господина начальника, а там дама эта лежит на диване совершенно голая — вот так, с широко расставленными ногами. А пан Губичка — на полу в кальсонах, совсем как тот солдат в нашем костеле, когда вскрывали святые мощи. И тут пан Губичка говорит мне: «Милош, я неверно рассчитал ответный ход и свалился с алтаря любви...»

— Пятнистая гниена! — продолжал орать господин начальник, не отрывая глаз от окна, за которым, широко расставив ноги, стоял дежурный по станции и, задрав голову, смотрел в небо. — И как, ты говоришь, эта распутица лежала на диване? — повернулся ко мне начальник станции.

— Я покажу, если разрешите. — Я подошел к клеенчатому дивану, повалился на спину и задрал ноги вверх.

Начальник станции склонился надо мной и грозно прорычал:

— Пусть он так кувыркается со шлюхами на лавках в зале ожидания, а не на диване своего начальника!

— Потому что на диване господина начальника может сидеть только сам господин начальник, — поддакнул я.

— Вот именно! А для этого свинячьего хрюка вообще нет ничего святого!

Я сел и сказал:

— Это еще, господин начальник, не все. Посмотрите, пожалуйста! — Я взял начальника станции за руки и показал на диван: — Вот здесь, в этом месте обивка лопнула и подралась по всей ширине.

— Диван мне испортили! — взревел начальник станции. — Попролам разодрали! А это все потому, что для этих людей уже ничего не существует — ни Бога, ни черта, ни символа, ни аллегории. Они как будто одни живут на свете и все дозволено... А для меня вот нет. Для меня Бог существует. А вот для этого поросычьего борова существует только свинья отбивная с кнедликом и капустой...

Начальник станции тяжело сопел и все поглядывал на перрон, где маячила спина пана Губички.

— Это черт, — заявил он задумчиво. — Человек, который еще лет десять назад мог бы стать начальником какой-нибудь небольшой станции на одноколейном, разумеется, пути, не дослужился ни до одной звездочки. И ведь каждый раз одно и то же: вот-вот он должен пойти на повышение и вдруг совершает какую-нибудь глупость, в то время как я постоянно поднимаюсь по служебной лестнице вверх.

— Я слышал,— вставил я,— что вас скоро назначат государственным железнодорожным инспектором.

— Да, должны,— кивнул начальник станции.

— Ох! И у вас вместо трех звездочек будет одна, но зато большая, с инспекторской кокардочкой,— продолжал я.

— Да, Милош,— распылся начальник станции.— У вас перед глазами такой пример...— Он раскрыл шкаф и достал новый мундир, на который уже была пришита эта самая инспекторская кокардочка с фальшивой бриллиантовой звездой.— В моем лице вы имеете пример, достойный подражания, а между тем у меня такое чувство, что я мечу бисер перед свиньями...

— Такой государственный инспектор,— я закатил глаза,— это для железной дороги то же самое, как в армии майор, правда?

— Да, Милош,— согласился начальник.

По первому пути прогрохотал длиннющий товарный состав; он шел на хорошей скорости, и соединительные оси вагонов мощно и ритмично скрипели и позвякивали.

Господин начальник станции любовно, чтобы не помять, разгладил на мундире рукава и карманы и повесил его в шкаф, после чего достал корзинку с кормом, распахнул окно, и польские сизари влетели в кабинет; они бились в воздухе за право усесться на плечо господина начальника, так что в конце концов облепили его всего, как какой-нибудь памятник или фонтан; голуби ласкались, терлись о начальника клювиками, как будто бы их интересовал вовсе не корм, а лишь хорошее расположение и любовь начальника,— они клевали его в толстые щеки, но так нежно, словно были его маленькими детьми.

Товарняк вместе со своим грохотом исчез. Грохот всегда сопутствует поезду, находящемуся в движении, так же, как поезд стоящий всегда светит квадратами и прямоугольниками окон.

— А что же такого мог господин дежурный по станции сделать с нашей Зденичкой? — поинтересовался я.

— Жесточайшее зверство,— начальник улыбнулся и подставил своим голубкам губы.— Нет, даже зверь на такое не способен! Но, мой мальчик, к счастью, мне уже не нужно забивать себе этим голову и трепать нервы — дело расследует комиссия по уголовным делам в Краловом Градце. Короче говоря, этот наш чертов дежурный по станции во время несения службы в ночную смену уложил Зденичку на стол, задрал юбку и проставил ей на заднице все печати, имеющиеся на станции. Даже почтовый штемпель не забыл. А когда Зденичка вернулась домой, то ее мамаша все эти печати прочитала и сразу же принеслась сюда. Кричала, что подает жалобу в гестапо. Поэтому, Милош,

я обязан был составить протокол преступления. Кошмар! А Зденичке пришлось пойти в дирекцию, где все печати осмотрел сам господин генеральный директор государственных железных дорог. Ужас! — все более возбуждался начальник станции, а голубы, спадая с его плеч, били в воздухе крыльями, стараясь удержаться равновесие.

По другую сторону станционного забора, вдоль него, на вороном жеребце гарцевала госпожа графиня Кинска — она возвращалась с приусадебных угодий. В седле графиня сидела так, как будто составляла со своим скакуном единое целое.

Начальник станции, весь облепленный сизарями, вышел на перрон и поклонился графине, уже переехавшей через пути и направившей коня к зданию станционного вокзала, где она так легко соскочила с лошади, что ее брюки для верховой езды едва коснулись седла. Начальник станции поцеловал ей руку и вместе со всеми своими голубями медленно зашагал рядом. Выглядело все это очень естественно, и польские сизари вовсе не смущали графиню, даже наоборот: разговаривая с начальником станции, она сама подставляла им свою перчатку.

Дежурный по станции пан Губичка не мог оторвать от графини глаз.

— Знаешь, Милош, кем или чем бы я хотел стать? Я бы хотел превратиться в это седло! — он указал на оседланного вороного коня, после чего он сплунул, засмеялся и доверительно шепнул мне: — Милош, мне тут снился прекрасный сон. Мне снилось, что я — тележка, а госпожа графиня берет меня за дышло и направляет в сторону склада.

Он вновь очень нескромно и откровенно посмотрел на графиню, особенно пристально на ее ноги, а они все шли в сторону зернохранилища, этого самого нашего «ливерпуля». Начальника станции в такой степени потрясло сообщение, услышанное как раз в этот самый момент от графини, что даже голубы испуганно сорвались с его плеч и взмыли вверх. Графиня подала начальнику станции руку, которую тот с охотой поцеловал, но когда затем он захотел помочь ей забраться в седло, графиня остановила его жестом своей ручки и легко вскочила на вороного жеребца сама, раздвинув при этом на секунду ноги. Наблюдавший все это пан Губичка облизал губы и сказал:

— Ну и жопень!

И плюнул себе под ноги.

Графиня галопом неслась по дороге от станции, вороной конь контрастно выделялся на фоне снега, розово искрящегося на солнце.

Дежурный по станции пан Губичка делил всех женщин на две категории: тех, у которых наиболее выдающаяся часть тела начиналась от талии вниз, он определял, как и госпожу

графиню, словом «жопень», тех же, у кого самое интересное было выше талии, то есть красивые груди, он называл «сисястыми». Кроме того, все они еще были «дырками», «засосками», «лингвистками», «мочалками» и так далее.

Разгневанный начальник станции распахнул дверь в канцелярию и закричал:

— Пан Губичка, об этом деле уже сама госпожа графиня знает!

Рывкнув, он отвернулся и важно покачал головой, а затем медленно поднялся по лестнице на кухню, где перво-наперво несколько раз гневно постучал стулом об пол, после чего стал кричать в окно:

— Проклятый век эротики! Все, буквально все наэротизировано! Всюду одни сплошные соблазны! Всюду происходят любовные трагедии, в точности заимствованные из эротических фильмов или книжонок! Всех писателей, продавцов и распространителей порнографической литературы и картинок — под суд! Довольно направлять фантазию молодежи только на это! Вот один — четвертовал труп молочницы и наверняка еще разрезал бы на кусочки останки своей двоюродной сестры, если бы ему вовремя не помешали! В аптечной витрине на всеобщее обозрение выставлено женское бедро в разрезе, сделанное в натуральную величину. А молодежь всю эту пакость поглощает. У одного художника мастерская похожа скорее на бойню или мясную лавку — куда ни глянь, всюду груды человеческого мяса. Канибализм. Обнаружена некая Вранска. В сундуке. Полиция разыскивает блондина с золотой фиксой, ее дриятеля. Последний раз их видели вместе в баре «Корона», он ей купил импортное яблоко из Австралии. Тьфу! А ведь в перспективе только одно — убийство на сексуальной почве. На скамью подсудимых всех учителей и воспитателей, которые читают целые лекции по вопросам секса! Чем больше аморальности и разврата, тем меньше колыбелек и детских колясок и тем больше гробов! — хрипел начальник станции на кухне через окно.

А все это потому, что господин начальник был, с одной стороны, членом ОМО, то есть Общества Морального Обновления с центром в самой Праге, с другой же — графиня, когда заказывала у нас вагоны для перевозки скота, постоянно выговаривала ему насчет его холодности и равнодушия в вопросах веры. «Если не будет католической церкви, весь мир рухнет», — напоминала она.

Вот почему начальник станции всякий раз, как проходил мимо костела, то, если был в мундире, отдавал честь, а если в гражданской одежде, то снимал шляпу, кланялся и что-то тихо шептал.

В блоке затрещало, заскрежетало, и красное колесико заменилось белым, я вытащил из блока ключ и выбежал на перрон, где

отъезжающий локомотив уже давал гудок. Начальник станции наблюдал за всем этим как ни в чем не бывало — такое очищающее действие оказал на него его же собственный крик, как если бы он выплакался у Стены Плача. Пан Губичка рассказывал мне, что он привык точно так же кричать на свою супругу, а она, несмотря на то что вообще-то она дочь мясника из Воляр, вполне ему это позволяла, правда, четыре раза в год устраивая бунт, и, когда начальник станции особенно уж расхотелся и что есть мочи орал, что он ей сейчас объяснит, что значит порядочная женщина, начальская супруга швыряла в него всем, что только попадет под руку. Один раз перед Рождеством Христовым, когда муженек очень разорался, она затасила его в ванную комнату и так врезала по физиономии, что тот плюхнулся в ванну, где плавал рождественский карп.

Начальник станции вошел в канцелярию, и одного взгляда ему было достаточно, чтобы понять, что с регулировкой движения на станции у нас не все ладится.

— Ну что, мальчики, — отеческим тоном поинтересовался он, — ориентируетесь в ситуации или как?

— Перед нашим семафором военный транспорт стоит. — Рот пана Губички скривился в гримасе.

— Что, поезд особого назначения?! — у начальника глаза полезли на лоб.

— Он самый, с тремя восклицательными знаками, — подтвердил я.

— Вы вот это читали?... — он ткнул пальцем в висящий на стене приказ, подписанный уполномоченным Третьей Империи.

— Читали, — кивнул пан Губичка.

— А выводы сделали?

— Сделали, сделали, — засмеялся дежурный по станции пан Губичка.

— Смотрите, мальчики, ведь это можно квалифицировать как саботаж, — начальник погрозил нам пальцем и направился на перрон.

Из паровоза военного поезда специального назначения выглядывал бледный инженер Гонзик, ездивший встречать этот транспорт для сопровождения аж до станции Либих. Теперь он томился в поезде в качестве заложника с вытаращенными от страха глазами и молитвенно сложенными руками; его лицо торчало из окошка локомотива — всем своим видом он давал понять вокзальным дверям и окнам, какие муки выпали на его долю из-за этой нашей проклятой станции.

Начальник станции взял под козырек, я тоже вышел на перрон и тоже отдал честь. Паровоз затормозил, и с него прыгнули двое эсэсовцев, у каждого в руке был парабеллум. Они усталились на мою красную фуражку. Я щелкнул каблуками и еще раз отдал честь,

однако они — один с одной стороны, другой с другой — ткнули мне своими пистолетами под ребра, и мне пришлось влезть по ступенькам на паровоз. Поезд тронулся. Меня охватило какое-то странное чувство. Эсэсовцы были прекрасны, оба они выглядели так, как будто писали стихи или собирались сыграть партию в теннис, однако они были здесь, рядом со мной, на паровозе, а рядом с инженером Гонзиком стоял начальник поезда в тирольской шляпе, его лицо пересекал зарубцевавшийся шрам, тянувшийся через рот к подбородку и ниже. На машинисте тоже был мундир. Он держался за рычаги переключения скоростей, удобно развалившись в мягком кресле. Это был немецкий паровоз, работавший на каменном угле. Рядом с сиденьем машиниста находились тормозной и распределительный рычаги — и все это вместе напоминало инвалидную коляску, которую можно было закрепить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Мои ребра все еще ощущали стволы эсэсовского оружия, глаза обоих точно так же, как и дула парабеллумов, пристально, не двигаясь, следили за начальником поезда, который в свою очередь равнодушно поглядывал на проплывающий за окном пейзаж. Я заметил, как в усадьбе кто-то открыл чердачное окно и вылез на покрытую листовым железом крышу, человек поднял руки вверх, как бы сдаваясь. Вероятно, с поезда ему крикнули, наверняка на него нацелились карабины, автоматы или винтовки, однако тот по-прежнему стоял с поднятыми руками, как будто купаясь в солнце. Это был наш местечковый придурок Йордан, по будням пасший коров, а жаркие воскресные летние полдни проводивший таким образом: в сачок для рыбы он клал бутылку пива и, плавая на лодке, все время вытаскивал сачок из воды и наливал себе холодного пивка, после чего вставал на лодке во весь рост, вытягивал вверх руки, точно так же, как сейчас на крыше, и в купальных трусах, с протянутыми руками зывал к солнцу — он разговаривал с ним, издавая крики: «Эх, эх, эх!», а потом выпивал свое пиво до дна. В окне на кухне промелькнула жена начальника станции, ее лицо было разделено медным прутком, на котором висели кухонные занавесочки, но как раз в этот момент паровоз состава специального назначения миновал стоящий на пятом пути разбомбленный поезд, я повернулся, чтобы выяснить, как на это реагируют эсэсовцы, но они смотрели на меня так, как будто этот поезд разбомбил я.

— Du Arschlecker<sup>1</sup>, — процедил первый эсэсовец.

— Solche Schweine ist besser sofort schies-sen?<sup>1</sup>, — сказал второй.

— Dreissig Minuten Verspaetung<sup>2</sup>, — про-рычал первый и сильно ткнул меня парабел-лумом под ребра.

...А насколько же все было по-иному, когда три месяца назад я уезжал за своей смертью. Был вечер, я наклонился к окошку кассы — там сидела рыжеволосая кассирша — и ска-зал:

— Пожалуйста, билет!

Она меня узнала и спросила:

— До какой станции, господин дежурный?

— Мне туда, куда прежде всего упадет ваш взор, — произнес я.

— Какой взор? — она засмеялась. — Я все время смотрю только на эти билеты.

— Тогда, знаете, что... Давайте сделаем так. Смотрите мне прямо в глаза, а левой рукой доставайте один любой билет.

Она все продолжала хохотать.

— Но, господин дежурный, так я вообще могу торговать билетами в полной темноте.

Тогда я сказал:

— Сделаем по-еврейски: седьмой билет из седьмой пачки седьмой колонки — кругом семерка.

Кассирша протянула руку и, не спуская с меня глаз, достала билет:

— До Бистрицы, это недалеко от Бенешо-ва, двадцать восемь крон.

...Локомотив задрожал, вдали цветными кристалликами сияла снежная равнина, на солнце снежинки мерцали и таяли. В овраге лежали три конские туши — немцы выбросили их из вагона. Их раскинутые ноги торчали вверх, как колонны, подпиравшие невидимый небесный свод. Инженер Гонзик смотрел на меня грустно и одновременно злобно: на подотчетном ему отрезке пути поезд особо-го назначения неоправданно задержался на полчаса. Бесспорно, виноват в этом был я, поэтому-то эсэсовцы и затащили меня на паровоз и теперь как будто ждут условного знака, чтобы приставить дула своих пистоле-тов к моему затылку, нажать курки, распах-нуть дверцу и выбросить меня, наспигован-ного пулями... Я чувствовал это совершенно безошибочно и все-таки несмотря на это я надеялся, что это все просто так, что пронесет, что они на это не способны, — уж очень они были красивыми, эти эсэсовцы, хотя людей красивых я боялся всю жизнь, я никогда не умел разговаривать с красивыми людьми — тут же покрывался потом, заикался, любое красивое лицо действовало на меня ослепляюще и ошеломляюще, и я не мог взглянуть прямо в красивое лицо.

Зато начальник поезда с этим своим огром-ным шрамом, будто бы он в детстве упал

<sup>1</sup> Засранец (нем.)

<sup>1</sup> Расстрелять эту свинью, что ли? (нем.)

<sup>2</sup> Тридцать минут опоздания (нем.)

на осколки разбитого горшка, теперь устался на меня. Я поднял руку и ухватился за брезентовые поручни, висящие под крышей паровоза.

Сделал я это потому, что начальнику поезда стоило только взглянуть на меня, чтобы сразу понять, что я обычный дуралей, которому в дирекции железнодорожной станции в Краловом Градце приказали стоять на путях и поднимать или опускать палку-плечо семафора, когда немецкая армия будет проезжать через его станцию сначала на восток, а теперь обратно. Сам себе я внушал: «Все немцы — сумасшедшие. Очень опасные сумасшедшие». Я, конечно же, тоже был немножко чокнутым, но это было мое личное дело, в то время как немцы в свое безумие травляли других.

Один раз на пятом пути стоял целый эшелон солдат, они болтались по станции и бежали в деревенский магазинчик за провизией и конфетами. Продавались там и плитки искусственного меда. И вот один солдат решил потихоньку стащить плитку — вытянул ее снизу, а все остальные плитки взяли да и рухнули, хозяин лавки посчитал и сообщил, что не хватает пяти плиток, так командир приказал эшелону занять в поезде свои места и рыскал по всем вагонам до самого вечера, но так ничего и не нашел, и тогда лично отправился в лавку, официально и торжественно заявив, что в результате обыска плиток искусственного меда не найдено. А может быть, это были те самые немцы, которые сейчас стояли рядом со мной в паровозе, — ведь возможно, что это были именно они.

Кочегар весело мне подмигнул и стал размеренными ритмичными движениями подбрасывать лопатой уголь в топку; сначала он кидал его в самую глубь, затем на середину, чтобы последнюю лопату угля уложить на самом краю печи.

Начальник поезда посмотрел на свое запястье, шрам был в том же месте, что и у меня; рукав моей рубашки был завернут, и начальник поезда читал мою зарубцевавшуюся рану, как книгу. Наверняка этот человек знал на свете многое и воспринимал все уже как бы в иной плоскости, глаза у него были, как два куска алунита. Все всматривались в мое запястье; начальник поезда отвернул мне второй рукав и задержал взгляд на втором шраме.

— Kamarad<sup>1</sup>, — произнес он.

Он подал знак, и военный состав особого назначения стал плавно тормозить, дула парабеллумов больше не упирались мне в спину, но я даже не обернулся, чтобы посмотреть на двух прекрасных эсэсовцев, я впился

глазами в пол, на котором от хода поезда подрагивали тяжелые железные пластины.

— Geh<sup>2</sup>, — кивнул начальник поезда.

— Спасибо, — прошептал я.

И все-таки я не был до конца уверен: не игра ли это, не забава ли... Я распахнул дверцу, нащупал ногой первую ступеньку, затем, спускаясь все ниже и ниже, тронул ногой насыпь, я как будто танцевал танец «казачок», наконец я почувствовал землю и встал, а локомотив тронулся дальше и мимо меня медленно проплывали вагоны с «тиграми»; некоторые солдаты держали в руках открытые консервные банки весом с килограмм, у них были закатаны рукава, и они втыкали ножи в куски мяса; другие просто сидели и держали на коленях автоматы, болтая ногами в высоких ботинках, как будто они мыли их в ручье.

Когда вагоны один за другим вот так пролетали мимо меня, я все еще испытывал ощущение, что моя спина продолжает оставаться прекрасной мишенью...

В последнем вагоне поезда везли скот; дверь вагона была распахнута, и на натянутых веревках колыхались черные женские чулки — вероятно, их развесили медсестрички из походного военно-полевого госпиталя. Я все еще находился в сфере досягаемости немецких парабеллумов, винтовок, карабинов, пистолетов и автоматов, так как все, что касается немцев, я испытал на собственной шкуре: никто не мог точно сказать, на что они способны. Пани Караскова, нашу соседку, они взяли сразу же, в сороковом году, а освободилась она и вернулась только в прошлом, под Рождество Христово; все эти четыре года она провела в Печкарне — там она смывала кровь после экзекуций, четыре года она смывала кровь, и сам господин палач относился к ней с симпатией и уважением, подбрасывал ей ветчину и просил, чтобы она ему спела «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные...». Обращался он к ней только таким образом: «Вы бы не соизволили сделать...» или же: «Будьте добры, пожалуйста...» А потом вдруг ее ни с того ни с сего спровадили домой да еще дали какой-то извинительный документ, однако пани Караскова ничего в этом не понимала — в голове у нее все перемешалось, — но на бирже труда работа для нее нашлась сразу же: в кочегарке ей сунули в руки банку с машинным маслом, и ее обязанностью стало смазывать и протирать роликковые и шариковые подшипники у машин.

Я приближался к тому месту, где рельсы делали крутой поворот, — издали было видно двенадцать торчащих вверх копыт дохлых лошадей. Но все мои мысли были только о Маше; я вспомнил, как мы встретились

<sup>1</sup> Друг (нем.)

<sup>2</sup> Пошел (нем.)



в первый раз, когда я еще работал у начальника железнодорожного перегона, который выдал нам по ведру красной краски, чтобы мы покрасили ограждение вдоль всего нашего участка железной дороги, так что Маша начала свою трудовую деятельность так же, как я; мы стояли друг против друга, нас разделяла высокая проволочная ограда, под ногами у каждого из нас стояло ведро с краской, в руках — кисть, и мы топтались друг напротив друга, крася забор каждый по свою сторону, лицом к лицу; заграждение это тянулось километра на четыре. Мы встречались каждый день в течение пяти месяцев и все с Машей друг другу сказали, но между нами по-прежнему существовал забор; однажды, когда километра два было уже пройдено, я мазнул красной краской по проволоке на высоте Машинных губ и сказал ей, что люблю ее, она покрасила проволоку в том же месте с другой стороны и сказала, что тоже меня любит... и посмотрела мне в глаза,— а дело происходило в овраге, в высокой лебедь,— я потянулся к Маше, она подставила губы, и мы поцеловались через свежепокрашенную проволоку, но когда мы открыли глаза, то у нее на губах была полоска красной краски, у меня — тоже, мы расхохотались и с тех пор были счастливы.

Когда я наконец добрался до трех лошадиных трупов, то уселся на брюхе одной лошади, прислонясь головой к торчащей замерзшей ноге. Широко раскрытый глаз другой лошади был уставлен на меня так, будто этот дохлый конь вместе со мной только что пережил то, что минуту назад должно было произойти.

...Я поднимался по ступенькам отеля в Бистрице около Бенешова; в коридоре работал каменщик в белом фартуке — он проделывал в стене отверстия, чтобы вбить туда два крюка, на которых должен был висеть огнетушитель марки «Минимакс»; каменщик был весьма пожилым человеком, но плечи у него были такими широкими, что ему пришлось повернуться боком, когда я проходил по коридору; каменщик насвистывал вальсок из «Графа Люксембурга», а я вошел в номер — время было обеденное,— достал в ванной два лезвия «жилетт», вставил одно в щелку между досками табуретки, стоящей рядом с ванной, второе положил рядом и, насвистывая вальсок из «Графа Люксембурга», сбросил с себя все и отвернул кран с горячей водой, потом вдруг задумался и потихоньку приоткрыл дверь. Передо мной стоял каменщик, как будто бы это он открыл дверь из коридора, чтобы посмотреть на меня. Я захлопнул дверь и медленно залез в ванну; поначалу я чуть не ошпарился, так как вода была очень горячей, мне пришлось присесть на корточки и осторожно опуститься в воду. Потом я вытянул левую руку и пра-

вой рукой провел бритвой по запястью левой, затем я со всей силы ударил правым запястьем по острию второго лезвия, зажатого между досками табуретки. Обе руки я сунул в горячую воду и наблюдал за тем, как из меня медленно вытекает кровь, как вода постепенно становится розовой, а темно-красная кровь все течет и течет плотными лентами, как будто из меня кто-то вытаскивал длиннющие бинты... Я потихоньку застывал в воде — так густела и застывала краска, которой мы с Машей покрасили забор вдоль нашего участка государственной железной дороги, так что нам приходилось разбавлять ее скипидаром... моя голова свесилась на грудь, а рот наполнился густым малиновым лимонадом с чуть солоноватым привкусом... а потом замелькали белые и фиолетовые круги, упруго пружинящие, как разноцветные спирали... надо мной склонилась какая-то тень, и моя щека почувствовала колючую щетину на чьем-то подбородке. Это был каменщик в белом фартуке. Он подхватил меня и выловил из воды, как большую красную рыбу, из запястий которой торчат пурпурные плотвички. Моя голова легла на его грудь, я почувствовал, как мое мокрое лицо гасит известь, и этот запах гашеной извести было последним, что я помнил...

Я сидел на дохлой лошади, голова опиралась на торчащую ногу, на фоне неба она круто взмывала ввысь, я поглаживал клочок конских волос — такие гривки всегда бывают у лошадиных шиколоток... мимо меня, весело постукивая, прогромычал товарняк. Вагоны то заслоняли солнце, то вновь мелькали просветы, я задрожал и почувствовал во рту вкус слюны — ведь все началось у дядюшки Нонемана в Карлине. Я ночевал у Машиного дяди, мне постелили в ателье на диване и дали плед, чтобы укрыться, а сверху накинули матерчатую ширму, на которой была нарисована Прага, а над ней самолет, в котором клиенты фотоателье желали фотографироваться в качестве пилотов или пассажиров, иногда в кадре помещались целые забавные группки... Когда в доме наступила полная тишина, пришла Маша и скользнула ко мне под плед и ширму с самолетом, она стала меня гладить и прижиматься всем телом, я отвечал ей тем же и чувствовал себя мужчиной, но я был мужчиной лишь до того момента, когда это должно было свершиться,— тут я сразу уял и... все. Маша пыталась меня растормошить, но я одеревенел, как будто потерял власть над всеми членами своего тела, час спустя Маша выскользнула из-под пледа с ширмой и ушла в комнату, где спала тетя... Утром я сначала даже не решился на нее взглянуть и сидел в ателье, зажатый и скованный, а клиенты приходили, просовывали голову в дырку в ширме, под которой прошедшей ночью я

приобрел такой ужасный опыт, забирались на лесенку, усаживались в кресло, а дядюшка Нонеман давал каждому в руки бутылку или лейку, затем залезал под юбку своего фотографического аппарата, поднимал вверх руку, делал знак, как дирижер в оркестре, вновь трепыхался под куском темной материи и через пять минут приносил фотографию, потому что при входе в его фотоателье красовалась огромная вывеска: «Через пять минут готово!»

До обеда желающие фотографироваться все шли и шли, пока наконец не явились двое немецких солдат, и, когда один из них забрался в кресло, а второй на лестницу и дядя Нонеман расставил перед ними ширму с самолетом, раздался оглушительный грохот, после чего по ателье как будто пронесся ураган — мощный порыв воздуха повалил ширму с самолетом, в результате чего двое солдат тоже свалились на пол, упал дядюшка, запутавшись в своей накидке для фотоаппарата, но и этого было мало: пришедшая в следующую секунду воздушная волна оказалась еще сильнее первой, и я увидел, как рухнула стена ателье, как порыв подхватил дядюшку и обоих солдат и как бы вытолкнул вместо них из комнаты Машу и ее тетю, которые, противясь порыву ветра, старались одернуть задравшиеся юбки, но это им не удавалось, их прически развевались и заслоняли все небо; всех нас еще раз подбросило, и мы, подпрыгивая, как мячики, очутились на лужайке перед домом... последней на лужайку была выброшена вывеска: «Через пять минут готово!»

По главной улице пробежали какие-то люди, после чего наступила тишина, а затем завывли сирены и появилось несколько санитарных машин; ободренные прохожие хохотали, как ненормальные, кое-кто даже, скорчившись от смеха, свалился на нашу лужайку, а потом один человек указал рукой в направлении Высочаны и крикнул:

— Люди, ну что за проклятый налет!

Он посмотрел на огромную валяющуюся на лужайке вывеску и совсем в ином смысле произнес вслух то, что там было написано:

— Через пять минут готово!..

Я пролез под шлагбаумом, на пятом пути стояли пассажирские вагоны. Весь состав выглядел чудовищно, на первом вагоне я прочитал: «Государственная железная дорога. Станция назначения — Краков».

Вот так у нас партизаны «разбирались» с немецким железнодорожным транспортом прямо здесь, неподалеку от линии фронта: ни в одном пассажирском вагоне в окнах не было стекол, все вагоны были изрешечены пулями, отчетливо выделялись следы авто-

матных очередей, разрывов гранат и противотанковых снарядов.

Это были пассажирские вагоны старого образца, давно снятые с производства, — в каждом купе двери были с обеих сторон, и почти на каждой двери виднелись темно-бурые следы засохшей крови. Я стал заглядывать в купе — всюду было то же самое: осколки разбитых окон на полу, расчески, вырванные вместе с «мясом» пуговицы, оторванные рукава мундиров и гимнастеров, окровавленные кальсоны, пропитанные кровью носовые платки, разбросанные шахматные фигурки, пасьянсные карты, зеркальца, губные гармошки, припорошенные снегом письма, размотанные бинты и даже детский воздушный шарик.

Я поднял одно письмо с отпечатавшимся на нем следом кованого солдатского сапога.

Письмо начиналось словами: «Meine lieber Schnucki Pucki...»<sup>1</sup> и заканчивалось — «Deine Luise»<sup>2</sup>. Рядом были отпечатаны следы губной помады. Из угла мне улыбался расшнурованный солдатский ботинок с высунутым языком. На полу валялись две мертвые вороны...

Когда вышел из больницы, стояли такие морозы, что в лесу за нашим городком, куда слетались стаи ворон, деревья были облеплены этими черными птицами, они блестели на ярком морозном солнце, но едва я подошел к лесной опушке, как увидел тысячи ворон, валявшихся на земле, — они лежали под каждым деревом, как перезрелые сливы венгерки, и даже те, что сидели на ветках, даже они были мертвыми, замерзли во сне. Я несколько раз ударил ногой по стволу дерева. С ветвей и сучьев в облаке инея посыпались и мертвые птицы, некоторые задевали мое плечо, но они были такими легкими, что казались мягкими черными берегами.

Я соскочил со ступеньки последнего вагона поезда, стоявшего на пятом пути, и заглянул в канцелярию. Дежурный по станции пан Губичка сидел, закинув ноги на телеграфный стол и поместив ладони под мышками, подбородок опустился на грудь. Он спал. Я тоже засыпал на службе, когда было уж совсем невмоготу.

Человека иногда охватывает такое непреодолимое желание вздремнуть, что лучше всего поддаться ему сразу же, не противясь, и поспать хоть немного при первой же возможности. Но поскольку ты спишь на дежурстве, то твой сон регулируется какой-то специальной, не исследованной еще сигнальной системой. Все твоё тело погружено в глубокий сон, однако в голове дежурного не пре-

<sup>1</sup> Мой дорогой Мусик-Пусик... (нем.).

<sup>2</sup> Твоя Луиза (нем.).

крадывает какой-то сторожок, улавливающий сигналы тревоги. И достаточно тихоноко застрекотать телеграфному аппарату, как дежурный по станции тут же вскакивает, нажимает на рычажок, принимающий сигнал, после чего вновь садится и засыпает мертвецким сном, но, когда сообщение, передаваемое на белой полоске бумаги, перестает поступать, дежурный немедленно просыпается, телеграфным кодом передает сигнал о приеме сообщения, останавливает аппарат, садится и продолжает спокойно спать. Хороший дежурный по станции ставит сторожевую форсунку и засыпает — он слышит все: приближающиеся шаги, слышит, как нервничает паровоз проходящего поезда, потому что по ошибке въехал на тупиковый путь, и достаточно, чтобы в блоке раздался еле слышимый звук, — как если бы кто-то в чашку с кофе опустил чайную ложечку, — дежурный по станции — хороший, разумеется, дежурный — тут же встрепенется и идет принимать сообщение.

На лестнице раздалися шаги: это шел начальник станции; дежурный опустил ноги и встал. Начальник был в старой форме, брюки и рукава которой были заляпаны голубиным пометом — наверняка собрался чистить голубятню.

Я тоже вошел в канцелярию.

— Дежурный Милош Грма для несения службы прибыл! — прокричал я.

Меня тут же стали похлопывать по плечу и жать руки, начальник станции даже прослезился.

— Милош, ну сколько раз я говорил, что надо быть все-таки осторожнее... И еще раз могу повторить то же самое, — он повернулся и указал пальцем на висевший на стене приказ. — Сам господин имперский уполномоченный заявил недавно в Краловом Градце, что не будет колебаться ни секунды, чтобы для установления порядка и для примера расстрелять нескольких чешских дежурных! — Он утвердительно кивнул головой, гулявший по перрону голубь громко заурчал, и в дверь канцелярии ворвалась целая стая польских сизарей.

На станции прибыл товарный состав. Начальник станции вышел на платформу, стая голубей взвилась в воздух, затем сизари по одному стали садиться на плечи и голову начальника, так что ему пришлось растопыривать руки, и голуби облепили его, словно какой-нибудь памятник на площади. Господин начальник был страшно доволен, что и машинист паровоза, и кондукторская бригада смотрят в его сторону и все видят — машинист даже перестал вытирать тряпкой руки и уставился на начальника станции, а тот медленно двигался по перрону, неся на себе всю эту стаю, бурно трепыхавшую крыльями, чтобы удержаться.

— Опять паршивый уголь дали, — сплюнул машинист паровоза. — Второй раз приходится пар пускать.

— А как вообще жизнь? Все рисуете? — спросил дежурный по станции.

— Все рисую, — кивнул машинист. — Сейчас вот море рисую. А этот ваш начальник мог бы со своими голубями в цирке выступать. Ей-богу!

— В театре марионеток, — уточнил дежурный по станции. — А вы море взялись рисовать? Ну-ну...

Я стоял на перроне и наблюдал за машинистом поезда, за кочегаром, за бригадой кондукторов и понимал, что они сделали остановку на нашей станции лишь затем, чтобы посмотреть на пана Губичку, соответствует ли его внешность тому, что о нем говорят: будто бы он во время ночного дежурства задрал молоденькой телеграфистке юбку и проставил ей на попке все печати, какие только были на станции.

— Да, море, — еще раз подтвердил машинист, глядя на дежурного по станции пана Губичку расширенными от интереса и удивления глазами. — Перерисовываю море с открытки. В увеличенном виде.

— А если попробовать так, с натуры? — любопытно спросил дежурный по станции.

— Да ну ее, эту натуру... В натуре все уж очень движется, — машинист рассмеялся, обернулся в сторону почтового вагона, подмигнул — рассмеялись все. — Если рисовать с натуры, то все нужно изображать меньше, чем на самом деле. Я один раз накололся на этой натуре, хватит. В школе, в живом уголке, взял лисенка, привязал к дереву, присыпал листьями и только собрался нарисовать, как прибежали два здоровенных пса и разодрали этого лисенка. Триста крон собакам под хвост! Так что к чертовой матери эту натуру!

Дежурный по станции задрал голову и уставился в голубое небо. Я сделал то же самое и увидел то же, что и он: весь небосклон заслоняла лежащая фигура нашей телеграфистки Зденички, которой пан Губичка деликатно задирает юбку, после чего берет одну за другой все лежащие под рукой печати и энергичными движениями проставляет их оттиски на голой попе телеграфистки... я также видел, что и бригада кондукторов, и начальник поезда, и вся прочая обслуга паровоза смотрят на небо и видят там то же самое: все нюансы этого удивительного события, ради которого они сделали на нашей станции вовсе необязательную остановку под предлогом, что им выдали плохой уголь.

А когда все насмотрелись, то стали изучать нашего дежурного по станции пана Губичку, который вдруг внезапно, в один миг стал прекрасен. Ах, как ему шли вот эти глубокие морщины вокруг рта и чуть кривоватые ноги!

Я понял, что он обладает неоспоримыми чарами, делающими его неотразимым для женских сердец.

— А знаете, как я срисовываю море с открытки? — продолжал машинист. — Дощечку, на которой я рисую, я зажимаю в тиски, кнопкой прикрепляю открытку и работаю. Только вот рука у меня какая-то не та: никак не удается передать этот размах моря, этот шум настоящих волн, который слышится с открытки.

— А вы сделайте вот как, — задумчиво произнес дежурный по станции пан Губичка. — Зажмите открытку в тиски вместе с дощечкой. Потом возьмите кисть, вот так, и водите ею над волнами, сначала по открытке, а потом, когда ваша рука приноврится и почувствует этот размах волн, увеличьте амплитуду размаха, чтобы волны становились все большими и большими, и, когда они будут такими, как бы вам хотелось, начинайте рисовать...

— О господи! Ну и фантазия у вас! Как это мне самому в голову не пришло?! — машинист все никак не мог прийти в себя от восторга и восхищения.

Я вбежал в канцелярию дежурного по станции — телефон надрывался, а из голубятни доносился голос начальника, ругавшего за что-то своих голубей. Мне вдруг пришло в голову, что хорошо бы как-нибудь спрятаться в голубятне и в какую-нибудь щелочку посмотреть, что там начальник со своими голубями делает... Мне казалось, что голуби даже смеются над тем, что начальник станции им выговаривает и что он готов схватить провинившегося голубка, положить себе на колено и отшлепать по заднице...

Я поднес к уху бакелитовую трубку телефона и взглянул на перрон, где в лучах солнца стояли мужчины; как раз в этот момент машинист нагнулся и стал что-то шептать на ухо дежурному по станции, я отвел взгляд в сторону и ужаснулся: из вагонов, служащих для перевозки угля, торчали коровьи рога, несколько голов высунулись, и на перрон уставились большие и грустные коровьи глаза. Почти в каждом вагоне пол был продранен коровьими копытами, и из щелей торчали неподвижные, посиневшие, ободранные коровьи ноги... Я этого просто не переносил, больше всего я не любил, когда везли голодных телят и поезд останавливался на моей станции, через полуоткрытую дверь я хоть просовывал им пальцы, чтобы как-то заменить им вымя... нет, очень мне все это не нравилось, все эти отправляющиеся на бойню козлята, ягнята с крепко связанными ножками, ох, как непереносимо было видеть, когда во время жутких морозов в пражские боины везли в открытых вагонах поросят; поросятки прижимались друг к другу головками, боясь шевельнуться, чтобы при этом

единственном движении не растерять остатки драгоценного тепла, поросятки, с дрожащими от холода ножками и фарфоровыми копытцами! Нет, это мне и в самом деле не нравилось! Не нравилось мне это и тогда, когда в одуряющие жаркие летние дни их, бедняжек, везли откуда-то из Венгрии без капли воды — целые вагоны поросятки с широко раскрытыми от жажды рыльцами, похожими на клювики умирающих без воды птиц...

Я выбежал из канцелярии.

— Откуда груз? — спросил я у начальника поезда.

— Да с фронта, скотина уже десятый день в дороге... — он махнул рукой.

Я вскочил на платформу вагона и заглянул вниз.

Все стадо было поражено сапом, несколько коров пало, у одной под хвостом висел уже разложившийся мертвый теленок... Отовсюду — только эти жуткие, полные немного укора коровьи глаза, от которых к горлу подкатывался ком. Целый состав несчастных животных с умоляющими глазами.

— Немцы свиньи! — крикнул я.

Начальник поезда махнул мне рукой и тоже крикнул:

— Свиньи это еще мало! Там, в самом конце, в трех последних вагонах, — овцы, уже больше половины передохло, а те, которые еще живы, одна другой шерсть с голодухи повыщипывали...

— Есть пар! — громко оповестил машинист и чуть потише добавил: — Слышали? Вчера ночью партизаны взорвали поезд специального назначения под Йиглавой. И так ловко сработали, что весь состав рухнул в пропасть, а второй взрыв разворотил пролет моста, и все посыпалось вдогонку поезду...

Он влез на свой локомотив и потянул на себя рычаг, поезд тронулся, таща за собой вагоны, из которых торчали рога и глаза, а снизу — раздробленные и переломанные, ободранные и грязные от гари и копоти — ноги.

За зернохранилищем, за нашим «ливерпулем», у ramпы стояли вагоны, предназначенные для пражских боен. Их подтащил паровоз, который у нас называли «ракета». Затем подошли два военных состава специального назначения: одни танки, только «тигры», в паровозе каждого поезда специальный сопровождающий — наверняка следствие удачной ночной операции партизан под Йиглавой.

Со стороны деревни к станции гнали стадо, упирающихся буренок подстегивали. Одна корова от отчаяния улеглась на дороге. Подростки-погонщики сунули ей под хвост пучок соломы и подожгли. Затем из усадьбы выехала телега, лошади с усилием натягивали

постромки в упряжи, так как сзади был привязан бык: колени были искалечены, а ноздри разодраны — он вырвал себе из носа кольцо. Теперь его привязали за рога к телеге, которая его и тащила. Он слишком поздно понял, что девушка его обманула и предательски отдала на растерзание мясникам, — он ведь продало потянулся и пошел за запахом ее юбки, к которому он привык и за которым пошел бы на край света. А теперь вот телега волокла его за собой, как плуг по тающему снегу, и кровоточащие колени оставляли за собой два красных следа.

— Милош! — дежурный по станции пан Губичка обернулся и взял меня за подбородок. — Я этого никогда не забуду, что там, на эсэсовском локомотиве, ты был вместо меня. Это же я должен был там оказаться.

— Немцы свиньи, — сказал я.

Я взял трубку, и лицо мое с перепугу вытянулось.

— Господин дежурный по станции, у нас стрелка семафора опустилась!

— Для какого поезда у нас стояло «путь свободен»?

— Для «ракеты».

— Плохо дело...

— Господин дежурный, — предложил я, — давайте я подкочу туда на велосипеде и просто подержу стрелку в положении «путь свободен»...

Я пулей вылетел из канцелярии и уже через секунду ехал по тропинке мимо «ливерпуля» по направлению к семафору. По железным скобам я забрался наверх, закрепился там и приподнял стрелку семафора, а локомотив, прозванный нами «ракета», уже приближался, он вез на фронт провиант и выпивку для офицеров, а также почту, «ракета» всегда проходила нашу станцию без остановок, преимущество перед ней имели лишь воинские эшелоны специального назначения; машинист, увидев меня на семафоре, рванул тормоз, но я достал свой сигнальный фонарь и зеленым светом стал подавать знак, что путь свободен, он вновь набрал скорость, и «ракета» с цепочкой товарных вагонов пролетела мимо меня; всего меня обволокли клубы дыма, и, лишь когда он стал понемногу рассеиваться, я увидел дежурного по станции — он стоял и смотрел на мигающие оси, паровоз двигался как бы в снежном облаке, увлекая снег за собой, и за последним вагоном клубилась снежная вьюга, в которой мелькали то бумажки, то веточки...

Потом настало время обеденного перерыва; я разогрел себе на плитке суп в голубой баночке, поставил сторожок для дрезины, пан Губичка положил ноги на телеграфный стол и уставился в окно на голубое небо.

— Ничего не говорили, чья это дрезина? — спросил он.

— Вроде бы начальника участка, — ответил я, помешивая ложкой суп в голубой банке.

Внезапно дверь тихонько приоткрылась, и в канцелярию вошел некто — серые брюки, начищенные до блеска ботинки, демисезонное пальто.

— Ничего не скажешь, неплохо вы тут устроились, — заметил незнакомец.

— Вам так кажется? — вежливо спросил я, продолжая хлебать суп; дежурный по станции пан Губичка вообще не шевельнулся — ноги так и оставались на телеграфном столе, голова закинута вверх, глаза устремлены в голубое небо.

— Вам известно, кто я такой? — спросил вошедший.

— Известно, — кивнул я головой. — Вы, наверно, сопровождаете поезд со скотом...

— Возможно, — согласился незнакомец и продолжал: — А знаете ли вы, кто ваш начальник?

— Знаем-знаем, — опять кивнул я, — только он сейчас занят в голубятне.

— Ваш начальник здесь! — взорвался незнакомец. — Вы хоть догадываетесь, кто я? — переспросил он еще раз и сам же себе ответил: — Я — Слушный, директор путей сообщения.

От самых разных людей я был слышан о директоре путей сообщения Слушном, многие начинали дрожать при одном лишь упоминании о нем. Я подскочил и, держа в одной руке банку с супом и ложку, другой по-солдатски отдал честь и отрапортовал:

— Стажер Милош Грма докладывает, что находится на службе!

— Бросьте эту банку! — рыкнул директор путей сообщения и выбил голубую банку с остатками супа на пол, да еще поддал ногой так, что та покатила куда-то под шкаф. Я стоял и держал руку под козырек, а пан Губичка все сидел с задранными на стол ногами, и можно было подумать, что он парализован одним видом директора путей сообщения. За окном мелькнула фигура начальника станции, он вошел в канцелярию из голубятни как был — расстегнутый и без фуражки, в таком виде он вытянулся по стойке «смирно» и отдал рапорт.

— Вольно, — очень тихо произнес директор путей сообщения, внимательно разглядывая форменную блузу нашего начальника, всю залпанную птичьим гуаном, то есть голубиным пометом, задержал взгляд на пуговице и медленно обошел начальника нашей станции кругом, не отрывая глаз от его помятых брюк.

— Я думал... — начал было наш начальник.

— Он еще и думает? — директор путей сообщения обратился ко мне.

— Да, — сказал я.

— Да? — удивился директор. — А знаете ли вы, что именно я рекомендовал вашего начальника станции на пост железнодорожного инспектора?!

Я пожал плечами.

— Послушайте, а вы бы хотели стать инспектором государственной железной дороги? — обратился он к начальнику станции, над которым кружило легкое голубиное перышко.

— Да хотелось бы... — вздохнул начальник нашей станции. Перышко вновь взлетело вверх, паря над его лысиной.

— А гусей пасти вам бы не хотелось, а?

— Нет, — опять вздохнул наш начальник, а белое перышко превратилось в белый знак вопроса.

— Ладно, в Краловом Градце еще к этому вернемся, там поговорим. А станция у вас хорошая, ничего не скажешь! — злобно прорычал директор и одним махом сбросил ботинки пана Губички со стола. — Кстати, вам известно, кто прибыл сюда на этой дрезине? Комиссия, которая рассмотрит вопрос о том, будет ли против вот этого господина возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке ограничить личную свободу или же он отделается дисциплинарным взысканием! — указательный палец директора был направлен на дежурного по станции.

Наш начальник распахнул дверь своего кабинета, как бы демонстрируя роскошный ковер в красные и голубые цветы, бюро красного дерева, пальму, раскинувшую листья, как зонтики, турецкий столик с курительными принадлежностями и табуретки, однако господин директор путей сообщения неодобрительно покачал головой.

— Каков поп, таков и приход, — бросил он.

Секунду спустя вошел советник Зедничек, который принес папку с документами и разложил на телеграфном столе фотографии, сделанные со всех печатей, отгиснутых на попе Зденки Сватоу, нашей телеграфистки. Начальник станции обратился с просьбой, чтобы ему было разрешено пойти переодеться, так как у него есть другая, новая форма, однако директор путей сообщения Слушный не позволил, и начальник станции должен был выполнять при нем функции секретаря. В канцелярию вошла Зденичка, я ее даже не узнал, так она похорошела, как будто именно эти печати сделали ее красивой, у меня даже голова закружилась, когда она подала мне руку и улыбнулась, глядя прямо в глаза. Она сказала, что вероятнее всего скоро сменил место работы и будет иметь отношение к кинематографу, потому что кинематографисты ею уже заинтересовались.

Господин советник Зедничек первым делом достал из планшета карту Европы, чтобы

проанализировать и объяснить ситуацию на фронте, как там немецкая армия. Когда он разложил карту на столе, то она оказалась вся в дырах, образовавшихся на сгибах от частого использования, и дырищи были огромными — каждая примерно со Швейцарию. Зедничек проинформировал нас о ситуации в Карпатах, где сражалась Пятая армия фон Мансфельда, в которой воевал его сын, Бжетислав Зедничек, однако, если судить по карте, Пятая армия все еще никак не могла выбраться из протертой дыры, хотя прошло уже больше недели, как она в этой дыре оказалась; сынок, вероятно, так же, как и его отец, немецкий знал плохо и свою приверженность ко всему немецкому выразил таким образом, что изменил звучание своей фамилии с более свойского Зедничек на Задничек, убрав чешский «гачек». Советник Задничек продолжал свой доклад о ситуации на фронте и обозначал на карте карандашом огромные круги размером с Черное море, эти круги были котлами, в которые доблестная армия Третьей Империи вот-вот заманит всех своих врагов; другим карандашом советник Задничек обозначал направления ударов немецких войск по Малой Азии и даже по Африке; эти предполагаемые удары должны были замкнуть кольцо вокруг английских армий, после чего немцы через Испанию оказывались в тылу высадившихся в Европе американских войск. Советник Задничек не забыл упомянуть и о положении в Протекторате, где объявлялась всеобщая трудовая повинность, следствием которой являлось упрощение школьного обучения, закрытие музеев, ликвидация некоторых памятников и скульптур, а также разрешение заниматься спортом лишь по воскресеньям.

— Зденка Свата, это ваш зад? — спросил советник Задничек, показывая Зденичке фотографию.

— Да, — улыбаясь, ответила она.

— Ответьте, кто вам проставил там эти печати? — продолжал задавать вопросы советник, а начальник станции записывал.

— Дежурный по станции пан Губичка, — ответила она.

— Пожалуйста, расскажите нам, как это все произошло, — предложил советник.

— Мы вместе дежурили ночью, — Зденичка закатила глаза к потолку, — я сделала себе маникюр, поездов на станции не было, и ни один даже не предвиделся, поэтому мы скучали...

— Пожалуйста, поподробнее, — строго попросил господин советник.

— Ну и дежурный по станции пан Губичка предложил сыграть в фанты... знаете, такая игра: время летит, поезд летит, ворона летит, дело летит... а я все проигрывала и проигрывала, сначала туфельки, потом трусики... — пояснила телеграфистка, внима-

тельно следя за движением карандаша, которым начальник станции записывал ее ответы.

— А кто вам их снял? — допытывался советник.

— Дежурный по станции пан Губичка, — ответила Зденичка и в очередной раз ослепительно улыбнулась.

А дежурный по станции сидел, закинув ногу на ногу, форменная фуражка лежала на коленях, покрытая испариной лысина блестела, и служащие дирекции из Кралова Градца переводили взгляды с его лысины на прекрасную телеграфистку, вздыхали, качали головами, после чего с еще большим интересом погружались в нюансы дела, из которого они должны были сделать вывод о наличии состава преступления, заключающегося в ограничении личной свободы.

Я тем временем исполнял свои служебные обязанности: ставил семафор в положение «путь свободен» или же «путь занят» и чувствовал, что дежурный по станции внимательно следит за всеми проходящими поездами, контролируя мои действия... дежурный по станции пан Губичка всегда был моим идеалом, еще с Добровиц, где он обучал меня азам несения службы, сам он, например, мог одной рукой отмечать в реестре пункты встречи поездов, а другой передавать по телеграфу информацию о характере груза... И вот теперь этот человек сидел здесь, как перед судом, а у меня было такое чувство, что и директор путей сообщения, и советник, и прибывшие вместе с ними служащие — все хотели бы сделать с нашей телеграфисткой Зденичкой то же самое, что сделал пан Губичка, но они, как и большинство людей, были слишком трусливы, чтобы пойти на такое, они боялись. Человеком, который не боялся, был дежурный по станции пан Губичка, сейчас он сидел перед ними и упивался своей славой.

— А теперь, уважаемая Зденичка Свата, — советник встал, — очень важный вопрос, постарайтесь ответить на него максимально точно и правдиво. Оказывал ли дежурный по станции на вас какое-либо давление перед тем, как положить вас на стол? Не угрожал ли он вам, не прибежал ли к насилью?

— Да что вы! Зачем?! Я сама! Я сама легла... Мне, знаете ли, вдруг так захотелось самой лечь на стол... и посмотреть, что пан Губичка будет делать дальше, — телеграфистка вся сияла.

— ...и... и посмотреть, что пан Губичка будет делать дальше, — шепотом, про себя, повторял начальник станции, старательно записывая каждое слово.

Я выбежал на перрон. По главному пути шел очередной поезд особого назначения, на танках грелись под солнышком совсем молодые ребята, примерно моего возраста,

а некоторые выглядели даже еще моложе, на одном танке они перебрасывались зеленым мячом, на другом — пели: «Ich hab mein Herz in Heidelberg...»<sup>1</sup>

Когда же они проезжали мимо разбитого поезда на пятом пути, лица у всех вытянулись, помрачнели при виде продырявленных пулями вагонов, даже повара перестали чистить картошку... Эти солдатики у себя дома наверняка видели кое-что и пострашнее: разбомбленные города, родные дома в руинах, горы трупов, но увидеть что-либо подобное здесь было для них неожиданностью...

Я вошел в канцелярию и доложил о прохождении поезда особого назначения через станцию.

Советник стоял у окна.

— Там едет наша надежда. Наше будущее. Наша молодежь. Едет сражаться за свободную Европу. А вы тут чем занимаетесь?! Телеграфистке на заднице печати ставите!.. — он отвернулся от окна, подошел к столу, взял фотографии. — Так, — громко произнес он. — Хорошо. Факта ограничения личной свободы в этом деле не обнаружено... Но здесь налицо преступление еще более тяжкое: издевательство над немецким языком, официальным государственным языком Третьей Империи! — Он стукнул кулаком по столу. — Половину каждой печати занимает немецкий текст. Это является актом осквернения языка.

Я вышел на перрон и поставил семафор в нужное положение для проходящего через станцию санитарного поезда — он возвращался с фронта и состоял из пассажирских вагонов, срочно переоборудованных в передвижной госпиталь. И в этом поезде самым удивительным были человеческие глаза, глаза раненых солдат, словно бы те страдания, которые они доставили людям, и те страдания, которые выпали на их долю, преобразили их, сделали их совсем другими; эти немцы казались мне гораздо более симпатичными, чем те, что ехали в противоположную сторону, все они вглядывались в монотонный пейзаж за окнами с таким детским любопытством, как будто проезжали через настоящий рай, как будто моя станция была роскошным ювелирным магазином; у них был точно такой же взгляд, как у пана Губички, когда он смотрел на небо. С таким же интересом эти пожелтевшие от войны инвалиды разглядывали и меня, только у некоторых головы были неестественно скособолены, другие подтягивались на приделанных к потолку вагона трапециях, третьих поддерживали сестры милосердия, а поезд катил себе на родину — сплошь одни только белые кровати с ярко выделяющимися на них

<sup>1</sup> Я оставил свое сердце в Гайдельберге...» (нем.).

желтыми сложенными руками и желтыми лицами с большими детскими глазами. Последней к этому составу была прицелена открытая товарная платформа, на которой двое санитаров стаскивали с трупя больничную рубашку, а потом швырнули его на штабеля других, уже застывших трупов — это были солдаты, умершие в пути... Санитарный поезд удалялся, тускло светил фонарик последнего вагона, он мерно покачивался и поскрипывал.

— За ваши никчемные жизни лететь благороднейшая кровь! — воскликнул советник, стоя у окна. — Видели этот санитарный поезд?! А вы тут такими вещами занимаетесь! Но все — с этим будет покончено! Итак, запишите решение комиссии: на дежурного по станции Владислава Губичку налагается дисциплинарное взыскание!

Он махнул рукой и вышел на перрон. Ладонью дал знак, чтобы самоходная дрезина подъехала поближе. Рядом с директором путей сообщения в дрезину села Зденичка.

Я дал для дрезины сигнал «путь свободен». — Чехи... Вы знаете, кто такие чехи? — спросил советник. — Это вечно хихикающие и посмеивающиеся ехидные твари, вот они кто.

Самоходная дрезина проезжала мимо раскуроченного поезда на пятом пути, советник грустно поглядывал на содранные крыши вагонов, на следы автоматных очередей. Начальник станции прошел к себе на второй этаж, где стал стучать стулом об пол так, что в канцелярии с потолка посыпалась известка, и, конечно же, кричать в окно:

— Нравственное болото! Содом, библейский город! Проституция под прикрытием полиции процветает во всяких кафе и ресторанах, даже в учреждениях! Муж принуждает жену торговать своим телом! Угрожает, что если та не пойдет на панель, он пилой распилит ее ребенка. Да когда же наконец Ангел Господень протрубит Страшный Суд и покончит со всем этим раз и навсегда?!

После чего он опять принялся расхаживать по кухне и нарочно громко топтать, чтобы мы знали, как ужасно он страдает из-за нашей непорядочности. В свой кабинет он спустился лишь через час. В парадном мундире.

А тем временем на товарную платформу затащили последнего быка, которого привезли на грузовике; разумеется, и этого девушка привела мясникам прямо к машине; когда грузовик тронулся, бык показал, на что он способен. Тогда мясник говорит помощнику:

— Богуславик, этот сукин сын нам борта проломит. Возьми нож, глаза ему выколи...

Ну и помощник Богусь, который нам потом все это в канцелярии рассказывал, просунул

руку в окошко, пару раз пырнул и выколол быку глаза.

— Бык после этого спокойный стал, как барашек, — уточнил Богусь. — Хе-хе, он уже наверняка не хотел иметь ничего общего с этим миром!

Когда торговцы с треском захлопнули дверь, за которой остался этот бык, наш начальник станции проснулся. На подоконнике миловались его голуби, они ворковали и кивали клювиками, но начальник все равно на них сердился, покачивал укоризненно головой, проводил пальцем по воротничку и впадал во все более и более глубокую задумчивость. Он распахнул шкаф и стал любоваться своим новым, еще ни разу не надетым мундиром, на котором уже красовалась звезда, обрамленная шитыми золотой нитью веточками и листочками. Наконец он не выдержал, пронесся по канцелярии дежурного по станции, влетел на кухню и на всякий случай несколько раз прокричал в окно:

— Дерьмо это все! Говно, а не инспекторский садик на кокарде!

А потом, когда поезда особого назначения разошлись по своим направлениям, дежурный по станции пан Губичка вновь встал на краю перрона и уставился в предвесеннее голубое небо, наверняка опять находя там то, что еще раз подтвердило его славу как в самом Краловом Градце, так и в самых отдаленных его окрестностях; он все время смотрел один и тот же фильм: на огромном голубом экране лежит телеграфистка, а он задирает ей юбку, после чего одну за другой берет печати, огромные, неправдоподобно огромные печати, и протавляет их оттиски на прекрасном мягком теле пониже спины. Внезапно он обернулся, решил, мы зашли в коморку, где находились рычаги семафоров и сигнальные щиты, и он зашептал мне на ухо:

— Милош, у нас завтра ночное дежурство, мы опять вместе... через нашу станцию пройдет товарный поезд, двадцать восемь вагонов с боеприпасами и военным снаряжением. Вагоны открытые. На нашей станции состав будет ровно в два ночи... Между нами и соседней станцией нет никаких пригорков, бугорков, построек... так что поезд особого назначения вполне мог бы там взлететь на воздух во имя господя бога...

— Но, господин дежурный по станции... каким образом?

— Все будет доставлено, когда нужно...

— А где этот поезд сейчас?

— Завтра выезжает из Тшебича.

— Ага, а мы будем нести всю ответственность за его безопасность, — понимающе ухмыльнулся я. — Правильно?

В служебном помещении внезапно стемнело: мимо окна пронеслась стая польских сизарей.



Из замка пришло известие, что граф Кински приглашает начальника нашей станции на ужин и что в семь вечера за ним придет конюший. Я опустил затемнение и зажег в канцелярии свет. Зажег керосиновую лампу с зеленым абажуром в кабинете начальника несмотря на то, что там было и электричество. И вместе с дежурным по станции паном Губичкой мы встречали проходящие через нашу станцию поезда и зеленым фонариком сигналили «путь свободен».

Начальник станции достал свой баронский наряд: серые брюки, охотничий камзол и тирольскую шляпу с тетеревиным пером. Дверь в канцелярию он оставил открытой и то и дело мелькал в дверном проеме: ему было приятно, что кто-то видит его в таком облачении.

По полевой дороге на белом коне скакал старший конюх, рядом бежал второй жеребчик. На небе мерцали звезды, под подошвами похрустывал прихваченный морозом снег.

В кабинете мирно горела керосиновая лампа, начальник станции внимательно разглядывал в зеркало свое отражение. Он был уже при полном параде, даже надел рукавицы из оленьего меха и тирольскую шляпу. Лампа отбрасывала на потолок очертание круга, далее расходились круги побольше, более размытые, и напоминали грудную клетку скелета на рентгеновском снимке.

Когда я еще совсем маленьким приезжал к бабушке на каникулы, у нее на столе горела точно такая же лампа, а я, уже лежа в постели, с удовольствием смотрел на потолок, на тени, расходящиеся от круга, которые отбрасывала керосиновая лампа, и как бы я ни смотрел на потолок, я всегда видел там этот скелет, даже если натягивал на глаза одеяло; не помогало ничего — перед глазами все равно был потолок, а на нем скелет.

Один раз, когда я вот так засмотрелся на потолок, бабушка принесла в фартуке охапку поленьев и с грохотом свалила их у печки.

Я закричал:

— Скелет упал!

На белом коне на перрон въехал конюший, второй конь тоже был под седлом. Обе лошади были такими белыми, что выделялись в темноте, как кусты жасмина летней ночью. Начальник станции вышел из кабинета, конюший соскочил с лошади и помог нашему начальнику просунуть ногу в стремя. Тот натянул повод и медленно тронулся по направлению к голубятне, затем задрал голову вверх и закричал:

— Ведите себя хорошо, спите крепко, баюшки-баю! Не волнуйтесь, я скоро вернусь. Ваш хозяин вернется к вам! Будьте умницами, хорошие мои, мои сладкие!

А польские сизари урчали и бились крыльями о решетку, закрывавшую окно. Начальник же медленно и важно удалялся на скакуне в сопровождении конюшего. Они переехали через пути, после чего оба жеребца взяли в галоп, и с укатанной полевой дороги еще долго раздавался топот их копыт; кони уже слились с белой снежной равниной — они были с ней одной масти, — а вот силуэты конюшего и начальника станции еще виднелись, очертания их темных одежд производили забавное впечатление: казалось, они плыли по воздуху.

Дежурный по станции пан Губичка достал расписание и графики движения поездов, свернутые в рулон, как шелк или полотно, разложил их на телеграфном столе, склонился и стал водить по трассе карандашом.

Я распахнул зеленые ставни и стал продавать билеты, из полумрака зала ожидания выныривали пассажиры, покупали билеты и вновь растворялись в темных углах; на морозный воздух они выходили неохотно и старались по поведению дежурного определить, не их ли поезд подошел к станции.

Иногда я зло подшучивал над пассажирами: до прибытия курьерского поезда оставалось еще с полчаса, а я уже одевался, поднимал воротник и выходил на перрон, то есть вел себя так, как будто их пассажирский поезд вот-вот должен подойти и я шел его встречать; сидящие в зале ожидания высыпали за мной, я же, пройдясь туда-сюда, возвращался в свою теплую канцелярию; в минуту продорогие пассажиры тоже возвращались к печке в зале ожидания и недружелюбно поглядывали на меня.

Иногда начальник станции, пользуясь темнотой, надевал резиновые галоши и ночью совершал обход станции, проверяя, что поделывают дежурные. Один раз он меня застукал, когда я, уже после полуночи, спал. Я сидел на стуле и дремал, голова склонилась на грудь; начальник из зала ожидания заглянул в щелочку в зеленых ставнях, увидел меня спящим, тихонько вышел на перрон, неслышно приоткрыл дверь, вошел и молча встал надо мной, потом взял меня за плечо и легонько потряс, а я, заспанный, думал, что сплю дома и что настало утро, и поэтому спросил:

— Папочка, который час?

Начальник станции взревел:

— Это никакой не папочка, а начальник! Мы находимся на службе! Тоже мне, папочка!

А потом написал на меня рапорт в дирекцию, в Кралов Градец, откуда мне пришла красная «телега» с предупреждением.

На станцию прибыл пассажирский поезд, я вышел на перрон, пассажиры потянулись из зала ожидания; поезд шел медленно, на подножке второго вагона стояла Маша, ее

белый платочек на шее светил в темноте, на груди висел служебный фонарик, на стигбе руки — кондукторский компостер на ремешке; как и всегда, как и тогда, когда мы красили забор, Маша вся была какой-то неправдоподобно чистенькой, причем как в начале своей смены, так и в конце. Она соскочила с подножки и, когда вытянула вперед ногу, я заметил, что на ней черные ботиночки и белые чулочки, на щеках у нее были ямочки, а личико сияло в синеве ночи.

Она дала мне яблоко — в одной руке я держал фонарь, яблоко в другой, — прижалась ко мне, обняла, она была посильнее меня, ее щеки пахли молоком, она прижала меня к себе так, что ее фонарик согрел мне грудь, а пламя доставало прямо до сердца; Маша зашептала:

— Милош, Милош, я тебя люблю, я тебя так сильно люблю, это я во всем виновата, что тогда так все случилось, я спрашивала наших девочек, которые постарше, что нужно делать, как себя в таких случаях вести... теперь в следующий раз у нас наверняка все будет в порядке, вот увидишь, наверняка, теперь я знаю, что делать... понимаешь?

Она сделала шагок назад, достала расписание движения поездов и вынула оттуда истрепанную фотографию... это была моя фотография, я дал ее Маше тогда, когда мы красили красной краской забор, фотография мальчика в белом матросском костюме; я перевернул снимок — с другой стороны было приклеено еще одно фото, я сразу узнал, кого она ко мне приклеила, — это была детская фотография Маши, тоже в матросской блузке; обе склеенные фотографии были вырезаны в форме овала.

— Когда ты к нам приедешь, Милош? — спросила Маша.

— Послезавтра... Если хочешь... — промямлил я.

Мне уже нужно было свистком давать сигнал: «Закрыть двери, все по своим местам!», кондукторы поднятыми фонариками отсигналили мне, что готовы, я тоже поднял зеленый фонарь, и поезд тронулся. Маша еще раз прижалась ко мне, она так прижалась, как должны были прижаться одна к другой те две наши детские фотографии, чтобы приклеиться и стать одним целым. Маша поцеловала меня, после чего ухватила за металлические поручни и вскочила на подножку, на груди у нее показывался зажженный голубой фонарик, а я застыл на месте, лишившись дара речи, потому что чувствовал себя настоящим мужчиной, в этом можно было убедиться, я дотронулся рукой, да, я был мужчиной, как же это все-таки могло так случиться, что когда у нас с Машей дошло до самого главного, я вдруг увял, как лилия?

Когда Маша пришла ко мне в больницу,

она склонилась над моей койкой в своем голубом плащике с серебряными пуговицами, которые поблескивали, как ночные фонари у моста, поцеловала меня, а перед этим, когда она нагибалась, из ее кармашка на груди выпал черный служебный свисток и ударил меня по зубам; Маша присела на край койки и слегка сжала мою забитованную руку, но вскоре ей пришлось уйти, потому что после наркоза очнулся один пациент, он хотел встать, но оказалось, что он привязан ремнями, тогда он стал кричать:

— Макс, отпусти руль, брось руль, Макс, я тебе говорю!

Он вызволил одну руку из-под ремней, схватил стеклянную больничную утку и со страшной силой швырнул ее об стену, у которой я лежал, так что поливаясь из утки моча обрызгала Машу; она уходила, а в ее волосах блестели капли, у двери Маша обернулась и послала мне воздушный поцелуй; в день, когда я вышел из больницы, я огляделся вокруг — встречать меня никто не пришел; в тот день мне было очень грустно, потому что рядом со мной лежала пятнадцатилетняя девушка, в шкафу она обнаружила подарок, который ей приготовили ее родители, — это были теплые войлочные ботиночки; она не выдержала, надела их и поехала в Прагу, но в горах, неподалеку от Скалиц, произошла катастрофа: один пассажирский поезд столкнулся с другим, и стиснутыми вагонными лавками девушке оторвало обе ноги; когда она проснулась после наркоза, она стала кричать:

— Положите эти ботиночки в шкаф! Положите их в шкаф!

Из больницы я шел один, смотрясь в витрины, я не узнавал себя, я искал свое лицо, но там его не находил, как будто я был кем-то другим... и когда я вот так стоял, рассматривая самого себя в витрине и все думая, что это не я, — я удостоверился в самом себе только тогда, когда поднял руку, и тот, отраженный в витрине, тоже поднял руку, я поднял вверх другую, и тот сделал то же самое — вдруг, смотрю, почти рядом со мной стоит тот самый каменщик, здоровенный мужик в белом фартуке, весь пропитанный известкой, на тротуаре лежит огнегаситель марки «Минимакс», и этот каменщик смотрит на меня и крутит в руках сигарету, потом сует ее в рот, зажигает спичку, прикрывая ее ладонью от ветра, наклоняется и прикуривает, но при этом все продолжает на меня смотреть так, как будто нас разделяет та самая дверь в отеле в Бистрице около Бенешова, полуоткрытая дверь, и по одну сторону я, а по другую этот каменщик... Теперь я уже наверняка знал, что этот огромный пожилой каменщик в заляпанной известкой одежде был сам переодетый Господь Бог.

Станцию миновали несколько товарных

составов, через щель в служебном вагоне пробивалась полоска света — такие светлые полоски иногда проглядывают у девушек в бассейне из-под купальных костюмов при ходьбе; кочегары лопатами подбрасывали уголь в топку, отсветы пламени ярко сверкали в ночи, а движущееся тело кочегара отбрасывало движущуюся тень на стену тендера; семафоры при въезде и выезде со станции меняли свет с красного на зеленый, и, наоборот, световые сигналы на предупредительных знаках были белыми: узкий прямоугольничек в стоячем положении означает, что путь впереди — прямой, лежащий означает, что на железнодорожном полотне имеется поворот; там, где на задворках «ливерпуля» заканчивается тупиковый путь, всю ночь горит светло-голубой фонарик, при смене света в семафорах рычаги переключения скрежещут где-то вдалеке, канцелярия наполнена звуками тикающих аппаратов, время от времени тихонько позванивает по ошибке включающийся телефон, стрекочут колесики в блоке... среди всего этого чиркающего и щебечущего оркестра дежурный по станции пан Губичка расхаживал туда-сюда, и голова его была полна заботами о поезде, находящемся под его особым, специальным наблюдением, который должен прибыть после полуночи с двадцатью восьмью вагонами, груженными военным снаряжением, оборудованием и боеприпасами; он сверял по карте и расписанию график прохождения этим поездом отдельных пунктов на трассе, после чего прислушивался, поглядывая на перрон, заглядывал в зал ожидания, а я в это время думал о Маше и содрогался при мысли о том, что будет тогда, когда опять дело дойдет до этого...

Теперь и я стоял на перроне, и я поглядывал на ночное небо, и я видел там свой собственный фильм: весь небосклон занимала Маша, я, так же, как дежурный по станции пан Губичка — Зденичку, укладывал Машу на телеграфный стол и снимал с нее одну за одной все принадлежности ее туалета, но, когда Маша лежала на небе уже совсем голая, я не знал, что с ней делать дальше. То есть я знал, но у меня не было никакого опыта, поскольку я ни разу не был в женщине, исключая, конечно, тот период своей жизни, когда я находился в лоне своей мамы, но этого я помнить не мог.

Я услышал, как по лестнице спускается жена начальника станции, как со свечкой в одной руке и кастрюлькой с клецками в другой она лезет в подвал, где гогочет испуганный гусь. Стоя на перроне, я заглядывал в подвальное окошко: жена начальника станции и ее тень наклонились, она вынула из кастрюли одну клецку, рукой раскрыла гусю клюв и вложила ему клецку прямо туда, стараясь, чтобы она попала птице в

зоб. Затем она мочила в воде следующую клецку и продолжала кормить гуся, который явно этого не хотел.

— Сейчас я вернусь, подмените меня, пожалуйста, на одну минутку, — попросил я дежурного по станции. — Я буквально на секундочку.

И касаясь рукой шероховатых выпуклостей стены и осторожно спускаясь с одной ступеньки крутой лестницы на другую, я нащупал дверь в подвал и тихонько приоткрыл ее.

— Не бойтесь, пожалуйста, это я, Милош, — успокоил я жену начальника станции.

— Что случилось? — Она все-таки перепугалась и неподвижно застыла на месте с клецкой в руке; свет горевшей сзади нее свечи проникал сквозь ее седые волосы, у нее было измученное лицо: такая вот пожилая Золушка, в то время как муж-начальник корчит из себя барона Ланского.

— Это я, Милош, — повторил я. — Я пришел к вам за советом. Дело вот в чем: послезавтра я поеду к своей девушке, Маше, ну, этой кондукторше, вы знаете. И она совершенно точно захочет, чтобы я... это самое... ну, вы сами знаете что...

— Не знаю, — пробормотала жена начальника станции и, намочив клецку, засунула ее гусю в клюв.

— Да вы наверняка знаете, — настаивал я. — Не притворяйтесь, что вы ничего не знаете... Я же пришел к вам за советом... Короче говоря, я — мужчина, но когда мне требуется доказать, что я мужчина, то я перестаю им быть. По медицинскому справочнику я выяснил, что у меня *eakulatio prekoks*, ну, вы знаете...

— Не знаю, — отрезала жена начальника и опять намочила клецку.

— Нет, это вы точно знаете, — не унимался я. — Вот, например, сейчас — стоит мне только подумать, стоит только представить себе, вот, пожалуйста, — и я мужчина. Пожалуйста, потрогайте!

— Мать Пресвятая Богородица! — шепнула жена начальника станции. — У меня, видите ли, Милош, сейчас месячные... ну, менструация. А скоро уже и это все прекратится...

— Месяц, простите, что?..

— Месячные... О господи, какой кошмар... — Руки у нее задрожали, и она опрокинула кастрюльку с клецками на пол.

Я присел и стал собирать клецки, жена начальника станции тоже принялась их подбирать, и за этим занятием я ей и рассказал, как я перерезал себе вены, потому что в фотоателье дядюшки Нонемана «Через пять минут готово» я увял, как лилия. Жена начальника станции молчала и держала своего гусака за клюв.

— Попробуйте, потрогайте, сами убедитесь,— вновь предложил я.

— Сейчас потрогаю, Милош,— сказала женщина, склонилась и задула свечку.

— Ну что, я мужчина?

— Вы мужчина, Милош,— заявила жена начальника станции.

— Ну хорошо, а что дальше? Вы бы не согласились меня обучить? Я вас очень прошу... Доктор Брабец в сумасшедшем доме сказал мне, что мне нужно, как он выразился, потерять себе рожок с какой-нибудь дамкой постарше себя...

— Но, Милош, я уже в таком возрасте, что не хочу иметь никаких дел с подобными вещами... Я понимаю, если бы я была помоложе, вот тогда бы... Мать Пресвятая Богородица, да что с вами со всеми на этой станции делается?! Дежурный по станции пан Губичка с этими своими печатями, вы с этим своим рожком, который нужно потерять... Все вам послезавтра удастся, вот увидите, и вы будете мужчиной, Милош, еще какими мужчиной...

В небольшое подвальное окошко я увидел, как на перрон вышел дежурный по станции пан Губичка, встал, широко расставив ноги, и задрал голову к небу. Я понимал, что сейчас он вовсе не раскладывает на телеграфном столе телеграфистку Зденичку и она не подставляет ему попку,— по всему небу для него катит товарный состав, двадцать восемь вагонов, которые вдруг внезапно куда-то исчезают, а небо застилается огромным облаком дыма, похожим на грозные тучи...

— Вы на меня не сердитесь? — спросил я.

— Не сержусь, Милош. Все это дело житейское...

Держась рукой за стену, жена начальника станции тяжело поднималась по лестнице, ступенька за ступенькой; она поднялась к себе на второй этаж, и принялась, как и ее муж, ходить из кухни в комнату и обратно, правда, начальник станции начинал метаться только в тех случаях, когда не мог решиться высказать нам в глаза, что у него против нас накопилось, и поэтому он выкрикивал все, что хотел нам сказать, в окно, после чего спускался вниз спокойным и просветленным, а если ему не удавалось разрядиться при помощи окна, то всю злость он срывал на жене, обвиняя ее во всех смертных грехах; вытряхнув из себя таким образом всю грязь, он тут же забывал обо всем, что только секунду назад выкрикивал, так что у него никогда не было необходимости резать себе вены, как это было со мной, а также задирать телеграфистку юбку и представлять ей на заднице печати; я уже понимал, что наш начальник станции не может, например, сойти с ума, потому что выкрикивание всего накопившегося в окно являлось для него своего рода психической гигиеной,

отдушиной, как и ежеквартальная пощечина, получаемая от жены и как бы приводившая его в чувство.

По мере приближения полуночи дежурный по станции пан Губичка становился все более беспокойным и нервным: он сплевывал, резко застывал на месте и все прислушивался, прислушивался. Я знал, что он напряженно ждет, что вот-вот откроется дверь и в нее просунется рука, которая передаст какое-то известие или же какой-то пакет.

Когда часы в кабинете начальника станции стали бить полночь, я сказал:

— Ах, какой все-таки прекрасный бой у этих часов.

Внезапно дверь распахнулась, как от сквозняка, и вошла молодая женщина в распахнутой охотничьей накидке, из-под которой была видна тирольская блузка с вышивкой — зеленые дубовые веточки с желудями. Кроме того, на ней была серая юбка и белые шерстяные чулки, на ногах — полуботинки со шнурками и длинными язычками. То есть она была одета примерно так же, как одевался наш начальник станции, только в женском варианте.

В руках у нее был перевязанный веревкой сверток.

— Bitte,— сказала она,— ich muss nach Kersko<sup>1</sup>.

— Керско? — переспросил я.— Вам придется подождать до утра, это по ту сторону реки.

— Aber ich muss nach Kersko<sup>2</sup>,— настаивала она на своем.

— Но это довольно далеко. К кому вы туда едете? — спросил я.

— Ich habe einen Freund,— усмехнулась она и указала на меня пальцем: — Sie sind Herr Fahrdienstleiter?!<sup>3</sup>

— Да нет, это вот он,— ответил я.

— Это вы дежурный по станции герр Губичка? — переспросила молодая женщина.

— Я,— ответил он.

— А это кто? — она указала на меня.

— Mein Freund,<sup>4</sup> — пояснил дежурный по станции.

— Милош Грма,— представился я.

— Виктория Фрайе,— она кивнула головой и подала мне руку.

— Виктория Фрайе? — удивился пан Губичка.

Но я уже понял, что это — то самое и з в е с т и е, что Виктория Фрайе это та самая рука, от которой и должен быть знак,

<sup>1</sup> Пожалуйста, мне нужно в Керско (нем.).

<sup>2</sup> Но мне нужно в Керско (нем.).

<sup>3</sup> У меня там друг. Это вы дежурный по станции? (нем.).

<sup>4</sup> Мой товарищ (нем.).

а вот пана Губичку все эти новости явно не обрадовали, скорее, наоборот — он еще больше побледнел, это известие совершенно вывело его из равновесия, я видел, в нем нет ни тени желания или страсти, он даже не удостоил взглядом ни зад, ни грудь этой прекрасной женщины, а ведь обычно он всех женщин раздвела глазами. Эта же тиролька была уникальным экземпляром — она, пользуясь определениями пана Губички, была «сисястой жопенью» — все сразу, одновременно.

Я вышел на перрон и подал проходящему через станцию товарняку зеленый сигнал — «путь свободен». Когда я вернулся в канцелярию, чтобы передать на соседнюю станцию сообщение о времени прохождения поезда, сверток исчез. Виктория зевала, потягивалась и строила мне глазки, а я внезапно почувствовал к ней прилив доверия, поэтому, когда она сказала, что охотно бы часочек поспала, я открыл дверь кабинета начальника станции точно так же, как это сделал пан Губичка до того, как разорвал клеенку на диване; Виктория вошла, а я постелил свою шинель; зеленый абажур отбрасывал мягкий свет, было слышно, как голуби в голубятне спокойно — даже еще более спокойно, чем когда уезжал их любимый хозяин, — метались и били крыльями, как будто к ним пробралась куница или ласка.

— Меня зовут Милош Грма, — проикал я. — Знаете, я тут перерезал себе вены, потому что у меня еakulatio pgekoks. Но это все неправда. Я, конечно же, увял при своей девушке, как лилия, но, между нами говоря, я настоящий мужчина.

— Так у вас что, действительно никогда не было девушки? — удивилась Виктория.

— Да нет, не было, я только пробовал... и поэтому я вас очень прошу, дайте мне, пожалуйста, совет...

— Неужели ни одной еще не было? — все больше изумлялась Виктория.

— Ни одной, потому что Маша, правда, залезла ко мне в постель, ну, там, у дядюшки Нонемана в Карлине, и Маша была рядом со мной, но с ней у меня ничего не вышло, потому что, я вам уже сказал, я увял, как лилия...

— Та-а-ак, значит, у вас действительно не было ни одной женщины... — произнесла Виктория и улыбнулась, а ямочки на щеках у нее были точно такими же, как у Маши, в ее глазах засветилась какая-то доброта, как будто на нее свалилось неожиданное счастье или же она нашла какую-то драгоценность, она стала гладить пальцами мои волосы так, как будто я был роялем, а потом посмотрела на запертую дверь в канцелярию дежурного по станции, увернула фитиль и погасила лампу, после чего наощупь нашла меня и потянула за собой в сторону дивана

начальника станции; она легла на диван и снова потянула меня на себя, она была со мной очень ласкова, как мама, и очень добра ко мне, она позволила мне приподнять ей юбку, затем я почувствовал, как она выгнулась и закинула свои тирольские ботиночки на спинку дивана начальника, и вдруг, как-то в один миг, я склеился с Викторией, как был склеен с Машиной фотографией, где я в матросском костюмчике; во мне и вокруг меня вспыхнул яркий свет, становившийся все ярче и ярче, я взбирался в гору, вся земля тряслась и дрожала, слышны были раздававшиеся где-то вдалеке звуки труб вперемешку с громовыми раскатами, но звуки эти не имели отношения ни к моему телу, ни к телу Виктории, они были проявлением чего-то внешнего; казалось, весь дом шатался и трясся, что это в честь моего триумфального въезда в жизнь так оглушительно раззвонились телефоны, а телеграф ни с того ни с сего выстукивает азбуку Морзе сам по себе, как иногда случалось в канцелярии во время сильной грозы; казалось, что все без исключения голуби начальника станции неправдоподобно громко урчат и воркуют оттого, что горизонт стал стремительно взлетать вверх, чтобы заплыть всеми цветами радуги, здание станции вновь несколько раз содрогнулось и зашаталось в самом своем основании...

А потом я почувствовал, как тело Виктории выгнулось и как ее ботиночки с подковками врезались в клеенчатую обивку дивана, я услышал, как рвется клеенка, рвется ритмично и безостановочно и откуда-то из-под ногтей пальцев рук и ног в мой мозг проникает ослепительная и сладостная дрожь; внезапно все вокруг сделалось белым, затем серым, а затем — грязно-коричневым, как будто ниспадающий поток горячей воды резко стал холодным, я ощутил приятную боль в позвоночнике, словно мне кто-то вогнал крюк, — такие крюки каменщики вбивают в стену.

Я открыл глаза. Пальцы Виктории все еще гладили мои волосы, она тяжело дышала, я же посмотрел в оконную щель и увидел, как на горизонте возносится вверх красно-коричневый отсвет далекого пожара — такое небо бывает перед наступлением хорошей погоды. Голуби господина начальника громко и беспечно урчали, метались по голубятне, бились крыльями о стены и потолок и шлепались об пол.

Виктория Фрайе приподнялась и стала прислушиваться.

— Где-то идет жуткая бомбежка, — сказала она, поправив себя волосы. Я раскрыл окно и потянул вверх затемнение. Далеко в горах вспыхивали все новые и новые огни, весь горизонт был багровым, просвет был лишь в районе холмов, там, где, судя

по всему, находился центр, сердце катаклизма.

— Это, наверное, Дрезден,— сказала Виктория.

Она поднялась с дивана и стала расчесывать свои волосы. Расческа при соприкосновении с ее волосами пела в самой нежной тональности.

Я вспомнил ее упругое тело и вдруг представил себе Викторию на цирковой трапеции.

— А вы кто? — спросил я.

— Артистка цирка,— ответила она, откинув назад голову и тряхнув прической.— До войны у нас был номер «Красочная палитра воздушных аттракционов».

Я сел на диван и незаметно провел ладонью по клеенке. Диван был разодран пополам. Из дыры торчал материал, называвшийся морская трава.

Через станцию прогрохотал товарный состав, из топки летели искры. Виктория стояла у окна: такие же искры она вычесывала из своих волос. На полевой дороге на фоне полыхавшего неба появились два всадника.

Я поднялся с дивана, впервые в жизни я испытывал в себе состояние покоя.

— Спасибо,— сказал я.

— И вам спасибо,— улынулась Виктория, подняла накидку и прошла в канцелярию дежурного по станции. Она посмотрела на часы. Вздохнула. Сунула руку под блузку и поправила лифчик на груди. И вышла на перрон, где, широко расставив ноги, стоял дежурный по станции пан Губичка и смотрел на небо. Они поговорили с минуту, затем Виктория вернулась и решительно сказала: — Und jetzt muss wirkeich nach Kersko...<sup>1</sup>

Она улыбнулась и направилась вдоль палисадника господина начальника станции в сторону липовой аллеи, чтобы вскоре исчезнуть за домами.

На белом жеребце прискакал начальник станции, он легко соскочил с коня на землю, бросил конюшему поводья, тот пришпорил лошадей и рысью понесся обратно.

Начальник же немедленно направился в голубятню.

— Котятки мои майские! — завопил он.— Ну чего вы так испугались? Кто вас переполошил? Ангелочки мои, дитятки мои с крылышками! Ваш хозяин к вам вернулся. Оп-ля! Оп-ля-ля!

Затем он с веселым и радостным выражением лица вошел в канцелярию дежурного по станции, развалился на стуле и сказал:

— Господин граф шлет вам, пан Губичка, свой самый сердечный привет. Барон Бетманн Хольвиг принес эти фотографии Зденки... Вся аристократия в восторге, и все мечтают встретиться с вами. Сам господин граф просил вам передать, что он вам завидует,—

он очень сожалеет, что ему самому это не пришло в голову. И на следующей неделе вы, пан Губичка, приглашены в замок. За столом мне пришлось дать всему обществу подробный отчет о том, как это все происходило...

Он встал, телеграф вызывал нашу станцию:

— Bahnhofspierre Dresden, Pirna, Bautzen...

Господин начальник вышел на перрон, повернулся в сторону, откуда доносился непрерывный гул и грохот и где горизонт был весь в огне, и прокричал:

— Не надо было начинать войну против всего света!

Дежурный по станции пан Губичка зажег на телеграфном столе лампу с абажуром, раскрыл папку с телеграммами, после чего сделал мне знак, что хочет показать какую-то очень важную только что поступившую информацию, однако я сразу понял, что дело совсем не в этом. Дежурный по станции выглядел озабоченным, и, когда он водил карандашом по бумажкам с информацией, острооточенный карандаш дрожал, и на бумаге оставались линии, как от кардиографа, Он осторожно выдвинул ящик стола, а я, хоть мне и положено было смотреть только на черточки, оставленные карандашом, скопил глаз и заглянул в ящик. Канцелярию дежурного по станции освещал лишь круг настольной лампы, но на дне ящика блеснул револьвер, а, кроме того, там лежал какой-то предмет, похожий на фонарь, однако в нем вместо стекла находилось устройство, напоминающее часовой циферблат, сходство усиливалось негромким тиканьем.

— Милош,— зашептал дежурный по станции, продолжая чертить карандашом по бумаге,— Милош, лучше всего будет встать на перроне и забросить вот это на вагон где-нибудь посередине поезда. Паровозу мы дадим сигнал «стоп», а в самый последний момент зажжем зеленый свет... Притормозим его немножко...

— Правильно,— утвердительно кивнул я, кожей чувствуя, что в любом окне зала ожидания, в любой щелочке затемнения, всюду могут оказаться шпионящие за нами глаза. Поэтому я взял карандаш и тоже стал подчеркивать информацию в папке с телеграммами, шепча при этом: — Помните, как у нас плечо семафора опустилось? Тогда как раз «ракета» проходила? Так вот, знаете что, я сейчас сделаю так же: залезу на семафор, чуть-чуть высунусь — вот так — и брошу эту петарду где-нибудь посередине, потом слезу, а там посмотрим, что будет. Где сейчас этот наш поезд особого назначения?

— Только что прошел Подебрады, через полчаса будет здесь,— фыркнул дежурный

<sup>1</sup> И все-таки мне нужно попасть в Керско... (нем.).

по станции, животом задвинул ящик стола и совершенно без всякой надобности расписался в книге регистрации приема телеграмм.— Не страшно?

— Нет, я никогда не был так спокоен,— сказал я.— Я — мужчина, я такой же мужчина, как и вы, господин дежурный по станции... Я мужчина, и как же это прекрасно: быть мужчиной. Все старое я из себя вытряхнул, вот так...— я взял ножницы и пощелкал ими в воздухе.— Вот так я расстался со своим прошлым.— Я рассмеялся и поднял трубку телефона.— «Ракета»,— произнес я в трубку и передал на центральный стрелочный пост дистанционного управления приказ:— Перевести стрелку под поезд номер пятьдесят три шестьдесят один!— Набрал на блоке нужный код и вышел навстречу ночи; огромное пятно на горизонте все еще закрывало весь небосклон, казалось, что там только что зашло солнце. Я легко перевел рычаг семафора. Еще никогда я не был так спокоен, у меня постоянно было чувство, что мама гладит меня по головке, так, как она делала это в детстве, когда отгоняла от меня плохие сны. Дежурный по станции пан Губичка вышагивал по канцелярии, глядя в пол, он даже не вышел на перрон взглянуть на небо; теперь уже и я, так же, как и он, прекрасно сознавал всю ответственность за успешное окончание начатого нами дела. А если все будет в порядке, то что дальше? Об этом я не думал: не то, что я не мог представить себе всех последствий, все было продумано четко и до конца — просто теперь меня уже это не интересовало, я весь сосредоточился исключительно на том, чтобы эта машинка попала в нужный вагон, чтобы весь поезд взлетел на воздух, ничего иного я не хотел и на небе я не видел ничего, кроме взмывающего вверх облака, состоящего из обломков вагонов, каких-то шин, колес и брусков, я подумал, что, собственно говоря, такая мысль уже давно должна была прийти мне в голову уже хотя бы потому, что ихний танк раздавил моего дедушку-гипнотизера, который один только и вышел навстречу захватчикам, один против целой армии с вытянутыми перед собой руками и единственной мыслью — заставить немцев вернуться туда, откуда пришли. И хотя гусеницы немецкого танка оторвали дедушке голову, бессмертный дедушкин дух продолжал выталкивать назад, в Германию, танк за танком, солдата за солдатом, армию за армией, туда, откуда они начали свое наступление и куда их сейчас откидывали русские войска... Но я совсем забыл о своем дедушке, потому что, если бы я вспомнил о нем, подумал о нем чуть раньше, я бы мог решиться на совсем другие вещи... Через двадцать минут на станцию прибывает мой

поезд, напичканный боеприпасами и военным снаряжением, и у меня будет возможность совершить серьезный поступок — я ведь уже не увядающая лилия...

Я даже не подозревал в себе существование такой могучей скрытой внутренней силы, как и не мог предположить, что дежурный по станции пан Губичка может быть таким озабоченным, он даже прохаживаться уже не мог, а только стоял с широко расставленными ногами над блоком и ждал телефонного звонка, ждал сообщения об этом поезде, находящемся под нашим особым наблюдением.

Я вошел в канцелярию, выдвинул ящик и положил взрывчатку в карман шинели, в этот момент пан Губичка заслонил меня собой. В другой карман я сунул револьвер, после чего расписался карандашом в книге регистрации и бросил карандаш в ящик.

Дежурный по станции подошел к черной доске, на которой со вчерашнего дня были мелом выписаны все поезда особого назначения,— вся эта серия из двадцати эшелонов, которые должны были попытаться закрепить трещавшую по всем швам линию фронта; он ткнул в доску пальцем и сказал:

— Я ее тебе, Милош, заведу в последнюю минуту.

— Ага... а та «ракета» что-то нервничает,— заметил я.

И вышел на перрон. «Ракета» подошла к станции и остановилась. Из вагона выскочил начальник поезда.

— Ужас... Весь Дрезден капут! — пробормотал он.

За ним из товарного вагона выскочили другие пассажиры, все они выглядели так, как будто сбежали из концентрационного лагеря: на них были полосатые штаны, только когда они вошли в канцелярию, мы поняли, что это просто люди в полосатых пижамах, на которые были наброшены пальто,— они были в том, в чем успели выскочить из дома, спасая жизнь. У всех были застывшие глаза, никто не произнес ни слова.

Начальник поезда рухнул в кресло и обхватил голову руками.

— Весь Дрезден — это одна сплошная мезга. Эти люди силой впихнулись ко мне в почтовый вагон,— пояснил начальник поезда и тяжело поднялся, так поднимается с земли заганная лошадь. Он навалился на телеграфный стол, провел по нему стиснутыми кулаками, наконец поднялся и встал, свесив голову. Казалось, что он заснул. А все эти немцы стояли точно так же: уставились в землю и, может быть, видели там все то, что произошло с ними совсем недавно,— как они выскакивают из окон в сады, огороды или на улицу, а вокруг валяются деревья, рушатся стены, падают балки. У всех этих немцев были очень длинные руки —

они почти доставали им до колен — и до сих пор ни один из них так пока и не встрепенулся, не произнес ни звука, даже не моргнул, как будто ужас выщипал им ресницы. Я тем не менее никакого чувства жалости к ним не испытывал, это я, плакавший над каждым козленочком, которому перерезали горло, проливавший слезы из-за любой беды, случившейся с другими, я этих немцев не жалел.

Когда я еще лежал в больнице с этими своими перерезанными венами, то как-то навестил свою дальнюю родственницу, тетку Беатрис. Она уже лет пятьдесят работала в больнице сестрой милосердия, а теперь ее перевели в отделение, куда попадали люди — прежде всего, конечно, солдаты — со смертельными ожогами, их уже с фронта привозили в масле, и они были прямо как амфибии. Так вот эта моя тетка Беатрис готовила им овощные супчики, а если кто-нибудь из них очень страдал и мучился, то делала ему укол морфия. Я к ней заходил потому, что тетка Беатрис каждому приносила радость и облегчение, — такая она была замечательная и сильная, и достаточно ей было на кого-нибудь только взглянуть, как человек этот сразу же обретал покой, наверное, так происходило потому, что она работала в больнице уже много-много лет...

А все-таки я над этими немецкими солдатами плакал, особенно, когда видел, как к ним приезжали их жены и возлюбленные, а эти солдаты из своей масляной купели давали им последние указания, советовали своим женам, за кого им выходить замуж, как поступать с детьми и нажитым состоянием; я заливался слезами и все порывался убежать, но тетка Беатрис силой усаживала меня обратно на стул и продолжала резать морковь, петрушку и сельдерей, каждый раз напевая при этом разные мелодии: «Гефрайтер Шульц умрет уж завтра. Гефрайтер Шульц умрет уж завтра...»

Это она пела на мотив песенки «На пражском мосту ландыши растут...», не переставая резать петрушку и морковь. Она уже знала, что завтра даст рядовому Шульцу несколько дозу морфия и таким образом на несколько дней сократит его страдания, тем более, что он уже успел со всеми попрощаться...

А на следующий день она уже напевала: «Обер-лейтенант Дитте, обер-лейтенант Дитте, ах, умрет, он завтра, ах, умрет он завтра...»

А этот текст она положила на мелодию «Девушка дала мне крестик золотой...», продолжая само собой резать овощи; я все смотрел на молодых людей в ваннах, это выглядело так, как будто они купались; я вовсе не желал им смерти, я не хотел, чтобы они назавтра поумирали, я хотел, чтобы они могли вернуться к своим любимым и женам,

с которыми разговаривали в последний раз, потому что уж если кого спустили сюда, вниз, к сестре Беатрис, то было понятно, что с ними все кончено. Однако теперь, когда появились эти люди из Дрездена, я не мог испытывать к ним жалость, только они сами могли жалеть самих себя. И дрезденские немцы это понимали.

Начальник поезда встал и сказал этим немцам:

— Sollten sie am Arsch zu Hause sitzen!<sup>1</sup>

Он вышел на перрон, поднял руку, и локотик медленно тронулся с места. Начальник поезда вскочил на подножку служебного вагона.

— Сам Господь Бог послал нам этих немцев, — зашептал дежурный по станции. — В случае чего подтвердят... — а я услышал, как вдоль всего пути от домика стрелочника при въезде бежит сигнал: звон молоточка, ударяющего в пузатый колокол... И я уже знал, что это мой поезд. Я вошел в канцелярию, дежурный по станции держал в руке телефонную трубку. Увидев его побледневшее лицо, я понял, что это тот самый находящийся под нашим особым наблюдением поезд.

Дежурный по станции пан Губичка посмотрел на меня, фуражка у него сползла на лоб, поэтому подбородок он держал задраным вверх.

Я выбежал из канцелярии, заглянул в подсобное помещение, затем дал зеленый свет на семафоре при въезде, семафор же при въезде со станции поставил в положение «стоп!».

Подошел дежурный по станции. Я вынул из кармана взрывчатое устройство, посветил фонариком, а он стал подкручивать какие-то колесики, как будто наводил резкость в фотоаппарате.

Голуби до сих пор никак не могли уснуть, они урчали, носились по клетке, и было слышно, как они бьются крыльями о стены.

Дежурный по станции пан Губичка протянул мне руку, холодную и влажную, как рыба. Я пошел по путям. Половину луны закрывала длинная туча, начал падать сухой снег. Я обернулся и увидел вдалеке тусклый свет прожектора паровоза. Луна вышла из-за снежной тучи, поля заискрились, я вновь слышал тиканье замерзших кристалликов, словно в каждой снежинке бежала секундная стрелка.

Я вскарабкался на мачту семафора, как по лестнице. Опять нагнало тучи, и повалил снег, нежный, как крылья бабочек-однодневки. Я уселся на фонарь, обхватив его ногами. Паровоз въезжал на станцию и при этом жалобно свистел — ему некуда было ехать,

<sup>1</sup> Надо было сидеть дома на заднице! (нем.).



все другие пути были заняты. Я чувствовал, как поднимается плечо семафора, унося вверх и мою руку, красный свет сменился зеленым. В этом положении — «путь свободен» — плечо семафора прикрывало меня вполне достаточно, оно было больше меня. Локомотив свистнул, я видел, как дежурный по станции сигналил машинисту зеленым фонариком, что можно проезжать; я сидел на семафоре, падал снег, я чувствовал, как снежинки колют мне лицо, снег валил густой, обильный. Я не двигался, рука, державшая эту штукювину, тоже застыла, я чувствовал, как в меня проникает ритм тикающего механизма; сверху паровоз был накрыт брезентом, чтобы пилотам истребителей не было видно, как кочегар подбрасывает в топку уголь, затем одна за другой шли низкие, открытые платформы, а на них — переложенные соломою ящики с порохом... три, четыре, пять вагонов, считал я, луна скрылась за бежевого цвета тучей, из которой сыпал снег, но луна все-таки была видна, ее обод просвечивал, как затопленный обруч со дна неглубокого ручья; семь, восемь, девять... снег так разошелся, что не было видно ни паровоза, ни последнего вагона; одиннадцать, двенадцать, тринадцать... я бросил взрывчатку так легко, как будто бросил в реку букетик цветов, я все рассчитал точно и выпустил устройство из рук тогда, когда подо мной оказался передний край вагона, взрывной механизм упал аккуратно посередине, теперь он лежал там и вел поезд специального назначения прямо к своей гибели. Я, не отрываясь, до самого последнего момента вглядывался в этот вагон, в пятно, находившееся ровнехонько посередине, в этот четырнадцатый вагон, пока его не скрыл снег...

Я решил, что буду наблюдать отсюда, сверху, четыре минуты, буду, как охотник из укрытия, поджидать момент взрыва... А потом я увидел стремительно приближающуюся будку охранника в конце последнего вагона, из которой внезапно вырвался длинный луч света и остановился на мне; я достал револьвер и увидел, как прямо подо мной блеснул ствол карабина. Я выстрелил, и одновременно раздался выстрел из этой будки, направленный на меня фонарь полетел на землю и продолжал светить из присыпанной гравием канавы, после чего из будки охранника кто-то выпал и покотился в ров. И я почувствовал боль в плече, револьвер выпал у меня из рук, и я упал головой вниз, но моя шинель зацепилась за скобу; в семафоре заскрежетало, и зеленый свет сменился красным, плечо семафора приняло вертикальное положение, я висел головой вниз и слышал треск рвущейся шинели, из кармана у меня выпали ключи и посыпалась мелочь, в ушах у меня гудело; я видел, как удаляется поезд, как он вписался в поворот, внезапно он представился мне едущим по

небосводу вверх колесами, красные фонарики последнего вагона все удалялись и удалялись. Во рву под семафором я увидел свернувшегося в клубок солдата, на него падал снег, шапки на нем не было, он был лысым... Моя рубашка потихоньку рвалась, я чувствовал, как из-под нее по шее течет кровь, шинель не выдержала, лопнула и затрещала по шву, и я стал падать на голову, на шею, в черный, пропахший машинным маслом гравий...

Я упал на руки и ободрал ладони об острые края камней. Я сполз в ров, к этому немецкому солдату, который, лежа на боку, маршировал на месте, он безостановочно рыл снег тяжелыми солдатскими ботинками, вот уже показалась промерзшая земля, солдат держался за живот и стонал. Я приложил ладонь ко рту, а когда кашлянул, увидел на руке кровь. Этот немецкий солдат прострелил мне легкие, а я ему, наверное, живот. Теперь я понял, почему дежурный по станции пан Губичка целый вечер отхаркивался и слезывал, — он как бы заранее знал мой конец... дежурный по станции пан Губичка никогда в жизни ничего не боялся, это чувство было ему неведомо, а то, что случилось, было как бы сильнее его, как будто все, что произошло, на самом деле произошло раньше, чем в действительности... Я смотрел в небо, с неба падал снег, я повернулся на бок и подполз к этому солдату, который начал стонать еще громче и повторять одно и то же слово.

— Mutti, Mutti, Mutti! — кричал он, а я смотрел на него, харкал кровью и догадывался, что он зовет не свою мать, а мать своих детей, потому что он был уже совсем лысым; когда я нагнулся над ним, я вдруг заметил, что он очень похож на дежурного по станции пана Губичку, то есть до того похож, что я поразился. Он все держался за живот и все как бы хотел расстаться со своим простреленным телом, убежать от него и поэтому продолжал маршировать на месте, роя снег тяжелыми солдатскими ботинками.

Я раскинул руки и лег на спину, из уголка губ у меня текла кровь, в груди жгло. И вдруг я увидел то, что постоянно, как я думаю, видел дежурный по станции пан Губичка: что я пропал, что единственное, чего я могу дожидаться, это, как поезд взлетит на воздух, а больше мне ждать нечего, кроме смерти, — я умру или же от этой раны, или немцы найдут меня и расстреляют или повесят, как это у них принято, вот так я понял и осознал, что мне была предназначена иная смерть, а не та, которую я было сам себе избрал в Бистрице под Бенешовым; мне только было жаль, что я ранил в живот этого немца, который все прижимал руки к паху и все маршировал своими ботинками, и я знал, что ему тоже не поможет никто, потому что рана в живот — смертельна, но только смерть, к которой маршировал

этот немец, была далеко, а он маршировал на месте, приговаривая себе в такт:

— Mutti, Mutti, Mutti!

Это его солдатские башмаки скреблись в моем мозгу. Я перевернулся и на локтях подполз к этим самым ботинкам, я попробовал остановить их ход обеими руками, но ноги продолжали свое безостановочное движение, они не подчинялись мне, они вырывались из рук, как будто это были поршни какой-то машины. Я достал из кармана шнурок, которым привязывал номерки к багажу, и связал им ботинки; на мгновение ноги прекратили марш, замельтешились, пытаюсь вырваться, после чего с силой машины разорвали шнурок и вновь задвигались по земле, даже убыстрив свой ход; солдат кричал все громче:

— Mutti, Mutti, Mutti!

Все назойливее мне лезло в голову то, о чем я совсем не хотел думать, а именно то, что завтра моя мама будет стоять за занавеской и ждать, а я уже никогда не приду, не сверну с улицы на площадь, а мама не станет тереть занавеску в знак того, что она ждет меня, что она меня видит и что она счастлива, потому что моя мама никогда не спит спокойно, когда у меня ночная смена, так же, наверное, как и жена этого немецкого солдата с той самой минуты, когда он поехал на фронт; она тоже не может уснуть, она тоже стоит где-нибудь за занавеской и ждет, чтобы кто-то свернул в ее улочку и чтобы этим кем-то оказался тот, кто сейчас марширует на месте, зовет ее, стремится к ней, идет и идет, и идет, но приближается лишь к смерти. Я подполз к нему и крикнул в самое ухо:

— Ruhe! Ruhe!<sup>1</sup>

Но этот солдат свое уже отжил. Проведя рукой по снегу, чтобы найти опору, я нащупал холодный ствол карабина, сжал его и перевернулся на бок. Солдат лежал на снегу, я напротив него. Я приставил карабин к тому месту, где у него должно было быть сердце, однако правая и левая сторона у меня перепутались, так что я сначала убедился, где какая, сделал я это так: обеими своими руками я попробовал; какой из них я могу писать, и только после этого приставил дуло карабина к сердцу солдата, чтобы он больше не кричал и чтобы не надувались мозги от его крика; я нажал курок. Раздался выстрел, сдавленное, концентрированное пламя опалило мундир, в воздухе запахло жженой шерстью и хлопчатобумажной тканью, но солдат стал только еще громче звать мать своих детей, свою жену и еще быстрее зашагал на месте, как будто это были те самые последние шаги, а за ними уже садик, домик, в котором живут такие его родные...

Снег перестал, взошла невероятно красивая луна, вокруг — на многие километры —

повсюду тикали разноцветные секундные стрелки часов, запряженные в каждой снежинке; на шее солдата блеснула серебряная цепочка, а на цепочке было что-то, что солдат обхватил обеими руками, продолжая во всю мочь кричать:

— Mutti, Mutti, Mutti!

Я приставил дуло карабина к его глазу и опять нажал курок, сам я при этом лежал в чрезвычайно странной позе. И вот он умолк, я видел, как его ноги постепенно переставали двигаться, наконец замерли; я лежал на нем и ощущал, как тело солдата обволакивает покой и тишина, оно затихало и затухало, как машина после sireны, возвещающей об окончании рабочего дня. И из меня текла кровь, заливая мундир этого солдата, я вынул платок и попытался вытереть это кровавое пятно, я с трудом дышал, начинал задыхаться, но, собрав все силы, я перевернулся на бок и, вытянув руку, ухватился за цепочку, за которую держался немец; лицо его было спокойно, только вместо правого глаза зияло опаленное отверстие, как монокль... я сорвал с него эту цепочку и в блеске луны увидел, что это медальон, на одной стороне которого был зеленый четырехлистник клевера, на другой — надпись: «Bringe Glück!»<sup>1</sup>

Не принес этот клевер счастья ни этому солдату, ни мне; он был таким же человеком, как и я или пан Губичка, у него не было никаких званий или знаков отличия, однако мы друг в друга стреляли, ранили друг друга и привели друг друга к смерти, хотя наверняка, если бы мы встретились где-нибудь в мирной жизни, мы бы, возможно, понравились друг другу, поговорили бы...

А потом раздался взрыв. И я, который еще секунду назад наслаждался мыслью об этом, лежал теперь рядом с немецким солдатом; я протянул руку, раскрыв его застывшую ладонь и вложил в нее этот зеленый клевер с четырьмя листочками, который приносит счастье, а в это время вдали вверх взметнулось облако в форме гриба, оно поднималось к все более и более высоким этажам туч, я почувствовал, как воздушная волна пробежала по всей местности, со свистом и стоном качнула голые ветки кустов и деревьев, приводные ремни семафора, как она ударила мне в плечо, а я давился кашлем и харкал кровью.

До самой последней минуты, до тех пор, пока я не перестал ощущать самого себя, я держал этого убитого немца за руку и в его неслышащие уши повторял слова начальника поезда, этой самой «ракеты», которая привезла из Дрездена этих несчастный немец:

— Дома надо было сидеть! На жопе...

© Copyright by Bohumil Hrabal, Praha, 1965.

Перевод Виктора Бурякова

<sup>1</sup> Тихо! Тихо! (нем.).

<sup>1</sup> «Принеси мне счастье!» (нем.).

## В компании пана Грабала и его друзей

Для многих Чехословакия — это прежде всего родина Ярослава Гашека, автора знаменитых «Похождений бравого солдата Швейка». Однако, чтобы лучше понять «Швейка» с его раблезианской сатирой на эпоху Франца-Иосифа, якобы наивным интеллектom и простецким натурализмом, не следует забывать, что его создатель Ярослав Гашек был тесно связан с чешским «да-да» — дадаизмом, который был не только направлением в живописи, но и художественным течением в более широком смысле. Произведения дадаистов непременно шокировали, провоцировали зрителей, взрывали общепринятые устои и нормы. Так что при рассмотрении «Швейка» еще и с точки зрения традиций чешского дадаизма, любимый многими герой перестает быть только придурковатым солдатом. Его нарочитая рубашечная простота и умственная ограниченность сродни нонсенсам и примитиву Тициана Тцара, у которого идиотизмы «да-да» — не более чем прием, позволяющий нешаблонно взглянуть на мир.

Швейковские традиции живы и в сегодняшней Чехословакии, одним из их хранителей и продолжателей вне всякого сомнения является самый читаемый, почитаемый и любимый в своей стране писатель — Богумил Грабал, которому в 1989 году исполнилось семьдесят пять лет. Проза Грабала интересовала, привлекала не только читателей, но и кинематографистов, отметивших новаторство писателя сразу же после выхода в свет сборника рассказов «Жемчужинки на дне» (1963 г.). Отдельные новеллы были экранизированы режиссерами чешской «новой волны» и вошли в фильм под тем же названием. Инициатором этого предприятия был Иржи Менцель: прежде чем перенести на экран «Поезда под особым наблюдением», он «зажег» своих коллег Хитилову, Шорма, Немеца и Иреша идеей снять фильм по коротким рассказам любимого всеми уже тогда Богумила Грабала.

Сюрреалистическая поэзия будней, характеризующая, пожалуй, все творчество Грабала, оказалась чрезвычайно близкой по духу и самому известному из чешских кинематографистов — Милошу Форману. Вот фрагмент интервью с режиссером («Чехословацкое кино» № 4, 1965):

— Вы коллега молодых начинающих постановщиков «Жемчужинок на дне». Каковы ваши взаимоотношения с этой груп-

пой режиссеров и какого вы мнения об их фильме?

— По-моему, «Жемчужинки» — один из лучших и самых гуманных фильмов, какие я когда-либо видел. Он сделан с таким мастерством, что я завидую его авторам.

Несмотря на восторженную характеристику, данную фильму Форманом, вряд ли его можно оценить столь же однозначно, и дело здесь прежде всего в прозе Грабала, далеко не всегда легко поддающейся переложению на язык кино. Наибольшие сомнения вызвала новелла «Мошенники», снятая Яном Немецем. Это диалог двух старичков, живущих в богадельне, один из которых прикован к постели, а второй расхаживает по комнате. Они рассказывают друг другу истории из жизни, как мы догадываемся, в основном вымышленные. Рассказ Грабала написан свободно и как бы лишен внутренней драматургии, в нем нет авторского комментария, и диалог производит впечатление расшифрованной магнитофонной ленты. Режиссер по-своему выстроил новеллу, при этом сильно ее сократив, и, лишившись непередаваемой горечи подтекста, «Мошенники» потеряли часть силы художественного воздействия. Рассказ Грабала — о страшных последних мгновениях, когда подводится баланс всей жизни; фильм Немеца — о забавных старичках, упражняющихся друг перед другом в вымыслах и обманах. Лишь грустный конец тот же самый: два гроба отправляются на автомобиле в морг.

Гораздо более верной литературной первооснове представляется новелла, снятая Эвальдом Шормом «Дом радости». Поразительная беседа, которую ведут художник-примитивист и его мать с пришедшими к ним в дом двумя страховыми агентами, в буквальном смысле раскрашена картинками, создаваемыми прямо на глазах зрителей художником-наивистом Науличком, играющим главную роль в фильме. Как ни странно, чуть ли не документальный фильм о работе Науличка в конечном счете является симбиозом элементов абсурда, фантастики, гротеска и якобы наивной философии вполне в духе Грабала.

По единодушному мнению, абсолютную неудачу потерпел Яромил Иреш с новеллой «Романтика». Режиссер очень уж буквально, дословно, не обращая внимания на нюансы стиля, тонкий юмор, своеобразную поэзию и, главное, полную абсурдность целого, пересказал историю молодого человека, который, находясь в романтическом тумане после просмотра фильма с Жераром Филиппом, попытался пойти «навстречу судьбе».

Подлинной жемчужиной среди «Жемчужинок» оказалась короткометражка Веры

Хитиловой «Пивная «Мир». В туалете буфета на окраине города обнаружен труп повесившейся девушки. Хозяин пивной вызвал милицию. Незвестный рассказывает о своей жизни, из-за закрытых дверей зала доносятся голоса гостей, гуляющих на свадьбе. Все уже сильно подвыпили, и жених начинает пререкаться с милиционером. В экспозиции рассказа Грабала было только одно предложение: «В пивной зал из салона доносилась свадебная музыка и гул гостей, переходящий в громкий неудержимый хохот». Эта фраза повторена в рассказе шесть раз, как бы напоминая читателям о происходящем за стеной свадебном веселье. Но не только — и это очень точно почувствовала, уловила Хитилова. Слушая рассказчика, мы все время слышим веселящихся гостей, кто-то постоянно распахивает дверь, и то один, то другой персонаж оказывается в центре зрительского внимания — совсем, как в «Свадьбе» Станислава Выспяньского. Невеста выходит в буфет и здесь встречается с неизвестным. Они вместе направляются в парк. Неожиданно спутник срывает с невесты фату, рвет ее и обрывками привязывает молодые деревья к колышкам. Молодая женщина соглашается пожертвовать даже своим подвенечным платьем с условием, что новый знакомый сделает ее посмертную маску... И вполне документальный финал: восход солнца в городе, мокрая от ночного ливня трава и молодые деревца на фоне блоков жилых домов, подвязанные обрывками свадебного платья. Чешский критик Иржи Горак, оценивая «Пивную «Мир», писал: «Самое большое достижение Грабала в том, что он помогает отряхнуться от прекрасных иллюзий. Хитилова же, которая выбрала для экранизации, может быть, самый «иллюзорный» его рассказ, единственная из всех режиссеров сумела передать его рассказ, единственная из всех режиссеров сумела передать его при помощи неуловимых, иллюзорных брызг».

На своего рода «измене» Грабалу основан фильм самого горячего его поклонника — Иржи Менцеля, правда, сценарий «Смерть пана Балтазара» написан им вместе с писателем. Это рассказ о спортивных болельщиках, которые наблюдают за соревнованиями на трассе мотогонок. Каждый считает своим долгом вспомнить о какой-нибудь чудовищной катастрофе, свидетелем которой он был. Значительно переделав новеллу Грабала, Менцель дал ей прямо-таки совершенный кинематографический эквивалент: настоящие гонки в общем-то никого не интересуют, все захвачены собственными историями, так что даже решающие заезды не оказываются в центре внимания. Смерть фаворита, известного гонщика Балтазара, происходит где-то на трассе, не замеченная

никем. Все расходятся. Но, спустя какое-то время, болельщики вновь займут места вдоль трассы уже других соревнований и будут пересказывать друг другу, как прямо на их глазах погиб славный гонщик. Все это обретет домислами и станет легендой, передаваемой из поколения в поколение.

Блеснув в качестве режиссера заглавной новеллой в фильме «Преступление в женской школе», Иржи Менцель в своем первом полнометражном фильме «Поезда под особым наблюдением» затронул вопросы чрезвычайно болезненные, щекотливые, например, национальную ментальность чехов. Но главное — показал войну так, как никто до него. Царящая на маленькой железнодорожной станции немилосердная скука и мастерски сконструированное все возрастающее эротическое напряжение взорваны в финале катарсисом нелепой, трагической и тем не менее обязательной гибели героя. В фильме практически нет действия — на станции ничего не происходит, однако художественная деформация действительности дана Менцелем в таком ракурсе, что от экрана невозможно оторвать глаз, — чувство, знакомое зрителям еще по фильмам Формана. Война у Грабала и Менцеля проходит где-то в стороне, она, собственно говоря, как бы и не нужна для повествования, только отголоски ее отрывают обитателей станции от повседневных, будничных занятий. Когда сексуально озабоченный герой фильма практикант Милош Грама проводит неудавшуюся любовную ночь со своей пассией, молоденькой кондукторшей Машей, он перерезает себе вены. Но первая же любовная победа вызывает огромный прилив энергии, делает возможным совершить серьезные поступки. Милош — фигура, чрезвычайно близкая молодым людям 60-х годов, например, герою «Черного Петра». Только Петр в фильме же Формана противится тотальной вселенской лжи, на которой держится окружающий его мир. Милош у Менцеля отнюдь не борец, он просто всем своим существом и самим своим существованием противопоставит ханжеству и общепринятому лицемерию, правда, ему везет больше, чем Петру: вокруг него нет человека, который бы ему не симпатизировал и не пытался помочь.

После следующего фильма — «Капризное лето», снятого в 1967 году по небольшой повести Владислава Ванчуры, один чешский критик назвал Менцеля «каллиграфом «новой волны». Возможно, это действительно самый совершенный в художественном отношении фильм Иржи Менцеля, но все же именно «Поезда...» принесли режиссеру мировую известность.

После того, как в 1968 году Грабал вместе

со многими честными и талантливыми деятелями культуры, литературы и искусства Чехословакии поставил свою подпись под знаменитым манифестом «2000 слов», к творчеству писателя стали проявлять все больший интерес отечественные «литературоведы». «Певец мелкотемья, стоящий в стороне от магистральной дороги чешской литературы» — после таких и подобных этому определений творчества Грабала, данных «с партийных позиций», печататься на родине становилось все труднее.

К «певцам провинциализма и мелкотемья» чехословацкая критика относила и режиссера Ивана Пассера, создателя такого, безусловно, выдающегося фильма, как «Интимное освещение» (1966 г.). Дебют же Пассера в кино в качестве режиссера (до этого он был сценаристом и ассистентом Милоша Формана) состоялся, когда он перенес на экран новеллу Грабала «Скучное послеобедение», которая должна была войти в «Жемчужинки на дне», но в конце концов демонстрировалась в кинотеатрах как самостоятельное произведение.

В грязноватой пивной четыре пожилые женщины играют в карты, распевая при этом весьма фривольные песенки. По залу слоняется мужчина, приставая к клиентам и угощая всех квашеной капустой. Провинция. Скука. Тоска. И истинно грабаловский сюрреалистический финал: помятый человек с горшком капусты в руках внезапно устремляется за какой-то неземной, невероятной красивой женщиной. Вслед удаляющейся паре смотрят печальные глаза двух белых лошадей...

Полуопальный, все реже упоминаемый в официальной печати Грабал оказался настолько близок молодому и чрезвычайно одаренному режиссеру, что Пассер решил приступить к съемкам фильма по его замечательной повести «Легенда о прекрасной Юленьке». Ни разрешения на съемки, ни, разумеется, денег от чехословацких властей он не получил, поэтому продюсером фильма стал выдающийся кинематографист с безупречным вкусом Карло Понти, финансировавший также и фильмы других режиссеров чешской «новой волны» («Мать и сын» Яна Немеца, «Горит, моя девочка!» Милоша Формана и др.). Однако фильм, к сожалению, снят не был. Вскоре Пассер, как и большинство ведущих чешских кинематографистов, был вынужден эмигрировать. Что же касается Грабала, то в течение двадцати с лишним последовавших за августом 1968 года лет оставшиеся в Чехословакии режиссеры к его прозе не обращались.

До проката лучших фильмов чешской «новой волны» в СССР дело не доходило

(поэтому-то и приходится пересказывать их сюжеты «на пальцах»), и даже до последнего времени писалось и пишется о них мало, и то, как правило, официально, казенно и, что самое главное, глубоко неверно. Так что открытие великой кинематографии, «раздавленной в 1968 году советскими танками», зрителям и читателям нашей страны еще только предстоит.

Закавыченное определение взято из статьи «Чехословацкое кино» в престижном Оксфордском кинословаре. Оспаривать ее вроде бы некорректно, тем более что во многих современных фильмах разных стран, как художественных, так и документальных, весьма часто мелькают знакомые кадры из последнего снятого у себя на родине Яном Немецем фильма — документальной «Оратории для Праги» (1968 г.): советские танки «украшают» Вацлавскую площадь чешской столицы. Но, ничуть не умаляя заслуг воинов-интернационалистов, вторгшихся в Чехословакию на основании «доктрины Брежнева», все же истинны ради отметим, что тяжелые времена для кинематографистов наступили еще в 1967 году, — в стране всему наиболее талантливому в отечественном кино, был дан последний и решительный бой. Пресса стала клеймить фильмы, которые «отравляют сознание рабочего класса». На самом высоком партийно-государственном уровне была проявлена озабоченность насчет идейного разброда и шатаний, после чего начался массовый исход в эмиграцию тех, кем небольшая республика могла бы гордиться. Это тем более печально и с нормальной точки зрения необъяснимо, что фильмы «пражской весны» за редчайшим исключением не содержали в себе абсолютно никакой политической «крамолы», «криминала». (Как уместно тут еще раз вспомнить практически запрещенного в течение многих лет Богумила Грабала.) Лишь несколько фильмов можно было отнести к собственно политическим («Обвиняемый» Кадара и Клоса, «Стыд» Гельге, «Шутка» Иреша по роману Кундеры), и только лишь сейчас, в 1989-90 гг., выплывают из небытия созданные еще в те годы «неведомые шедевры»: уже успевшие получить международное признание «Жаворонки на нитях» Менцеля или только что снятый с полки «Ухо» Кахины. Весьма отрывочные и труднодоступные до недавнего времени материалы и факты пока еще не сложились в целостную картину варварского разгрома, учиненного не только «гостями», но и «своею собственной рукой» над воистину великой кинематографией. Дело специалистов — дополнить ее не известными пока штрихами, мазками, красками.

**Виктор Буряков**



Семен  
ФРЕЙЛИХ

## ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЯ

*Дай оглянуться — там мои могилы,  
Разведка боем, — молодость моя.*

*Илья Эренбург  
(из испанских стихов)*

### Февраль

Я упал на снег и больше не двигался. Танк, который меня подстрелил, остановился в пятидесяти метрах.

Пуля пробила грудь, ушло много крови. Надо узнать, есть ли еще силы, но я не шевелюсь — пусть немцы думают, что я убит.

Так и лежу, в полушубке, щекой в снег, зажав правой рукой рану.

Невдалеке замечаю убитого в каске. Это, кажется, майор Шаров, командир артдивизиона. Два часа назад мы с ним завтракали.

Дивизия получила приказ на марш, но, зная, что противник далеко, завтракали не спеша, с удовольствием открывая консервы и разливая из фляги положенную каждому «наркомовскую норму» — сто граммов водки. Сколько в действительности пили — нарком проверить не мог.

Мы шли тремя колоннами, мороз бодрил нас, весь в солнечных бликах под ногами скрипел снег.

Немецкие танки появились неожиданно.

Ведя огонь из пушек и пулеметов, они ворвались в наши колонны, смяли и начали терзать. Рассеченные на группы, мы кое-как справлялись с немецкими автоматчиками, но что мы могли поделать с танками без артиллерии — она не успела развернуться. За два часа боя мы потеряли несколько сот человек.

Все произошло так нелепо, что я до сих пор не могу вспоминать этот день без стога.

Катастрофа ошеломила, положение казалось непоправимым.

Но противник не собирался продолжать наступление, он нанес этот броневой удар только для того, чтобы вернуть станицу Брыньковскую. За станицей была дорога, он теперь мог по ней отвести свои тылы. Через два-три дня он сам оставит эту станицу.

Маневр противника стоил нам дорого.

Немцы тоже понесли потери, и не только в живой силе. Я видел, как майор Шаров из пушки, оказавшейся у него под рукой, подбил один танк — другой танк, увы, решил судьбу его самого.

Теперь Шаров лежал недалеко от меня, на нем была каска, но она ему уже была ненужна.

Я вспомнил свой дом и представил маму, когда ей принесут извещение.

Конечно, глупо лежать на снегу и притворяться мертвым. В конце концов силы оставят меня, забудусь, начну бредить, фрицы вылезут и возьмут меня живым. Этого я не допущу. Свой автомат и два запасных диска я расстрелял еще там, в станице, когда шел бой за каждую улицу, за каждый дом. Я вспомнил, что в нагрудном кармане должен быть маленький браунинг. Тихонько проверяю ладонью через полушубок. Есть. Мне даже стало веселее. Если ко мне приблизятся, достану эту штуку и сам все решу. А может быть, перед этим еще успею резануть одного фрица, на прощание.

Я стал себя подбадривать, называть по имени: мол, действуй, старина, никто тебе помочь не может, ты сам должен выбраться, только действуй, не лежи.

И я пополз туда, к нашим, где уже, наверное, готовится контратака.

Я старался не думать о танке и не мог — он оставался позади меня.

Я избрал цель — вот тот вытянувшийся в нашу сторону сарай: в нем можно укрыться.

Пулеметная очередь разорвала мои надежды. Рядом в снегу снова зашипели, как змеи, пули. До сарая мне не успеть.

Неожиданно я увидел сани с лошадьми, на передке сгорбилась ездовой. Не меня ли поджидает этот человек? Сейчас взберусь к нему, он щелкнет кнутом, и кони унесут нас из этого ада.

Не помню, как я очутился в санях.

— Гони!

Я кричал, как мне казалось, во весь голос, но на самом деле только шевелил губами, на них показалась кровь.

Ездовой даже рукой не двинул.

Лежа на спине, я толкнул его ногой, и он упал, как мешок.

Ездовой был мертв.

Я схватил вожжи, сколько было сил натянул и сразу чуть отпустил, понуждая лошадей рвануться с места. Клячи, с трудом сдвинув примерзшие полозья, тут же стали как вкопанные.

Немец дал очередь, и щепки полетели от задка саней.

Мысль сработала молнией: надо успеть выпрямиться и, взмахнув руками, рухнуть на снег — пусть он думает, что этой очередью закончил свою работу.

Я лежу на земле и прислушиваюсь. Тихо — значит я его опять обманул.

До сарая было несколько шагов. В нем две двери, и ближняя и дальняя — настежь.

Ползти уже нельзя: стрелок в танке

оказался, на мое счастье, дерьмовый, но теперь он не промахнется, да и разозлился он, конечно, — ему надоела эта игра.

Надо встать и сделать бросок.

Сейчас я поднимусь.

Я набрал воздух, вскочил на ноги и, как сумасшедший, ворвался в сарай.

Пулемет в щепки дробил дверь.

Но я уже был внутри.

Я прошел половину сарая и увидел яму, около нее была груда брикетов торфа.

Меня сильно знобило, и я залез в эту яму. Потом почти машинально стал закрывать над собой вход брикетами, оставил только щель для воздуха.

Немного согрелся от собственного дыхания.

Под полушубком расстегнул гимнастерку, достал браунинг и прислушался.

Тишина.

Слышу только собственное сердце: тук-тук...

Опять ерунда получается: выходит, сам себя акуратно замуровал.

Разгребаю правой рукой (левая висит плетью) брикеты, вылезая из ямы и иду к дальней двери.

Выглядываю.

Слева на прежнем месте стоит танк, на броне белеет крест.

Справа — никого. Там вал, за ним обрыв и озеро. За вал танкам не пройти, да и лед не выдержит. Значит, за валом — свобода. Прикидываю, что до той свободы метров сорок — разве добежишь под наведенным пулеметом?

Надо выбрать промежуточный рубеж.

Между валом и мной огромная воронка, земля из нее выворочена не то бомбой, не то снарядом крупного калибра.

Если сперва добежать до той воронки...

Снова набираю воздух и снова мчусь. Падаю вниз, а над головой уже свистят пули, одна щипанула ушанку — но я уже на дне воронки.

Выползаю на другую сторону, выглядываю — до вала рукой подать.

Вскакиваю, пули полоснули полушубок — щип-шип, и я падаю за вал.

Упал буквально на голову двум нашим военным, лежат с автоматами наготове: один, как я, в полушубке, другой в шинели. При них были под седлами кони.

Тот, который в полушубке, меня узнал, я его тоже помнил — это был капитан, уполномоченный Особого отдела в одном из наших полков. Другой, видно, его ординарец.

Из безопасного места мне захотелось увидеть свой танк. Я выглянул, отсюда был хороший обзор: по всему рубежу, занятому немцами, стояли танки, ощерившиеся своими пушками и пулеметами. А вот и мой,

персональный, черт бы его побрал.

— Видал? — спросил капитан.

Значит, эти двое, видели, как меня мотал немецкий танк. Конечно, помочь они мне ничем не могли, они сами были в критическом положении. Здесь, в укрытии, им самим оставалось ждать наступления темноты, чтобы безопасно отойти через простреливаемую зону. Если же противник стал бы сейчас продвигаться сюда, они рискнули бы на конях проскочить открытую местность.

Их двое, и коней пара.

Я оказался лишний.

Капитан был расстроен, я это видел по его лицу.

— Ранен? — спросил тем не менее капитан. — Полушубок у тебя, как решето.

Я попросил закутить. Капитан кивнул ординарцу, и тот свернул мне папироску. Я затаился и закашлялся, из горла тотчас хлынула кровь.

Я прилег на снег, меня снова стал бить озноб.

Капитан смотрел с сочувствием.

— Тебе согреться надо... Попробуй туда...

Он показал в сторону домика, над его крышей вился дым, спокойно, как будто не было войны. Домик находился в нейтральной зоне, пробраться к нему можно было по оврагу.

— Он проводит тебя, — сказал капитан и снова кивнул ординарцу.

Капитан все-таки хотел от меня избавиться.

А я действительно замерзал. Надо было двигаться, но я пошел не в домик, откуда жители, затопив печь, куда-нибудь убежали, когда началась стрельба, я пошел через озеро к нашим: другого выбора у меня не было.

Выйдя на лед, я снова был на виду у немцев. И кто бы мог подумать: танк один за другим пускает из пушки три снаряда, не разрывные, а болванки, которые страшны только при прямом попадании; они падали недалеко от меня и, не причинив никакого вреда, пробивались под лед.

Перейдя озеро, я попал на мост; он был разбит, и я стал его обходить.

Видно, моим испытаниям в этот день не суждено было еще кончиться; около моста лед был некрепким, он рухнул подо мной, и я оказался в полынью. Едва не задохнулся от ледяной воды, но каким-то чудом успел хватиться за перекладину и только поэтому не утонул. Я пытался подтянуться и выбраться вверх, но каждый раз срывался под воду, какая-то сила выталкивала меня оттуда, и я снова хватался за перекладину. Меня вытащили солдаты, они шли к передовой — наши накапливали силы для контратаки.

Те, кто вытащили меня, соскребли с меня лед, подошел их лейтенант и дал глоток

спирта; я обжег горло, потом почувствовал, что во мне еще есть тепло. Я с трудом стоял на ногах; лейтенант что-то сказал пожилому солдату, и тот повел меня на пункт первой помощи.

Остальные пошли на передовую.

...Я лежал в госпитале в теплой и чистой палате и думал о том, что случилось. Мне все-таки повезло. Я думал так, хотя еще тогда не знал всего, что миновало меня в тот день, а узнал я об этом только три месяца спустя, когда после госпиталя снова оказался в этих печальных местах.

В двадцать три года раны заживают быстро: в конце апреля я уже был здоров.

В госпитале я подружился с одним полковым врачом, капитаном медслужбы, который также попал сюда по ранению и также уже выздоравливал. Фамилии его я не помню, но хорошо помню его рыжую голову и чуть хромающую походку, помню, как мы, выйдя далеко за станицу Каневская, где помещался госпиталь, наслаждались в поле тишиной. Никто, кроме солдата, не знает, что это значит, когда ты можешь идти в открытое поле, не сгибаясь, или можешь просто лечь и вдыхать в себя запах земли. Это было для нас счастьем, потому что мы были свободны от страха и весь мир — и эта земля, и это небо, и этот весенний воздух — принадлежал нам просто так.

И все-таки счастье наше было тревожным, горьковатым: мы должны были снова вернуться туда.

Незадолго до Первого мая я получил письмо из дивизии — меня ждали к этому дню. Письма тогда проверяла военная цензура, но мне намеками дали знать, где находилось наше «хозяйство», то есть наша дивизия. За день можно прибыть туда на попутных машинах.

Я сказал об этом своему другу. Однако он захотел майский праздник провести в госпитале. Думаю, причиной тому была врач госпиталя, молодая женщина, овдовевшая в самом начале войны.

А мне нравилась сестра Вера; помню, что она была из Луганска. Я всегда ее буду помнить, потому что она первая перевязала мои раны, а потом терпеливо выхаживала; может быть, благодаря ей я остался жив. Я до сих пор помню ее любопытный взгляд, ее застенчивую улыбку и нежное прикосновение ее рук.

И все-таки я решил ехать.

Ночью меня разбудил рыжий военврач и сказал, что едет тоже.

И вот моего рыжего провожает врач, а меня сестра Вера. Женщины за последние дни сдружились и теперь стояли, как подружки.

Когда мы сели в машину, обе заплакали.



Мы ехали полдня, потом пересели в другую машину.

Я хотел увидеть станицу, где меня ранило. Однако, не доезжая километров десять до Брыньковской, машина свернула вправо. Нам же надо было налево, и мы пошли пешком.

— Смотри, смотри! — сказал военврач.

Через дорогу переползала змея. Я достал браунинг и прицелился: осечка, второй раз тоже осечка, третий — тоже. Оружие надо будет проверить сегодня же, подумал я.

Станицу я не узнал, наверное, потому, что тогда был февраль, а теперь апрель, все, конечно, переменялось, а может быть, просто мы вошли теперь совсем с другой стороны: не с восточной, как тогда, а с южной.

Мы попросили попить у женщины, которая мыла окна. Она пригласила нас в дом и угостила молоком. В избе вертелись две девочки; поглядывая на нас, они о чем-то шептались.

Мы закурили, и я разобрал браунинг — оказалось, в нем был сломан ударник бойка. Браунинг был трофейным, его мне подарил командир разведроты, видимо, не сделав из него и выстрела.

Мы поблагодарили хозяйку и собрались уходить.

— Товарищ старший лейтенант, а как ваша фамилия? — вдруг спросила одна из девочек.

Я сказал.

— Я же тебе говорила, — сказала она подруге. — Не уходите, мы сейчас.

Они обе убежали, а потом притащили какие-то документы. Это были мои документы: армейское удостоверение личности, довоенный студбилет, с которым я уехал на фронт, разведсводка. Я теперь только вспомнил, что, когда полз раненый, сунул под снег свой планшет, чтобы документы (они считались секретными) не попались немцам.

Девочки рассказали, как к ним все это попало. Немцы, спешно отступая, стащили убитых в сарай и подожгли его. Ветер погасил пламя, а потом местные жители похоронили погибших в братской могиле. По документам, подобранным на поле боя, пытались установить их имена. В список внесли и меня.

— А планшет кто-то забрал, — сказала девочка.

...Мы стоим у братской могилы.

Потом девочки показали нам другую небольшую могилу.

— Здесь майор Шаров, Герой Советского Союза, он два танка подбил — один из пушки, а на другой сам бросился с гранатами...

У меня сдавило в горле, и я ничего не мог сказать.

Мы попрощались с девочками, а потом на развилке дороги я расстался и с рыжим

военврачом — он поехал в свою дивизию, а я в свою.

## КОМДИВ

Рассказ «Февраль» был написан в 1965 году к двадцатилетию Победы. Я запомнил номер журнала «Искусство кино», в котором рассказ был опубликован. Естественно, это был пятый, майский номер. С обложки на нас бежал с автоматом Серго Закариадзе в образе героя фильма Резо Чхеидзе «Отец солдата». В номере были опубликованы и другие рассказы фронтовиков — Якова Сегеля, Григория Бакланова, Любови Калужной, Оттилии Рейзман, Николая Прозоровского, Ежи Плажевского, Владислава Микоши, Леонида Саакова. На фотографиях молодых военных нас еще легко узнавали.

Прошло еще двадцать пять лет. Иных уж нет, другие — старики.

Если сказать честно, я себя стариком не чувствую, конечно, не могу, как когда-то, вскочить в седло, но на трибуну надо не надо, по-прежнему вскакиваю, а ведь утром недомогал и дома дал жене слово сегодня не выступать, но кто-то в тебе еще сидит и заставляет действовать. Теперь я лучше себя понимаю и в прошлом. Началась война: посиди, осмотрись, законч институт — нет, сразу в военкомат, записываться в армию. Почему так было? Боялся, что без тебя успеют расправиться с фашизмом? Нет, финская война показала, что война с немцем будет затяжной, жестокой, долгой. Почему же мы в военкоматы бросились, в том числе и те из нас, чьи отцы были в 37-м репрессированы? Поколение не хотело для себя привилегий, нам стыдно было не разделять тяготы миллионов и миллионов. В жертвенности поколение нашло нравственное удовлетворение, даже счастье. Это стало духовным капиталом, на проценты которого общество может существовать, пока жив будет хоть один участник Великой Отечественной войны.

То событие, которое описал в рассказе «Февраль», локально: сегодня, наверное, я бы описал катастрофу, которая постигла мою дивизию в станице Брыньковская, масштабнее. Есть причины, которые меня заставили написать именно рассказ, а не трагедию или эпическое повествование.

Для человека, который участвует в событии, оно никогда не станет историческим. Отечественная война 1812 года меньше по масштабам нашей Отечественной 1941—1945 гг., но первая мне кажется масштабнее именно потому, что она отодвинута историей. Если ты сам участвовал в событии, день за днем, когда нужно заботиться о быте, о котелке с пищей и буханке хлеба, когда нужно отрывать окоп общего пользования, куда будут ходить по надобности, когда

между боями надо вылечивать раны, с кем-то дружить и петь песни, с кем-то быть в конфронтации, писать письма, ждать писем — словом, жить обыкновенной жизнью, которая и спасает человека в самых невыносимых условиях, об этом написаны два великих произведения — «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо и «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына.

Но даже в масштабах рассказа я кое-что утаил, не сообщил. Время является всегда соавтором писателя. Время — муза писателя и цензор его. Не всегда можно все сказать. Но то, что ты можешь сказать, должно быть истинно. При этом условии сама ограниченность — сила искусства. Сегодня, когда все разрешено, в литературу и искусство врываются страсти, нравственно и эстетически не укрощенные. Идет митинговая литература, называемая публицистикой. Конечно, этим надо переболеть как можно скорее, чтобы пошли романы и фильмы не как паводок прокламаций, нужны картины и трактаты с опережающим мышлением.

Прежде чем сказать главное, что я утаил в рассказе «Февраль», назову вещи невинные, но, как мне кажется, любопытные с точки зрения творческого процесса.

Описывая ощущение, когда в тебя входит пуля, я стремился точно передать физическое и психологическое состояние раненого человека. О таких вещах, наверное, невозможно догадаться или домыслить, если сам не пережил. Я убедился в этом, когда встретил в одном романе описание боя, в котором герой был точно так же ранен, как и я: пуля ударила в левую часть груди, ближе к плечу, и насквозь пробила легкое. Писатель, который, видимо, физически это сам не пережил, сильный удар пули додумывает метафорой: раненому кажется, что огромный свинцовый палец ткнул его в грудь, и он упал. На самом деле подобное ранение ощущается совсем не так. Когда пуля пронзает левую часть груди, кажется, что кто-то ладонью — не острым, а именно ладонью — ударяет, да так, что ты теряешь внезапно силы, momentarily что-то разбалансировалось в тебе, кровь начинает из тебя уходить, ты падаешь и говоришь: «Я убит». Я так написал и отвечаю за это, потому что такие моменты запоминаешь навсегда.

Не описал я также, вследствие малой площади рассказа, как попадаешь в госпиталь.

Сначала оказываешься на пункте первой помощи. Туда помогают тебе доковылять санитары, а то и легкораненые. Тяжелораненого в зависимости от обстановки тащат на плащ-палатке или несут на носилках. Военный язык — скорый язык. Поэтому в ходу сокращения. Пункт первой помощи — ППП. Наблюдательный пункт — НП. Ко-

мандный пункт — КП. Пистолет-пулемет Шпагина — ППШ. Командир батальона — комбат. Было непочтительное сокращение — ППЖ, что означает почтово-полевая жена, придумали это солдаты в отношении полевых жен командиров; у самих солдат ППЖ быть не могло, потому что бабу, как известно, в вещмешок, именуемый в просторечии «сидор», не посадишь; конечно, по божьему промыслу, могло пофорить и солдату, выпадал и ему заветный момент, это был случай молниеносный, без обязательств, хотя мог застыть на всю жизнь, а «вся жизнь» на войне это может быть один день.

Возвращаюсь к пункту первой помощи. Там задерживались легкораненые, те, кто потяжелее, отправляются в медсанбат. ППП были при полках, медсанбаты при дивизиях, в армейском подчинении, насколько помнится, были ППГ — полевые передвижные госпитали. Вот в такой ППГ меня вместе с другими тяжелоранеными и отправили. Погурили нас в машину, которая привезла снаряды. Так, видимо, она и курсировала: сюда снаряды или здоровое пополнение, обратно уже порченных — раненых или контуженых. Кузов был забит до отвала, не повернешься, машину трясло, раненые матюгались, а один, бритоголовый с вздутым зобом, орал, что есть мочи. Потом он стал задыхаться, хрипеть, зоб у него раздавался буквально на глазах, потом пена появилась на губах, когда прибыли в станицу Каневская, где должен был быть госпиталь, помощь ему была не нужна — он вдруг успокоился и, вздрогнув, отвалился на соседа, значит, душа его уже отлетела.

Конечно, лежать в машине с покойником не очень приятно, тем более вот-вот сам отдашь концы, а между тем нас не разгружали, вокруг машины суетились люди, они громко объяснялись с шофером, которому пора было возвращаться, оказывается, он из-за нас крюк отмахал, а нас сдавать некому было: госпиталь, который должен был здесь развернуться, в действительности еще не развернулся, нас стали выгружать прямо на снег, чтобы на первое время нас разобрали местные жители. И вот уже женщины бегут, кто с чем: кто циновку тащит, кто одеяло, кто охапку соломы. Лежим мы в рядок на снегу, сердобольные жители разбирают себе неходячих квартирантов. Конечно, это был акт милосердия, но тогда такое слово не в ходу было, может быть, потому, что, если делать что-то от души, не хочется говорить об этом, особенно публично. Сначала врачи с сестрами обходили раненых по хатам, а потом, когда развернулся госпиталь — в районной больнице и в близлежащей к ней школе, — нас стали забирать у станичников.

Некоторые привыкли к раненым и не

хотели их отдавать. Здесь действовал психологический закон: сделал человеку хорошее, и ты привязываешься к нему навсего. Да и паек неплохой получал раненый, во всяком случае у него оставались и консервы, и хлеб, и сахар, и он мог подкормить хозяйку и особенно детишек, а были они в каждом доме.

Есть еще три момента в этой истории, которых я не коснулся.

Один — совершенно комический, он мог бы стать темой самостоятельного рассказа под названием «Сапоги». Дело в том, что на том самом ППП, то есть пункте первой помощи, у меня сперли сапоги. Чтоб перевязать рану, с меня сняли полушубок, гимнастерку снять было труднее, и ее разрезали. Когда основательно почистили рану и забинтовали грудь, с меня сняли левый сапог, полный крови и воды, потом и правый сняли, из него тоже вылили воду. Одеть сапоги было не так просто, поэтому ноги замотали ватой и чем-то перевязали, а потом, когда началась поспешная загрузка раненых в машину, было не до сапог. Так и прибыл в госпиталь — ноги в вате и тряпках. В госпитале, когда стал выздоравливать, мне выдали сапоги БУ. БУ — еще одно сокращение и значит «бывшие в употреблении». Были гимнастерки БУ, брюки БУ, шинели БУ, шапки БУ. Так я получил старые сапоги — кирзовые, хорошо латаные, но главное — по размеру подошли: каждый военный знает, что значит, когда портянка натирает ногу от тесноты, не лучше бывает, когда чрезмерно свободен сапог; — портянка постепенно разматается, сдвинется, и результат будет тот же. В этих сапогах, когда пришел срок, я и прибыл из госпиталя в дивизию. Нетрудно представить себе радость встречи с боевыми товарищами. Сидим в блиндаже, фляга пошла по кругу, и именно в этот радостный для меня момент через открытую дверь блиндажа вижу: по тропинке идут мои сапоги, те самые, пропавшие. Читатель усомнится — как можно сапоги узнать через три месяца? А очень просто: таких сапог больше в дивизии не было. Это были немецкие темно-коричневые сапоги, кованые, с широким раструбом голенищ, немцы за каждое голенище закладывали по паре автоматных обойм (они у них были не круглые, как у нас, а плоские и длинные), а так как автомат у меня был немецкий, сапоги меня просто выручали, при них я был вооружен, можно сказать, до зубов.

Самое интересное — как они мне достались, эти сапоги.

В январе 1942 года мы взяли Пятигорск, среди пленных заметил обер-лейтенанта, на котором и были эти самые сапоги. И вот думаю: он — обер-лейтенант и я — старший лейтенант, если сравнить наши сапоги, то 134

мои, хромовые, почище его будут, так что, если мы произведем обмен, он в накладе не будет. Посылаю старшину роты — вот, мол, мои сапоги хромовые, отдай тому обер-лейтенанту, а его мне принеси. Так я и прошагал в коричневых немецких сапогах до самого рокового дня, когда мы оказались под станицей Брыньковская. А мои сапоги обер-лейтенанту все-таки не достались. Рассказал мне об этом старшина, но не сразу и не в Пятигорске уже, а в Тихорецке, за который у нас был жаркий бой. Когда после стрельбы и смертельной опасности внезапно наступает тишина, людям хочется говорить о чем угодно, лишь бы не о том, что только что произошло. Бросились в глаза старшине коричневые сапоги на мне, и он начал травить: оказывается, когда он увидел на обер-лейтенанте мои хромовые сапоги, обида его взяла нестерпимая, и от тут же снял с него их обратно, а ему отдал свои, кирзовые. За этим наблюдал часовой, сержант, как только старшина ушел, сержант предложил свои очень хорошие ботинки, разумеется, вместе с положенными к ним обмотками.

И все-таки совесть не мучает меня: мне, старшине и сержанту еще было воевать три года, а обер-лейтенанту вместе с другими пленными-соотечественниками предстояло восстанавливать наши города, которые они же старательно и разрушали, к тому же я знал, что пленные у нас получают хлеба вдвое больше нормы, установленной для моей матери, находящейся в эвакуации.

...А между тем коричневые сапоги удалялись по дорожке, и я попросил своего друга (сам я резких движений еще остерегался) догнать их, пригласить к нам в блиндаж. Вскоре друг вернулся в сопровождении долгового лейтенанта. Лейтенант был растерян, в руках он держал два котелка с обедом, видимо, для своего начальника. Глазки у лейтенанта бегали, и я понял, что это шестерка, которая всегда при начальстве, всегда прикрыта и ничем не рискует, такие и в отпуска ездили — возили посылки женам своих начальников, в общем, лейтенант мне не понравился, и я, недвусмысленно посмотрев на сапоги, сказал:

— Махнем?

Трудно описать радость, с какой лейтенант, подхватив котелки, покинул наш блиндаж. И я снова был в столь дорогах мне коричневых фрицевских сапогах.

А между тем Великая Отечественная война продолжалась.

Другой момент, который должен вспомнить, трагикомический.

Когда меня вытащили из проруби, силы окончательно оставили меня, одежда настолько заледенела, что уже сам чувствовал себя подобием льда. Глоток спирта обжег,

что-то затеплилось, может быть, можно еще вернуть жизнь, надо только помочь телу. Я сказал: «Ребята, растегните мне ширинку». Никто не удивился, думали, что мне по малой нужде надо. Растегнули. Достали то, что надо, ждут. «А теперь растирайте его». Удивились, но просьбу уважили. Вскоре я почувствовал там тепло и, вначале безвольное, стало приобретать форму мужского достоинства. Я сказал «хватит», мне все привели в порядок и повели дальше. Потом, в госпитале, я рассказал об этом врачу. «Ты себя спас,— сказал он,— и детишки у тебя будут».

Конечно, я не знал то, что знает медик, но у человека в нужный момент срабатывает инстинкт, как у птицы или животного.

Вот это тогда я не мог рассказать, искусство было чрезмерно брезгливым и избегало «срамных» моментов жизни. Оно много потеряло от этого, в человеке все намешано, и понять его до конца невозможно, если что-то отцедить, что-то умолчать непозволительное, конечно, не надо все время помнить, что цветок растет из навоза, но горе тому кто не хочет знать этого.

Третий момент — трагический. Он самый существенный во всем, что пишется теперь вдогонку по поводу того самого происшествия в станице Брыньковская. Вот это я уже точно написать тогда не мог, не напечатали бы тогда это. Почему — вы сами сейчас поймете.

Та самая трагедия, которая произошла с дивизией 7 февраля 1943 года, случилась по вине одного человека, и это был не кто иной как сам комдив Б-в. Я не называю полностью его фамилии, и, когда поясню, почему так поступаю, уверен — читатель поймет меня.

Так вот, станица Брыньковская, в которую мы должны были утром вступить, считалась свободной от противника, и действительно это было так. Однако к вечеру 6 февраля, когда уже стемнело, из Брыньковской стал слышаться шум моторов. Шум моторов — явление настораживающее. Это может и ничего не значить, а может быть, это машины с автоматчиками, тягачи с пушками, это могут быть бронетранспортеры, а то и танки. «Шум моторов» указывается утром в разведсводках, если за ночь даже ничего существенного не произошло. О шуме моторов, как признаке возможного скопления техники в Брыньковской, мне доложил старший лейтенант Чернышков. Он был командиром разведроты, и мы с ним дружили. На войне мне везло на товарищей, именно у них я научился искусству разведчика. За годы войны я знал пять или шесть командиров разведрот, ни один не был похож на другого, как разнятся пианисты, так разнятся по исполнительской технике разведчики, при этом у каждого своя смелость и своя хитрость.

Чернышков занял особое место в моей памяти, он — моя боль: я выжил в Брыньковской, а он там погиб, хотя именно он подал сигнал тревоги. Я стремился, чтобы имя его осталось на слуху, его образ возникает в моих сценариях «Птицы над городом» и «Песочные часы», фильмы, поставленные по ним, увидели миллионы.

...Чернышков именно мне доложил о шуме моторов в Брыньковской, поскольку начальник разведки дивизии был в госпитале, а я, заместитель, исполнял его обязанности (это, кстати, было в порядке вещей, постоянно кого-то убивало, а в лучшем случае он оказывался в госпитале, так что все время кто-то кого-то заменял). Я моментально связался по телефону с начальником штаба, но он не был на месте, с комдивом тоже не смог связаться, а на вопрос, где он, получил у дежурного в ответ какие-то невразумительные намеки.

В конце концов комдива я нашел, но не в его официальном местонахождении, где стоял часовой, где была связь с верхом, то есть со штабом армии, и с низами, то есть с полками, и где под рукой у него всегда были адъютант и ординарец.

Комдив был в соседнем доме у своей знакомой Зои, куда я и влетел.

Тот, кого боялась вся дивизия, так вот просто лежал под одним одеялом с красавицей Зоей, и хотя она не имела никакого звания, полковник оказался в полном ее подчинении.

Я официально приложил руку к виску и отчеканил, что имею, мол, срочное донесение. Зоя, накидывая на голову одеяло, обнажила на миг роскошное плечо, теперь только одним глазом наблюдая над происходящим.

— Что случилось? — буквально прорычал комдив.

Я намекал, мол, не могу говорить при цивильных.

Комдив не мог встать, поскольку он был одет не по форме, мне казалось, что он вообще не одет.

Зоя хихикнула, по всей видимости, Зоя не очень была довольна комдивом, а потому комдив был недоволен мною.

Когда я все-таки прояснил суть дела, он начал кричать:

— Трусые! Паникеры! — Потом спокойно.— Ладно. Иди. Я проверю.

Должен сказать, что таким я запомнил Б-ва, поскольку больше его никогда не видел. Наутро случилась Брыньковская, а когда я вернулся из госпиталя, был у нас уже другой командир дивизии.

## Расстрел

Начальник штаба вызвал к себе чуть свет и, развернув карту, очертил карандашом квадрат.

— Смотри. Сюда поведешь колонну машин с людьми. Машины сейчас придут. Людей этих я не знаю, и ты их не знаешь. В пути не разговаривать. Здесь, — начальник штаба постучал пальцем по тому самому месту, которое очертил на карте, — тебя встретят. Доложись, как положено, мол, в ваше распоряжение прибыл.

Командиры не любят, когда им задают лишние вопросы. Конечно, меня удивило, что пункт назначения, который был указан, лежит не на западе, то есть не в сторону передовой, а скорее на юго-восток от того места, где был наш КП.

— Карту возьми, — сказал начальник штаба. Посмотрел на меня и добавил: — Побриться и позавтракать успеешь. Километров сто отмахать придется.

Примерно через час стали появляться машины. Судя по тому, что появлялись они не одновременно, можно было догадаться, что они из разных частей и находившиеся в них тоже друг друга не знают. Всего оказалось семь машин.

Я как старший сел в кабину первой машины и, поставив в ноги автомат, дал команду двигаться.

Была теплая осень, желтизна лесов, через которые мы проезжали, была печальна, мы не знали куда и зачем едем.

Километров через сорок я хотел сверить по карте маршрут и велел остановиться.

Выйдя из кабины, я скомандовал:

— Перекур!

Солдаты прыгивали из машин прямо через борт, они разминались после тесноты в кузовах, свободно было только в третьей и пятой машинах, в них всего было по три человека, в каждой два часовых везли арестованного.

С петлиц арестованных сняты знаки различия, и были они без ремней.

Я остановился у третьей машины и закурил.

Увидя старшего по званию, арестованный встал.

— Куришь? — спросил я его.

Он кивнул головой.

Я протянул ему кисет.

Один из часовых хотел мне сделать замечание, но постеснялся. А между тем арестованный ловко свернул сигарку и вернул мне кисет. Потом я ему дал зажигалку, он, чиркнув, прикурил, и вернул мне ее.

— А тебе куда не надо? — я показал за дерево, мол по нужде.

Он покачал головой.

— Ладно, — сказал я, и он сел на свою скамью.

Я пошел к пятой машине. Здесь арестованный, с восточными чертами лица, был значительно старше первого, он сидел на скамейке, а вернее, на доске, переброшенной

с борта на борт кузова, и смотрел перед собой в одну точку.

Тяжелое предчувствие охватило меня и уже не покидало всю дорогу. К тому же вторую половину пути мы ехали гораздо дольше, однажды мы сбились с пути, пришлось возвращаться, а у меня из головы не выходили те двое — из третьей и пятой машины.

Тем не менее я следил за спидометром, и, когда мы отмахали 105-й километр, неожиданно прорезав рошу, оказались на гигантской поляне, где кишмя кишело множество военных. Вестовые флажками указывали, где оставлять машины, теперь в моем распоряжении были только люди из пяти машин (по числу они составляли примерно роту), тех же двух быстро отделили от нас, взяли в кольцо и куда-то увели.

Я оставил за себя старшего и пошел разыскивать начальника, чтоб доложить. Выяснилось, что всем без исключения прибывшим надлежит построиться в каре, построение затягивалось, поскольку народу здесь было тысяч десять и надо было каждому подразделению определить свое место.

Получилось так, что моя рота оказалась правofланговой, а я и подавно оказался с краю, поскольку старший стоит впереди и притом справа от своего подразделения.

Построением командовал генерал, ему помогал полковник, к которому то и дело подбегали и что-то докладывали чины поменьше.

Наконец каре было построено.

— См-и-и-ррр-но! — скомандовал полковник.

Строй застыл.

Появился другой полковник, явно нестроевой командир, толстый, даже находясь далеко, я видел, как у него над воротником застегнутой гимнастерки нависал подбородок, а ремень не стягивал талию, как положено военным, а лишь поддерживал снизу сильно обозначенный живот.

Толстяк пытался что-то прокричать, но он не рассчитал огромного пространства, на котором выстроилось каре, и голос его сорвался. Ему дали мегафон, и теперь каждый, где бы он ни находился, услышал:

— Сейчас перед вами будут расстреляны...

Так вот какой спектакль нам приготовили на этой поляне. Все прибыли с передовой, видели, как падают немцы и как падают наши, каждый сам падал раненым и, может быть, не раз, теперь нас заставляют наблюдать казнь. К этому мы не были готовы.

А между тем толстый полковник для пущей важности повторил:

— Сейчас перед вами будут расстреляны... за предательство Родины бывший майор

Карапетян и бывший старший лейтенант Жушман.

Каждого полковник назвал по имени отчеству, имя Карапетяна я не запомнил, а выдумывать не хочу, чтоб ненароком не смутить кого-нибудь, не зародить в ком-нибудь боль напрасную, а имя и отчество Жушмана я запомнил, что вполне естественно, поскольку его звали Иван Иванович.

Из обвинительной речи полковника мы узнали, что Карапетян и Жушман были комбатами и оба нарушили воинский долг. Когда батальон Карапетяна занимал оборону в кубанских плавнях, немцы, под покровом ночи переплыв канал, захватили спящее боевое охранение в составе трех человек и вместе с пленными вернулись незамеченными в свое расположение. Комбат Жушман тоже совершил преступление. Во время танковой атаки противника батальон его, неся большие потери, был рассеян, сам Жушман сбежал со своего КП, оказавшись на КП соседнего батальона, тоже оставившего свои позиции. Полковник назвал место боя, в котором участвовал Жушман, то была станция Брыньковская. Теперь из речи толстого до меня доходили отдельные реплики, его фразы рвались мыслями по поводу происшедшего. Жушмана сейчас расстреляют за Брыньковскую, но, может быть, его вина лишь в том, что он случайно сам не был убит или хотя бы ранен. Наказать можно было только оставшегося в живых. Но почему так долго шло следствие? Брыньковская случилась в феврале, сейчас сентябрь, и как далеко это теперь. Вскоре после того как дивизия освободила Таманский полуостров, мы вышли к Керченскому проливу с задачей выбраться десантом в Крым, нас неожиданно сняли с позиции и спешно несколькими эшелонами отправили под Киев. Бои здесь были тяжелые, немцы, перейдя в контрнаступление, вторично взяли Житомир. Надо было кого-то наказать, а тут эти двое подвернулись, может, сдали бы их в штрафбат, если бы не понадобился показательный суд для устрашения. И устрашили ведь. После той казни каждый думал — как хорошо пасть на поле боя. Так думалось, когда из мегафона неслось:

— Смерть изменникам, трусам, предавшим наше дело. Позор их женам, детям, внукам. Пусть бесследно исчезнут они с лица земли.

Полковник наслаждался своей речью, он наверняка считал ее исторической, поскольку произносил ее в судьбоносное время да еще перед десятью тысячами фронтовиков.

Толстяк даже задохнулся от самовозбуждения, перехватив воздух; скомандовал: — Вывести осужденных!

Из рощи вывели тех двух несчастных, которые оказались моими попутчиками.

Нетрудно было теперь определить кто из них кто.

Карапетян еле передвигал ноги, лицо его было безучастным, по-прежнему он смотрел в одну точку, казалось, все происходящее не имеет к нему отношения.

Зато Жушман был крайне возбужден, глаза его дико вращались, казалось, сейчас он окажет сопротивление и рванет в рощу с безумной попыткой спастись.

Они стояли буквально в трех метрах от меня, спиной к ямам, которые были заблаговременно вырыты. Ямы я заметил раньше, автоматически, вскользь и потому принял их за два окопа с брустверами.

Осужденным скомандовали:

— Кру-у-у-гом!

Людей сейчас будут уничтожать, а они повиновались команде, как на плацу во время построения.

Повернулись они кругом тоже по-разному.

Жушман круто, как положено, через левое плечо, теперь он стоял лицом к яме.

Карапетян поворачивался медленно, не нарушая устава, поворачивался через левое плечо, пока тоже не оказался лицом к своей яме.

Из мегафона разнеслось:

— Приговор привести в исполнение!

Как из-под земли выросли за спинами осужденных два военных без знаков различия в петлицах.

Оба синхронно привычными жестами выхватили из кобур пистолеты, каждый приставил ствол к затылку своего допечного и выстрелили...

Только что небо было голубым, луг зеленым, вдруг я перестал ощущать цвет. Однажды подобное было — в июле сорок второго оглушило взрывом снаряда, я перестал слышать, хотя видел, как люди шевелят губами.

Теперь, когда изогнулся от конвульсии Карапетян, многоцветный мир стал черно-белым; бывший майор рухнул в яму.

А Жушман стоял, как замороженный, но все было просто — у того, кто в него стрелял, произошла осечка, у него от досады даже лицо перекошилось, он перезарядил ствол и завершил, видно, привычное для него дело. Жушмана тоже передернуло от выстрела, он конвульсивно скинул руки, мертвый он продолжал сопротивляться и упал не в яму, а по эту сторону ее.

Я бросился к нему, мне казалось это раненый, но военный без знаков различия в петлицах резко оттолкнул мою руку, и сразу раздалось в мегафон:

— Сми-и-и-и-р-р-р-но!

Команда относилась к живым.

Я стал в строй.

— Кр-у-у-гом!

Дело было сделано, и нас отворачивали от места казни. Мы двинулись, но каждый обернулся на то место, там уже работали

с лопатами человек десять, они быстро справились с делом и теперь сапогами утаптывали землю, чтобы никакого следа не осталось от места происшествия, чтоб никто не пришел сюда с цветами и не оплакал горестную судьбу бывшего майора и бывшего старшего лейтенанта.

### Немного позже

Возвращаясь как-то с передовой, я попал под артобстрел и вскочил в воронку, а там уже кто-то был. Это оказалась девушка в сержантских погонах. Когда интенсивный обстрел кончился и противник лишь редко бросал мины — то в перелет нас, но в недолет — мы разговорились.

Я предложил старшему сержанту глоток из фляги, так сказать, для бодрости, но она отказалась.

В глазах девушки была глубоко затаенная печаль.

Надо было о чем-то говорить, и я спросил:

— Ты что невеселая такая?

— У вас есть закурить?

На сей раз у меня были трофейные немецкие сигареты, и мы закурили.

Мне показалось, что она недавно стала курить.

— У меня мужа убило,— сказала она.

Я выразил на лице сочувствие.

Она достала из кармана гимнастерки офицерское удостоверение и раскрыла его.

С фотографии на меня смотрел старший лейтенант, как было обозначено в удостоверении, Жушман И. И. Меня поразило, как он тщательно побрит, смотрел он весело прямо в объектив фотографа.

Меня, наверное, выдало лицо, и она спросила:

— Вы знали его?

— Нет.

— Спасибо,— сказала она.

Мы расстались, и я не думал, что когда-нибудь еще увижу ее.

### Много позже

Прошло сорок лет.

Я уже не помню, когда повелось встречаться ветеранам войны. Пока были молодцы, что-то не было такой привычки. А вот когда мало нас осталось, начали искать друг друга, передавать адреса. Однополчане — это люди, связанные с общим прошлым. Уходят они, и прошлое постепенно становится несуществующим.

Однажды мы собрались в Кутаиси, там формировалась когда-то наша дивизия. За большим праздничным столом я обратил внимание на женщину, ее черты мне напомнили кого-то. Ей, как оказалось, надо было уехать раньше срока, и потому она, сказав что-то соседям, попрощалась с ними, встала из-за стола и ушла.

— Ты знаешь, кто это? — спросил мой сосед.

— Не помню.

— Это жена комбата Жушмана. Помнишь? Она добилась его реабилитации.

Я хотел догнать эту женщину, но спохватился. Даже сейчас я не мог рассказать ей о том, что я видел на той проклятой поляне. Она наверняка просила бы найти то место, но это невозможно.

Для кого же я написал этот рассказ?

Во многих событиях, свидетелем которых ты был, есть причины и следствия, которые становятся понятными лишь в конце жизни. Надо успеть об этом рассказать другим.

## Будимир МЕТАЛЬНИКОВ

# ВОЙНА. ОДНА НА ВСЕХ, НО КАЖДОМУ СВОЯ..

(Отрывки из воспоминаний)

Однажды мы испытали сладость мести. Дело было так. Обычно полевые занятия проводили офицеры. В этот день мы под командованием командира роты наступали на Мазилово. Где-то в середине занятий появился Челюкин, что-то сказал командиру, и тот поспешно ушел, поручив ему проводить занятия.

А Челюкину только прикажи — лоб расшибет! Но не себе — нам. И принялся он нас гонять. Время уже к обеду, а он и не чешется. Кто не знает, что если во вторую очередь обедать — всегда порции меньше! А ему-то что — ему с кухни всегда погуще нальют. А гимнастерки мокрые и грязные, значит, ночью стирать. До утра не высохнут, стало быть, сушить на себе. И обозлилась рота до невозможности, плюнь на любого —

Окончание. Начало см. «Киносценарии» № 2 с. г.

зашипит, как утюг! Челюкин это прекрасно видел, но наслаждался своим превосходством.

Только когда стало ясно, что еще немного и мы вообще на обед опоздаем, Челюкин построил роту, оглядел нас всех, сукин сын, очень довольными глазами и бодренько скомандовал:

— Р-рота! С места, с песней! Шагом марш!

Запевалой был я. Черт меня дернул однажды высунуться: парень, который вызвался быть запевадой, так невыносимо фальшивил, что я как-то не выдержал и поправил его. С этого случая запевадой приказано было быть мне. Запевать не хотелось, да и всем было не до песен — устали мы и дико обозлились на Челюкина. Рота двинулась молча.

— Метальников! — заорал Челюкин. — Оглух? Я кому приказывал? Запевай!

— Не могу! — буркнул я. — Голос потерял.

— Найди! Приказ слышал?

— Все равно никто не будет петь, — высказал я надежду.

— А ты мне, мать твою перемать, за роту не отвечай! — обозлился Челюкин. — Делай, что приказано! Запевай!

Что ж, после того как я высказал свое предположение, можно и запеть:

Там, где пехота не пройдет,  
Где бронепоезд не промчится,  
Угрюмый танк не проползет —  
Там пролетит стальная птица.

Все это я пропел нарочито нудным голосом, явно выказывая отвращение.

— «Пропеллер, громче песню пой», — подхватили два или три неуверенных голоса и тут же смолкли.

Ура! Рота приняла установку и не стала петь.

— Рота, стой! Вы что, не подчиняетесь приказу? А знаете, что за это бывает? Будете петь?

Мы видели заголошно метавшиеся глазки Челюкина и злорадно молчали.

— На вопросы старшего по званию положено отвечать! — надрывался помкомвзвода. — Последний раз спрашиваю: будете петь?

Молчание, уже вполне торжествующее.

— Ах, так! Ну, пеняйте на себя! Рота, слушай мою команду: газы!

Что ж, этого следовало ожидать, к этому времени мы уже хорошо знали, что противогаз — отнюдь не средство химзащиты, а просто мера наказания.

— За мной! Бегом!

И належке — без скатки, винтовки и противогаза, — прижав локти к бокам и явно рисуясь своей спортивностью, Челюкин, бежал впереди.

Известно, что бежать в противогазе долго

нельзя, поэтому уже метров через сто многие отвинчивают патрубков от коробки. Челюкин тоже это знает и начинает проверять, тут же на бегу раздавая по два наряда каждому. Что делать? И тут кто-то, сейчас не припомню, нахально напавив трубку через плечо, прокричал, вернее, протрубил: «Все! Отвинчивай все!» Его мгновенно поняли, и вот вся рота стала похожа на молодых слонят, которые бежали, вызываясь поматывая во все стороны своими хоботками. Это был открытый вызов Челюкину. Он понял, что зарвался, и вскоре отменил команду «газы».

Но все еще никак не мог уговориться, все еще надеялся удержать людей в повиновении, и поэтому последовала новая команда:

— Строевым! Ножку, ножку не слышу! Р-раз! р-раз! р-раз, два, три!

Тут надо сказать, что, когда Челюкин злился, у него проскакивал один дефект речи, за которым он обычно тщательно следил, а именно: он иногда «р» не выговаривал, и получалось не «три», а «трли». И вот он идет, покрикивает: «Р-раз! р-раз! р-раз, два, трли». А кто-то в середине строя (до сих пор мне жалко, что это не я придумал!) добавляет:

— Четырли!

Прокатился смешок, но Челюкин еще не понял, в чем дело.

— Р-раз! р-раз! р-раз, два, трли!

— Четырли!

На этот раз заржала вся рота. Челюкин тоже услышал.

— Р-рота, стой! Нале-ву! Кто это сказал?

Он стоял перед строем и сверлил взглядом за рядом ряд.

— Кто, я спрашиваю?

— А что сказали-то? — послышался невинный голос.

— Как — что? — Челюкин окончательно потерял контроль над ситуацией. — Он сказал «четырли»!

От злости это «четырли» получилось совсем уже пародийно, и строй сломался от смеха.

— Что за смех? Прекратите! Я спрашиваю: кто это сказал? Ладно, значит, встретимся после отбоя! — пригрозил Челюкин. — Не хотите говорить? Хотите все пострадать из-за одного дурака?

И слово свое сдержал — многие уже и позабыли его обещание, но вот, когда рота уже собиралась лечь спать, вдруг послышалась команда:

— Вторая пулеметная рота, выходи стротиться!

Злости нашей не было предела! Не торопясь, с воркотней, с матом, не обращая внимания на понукания Челюкина, рота кое-как выстроилась на плацу перед входом в казарму.



— Ну как? — злорадно спросил Челюкин, попыхивая в темноте папироской. — Будем в молчанку играть? Не знаете, кто ска- зал?

Рота угрюмо молчала.

— Значит, будем заниматься строевой подготовкой. Хоть до утра! Я специально для этого высался! Молчим?.. Рота, смирно! Направу! Шагом марш!

Пошли. Через несколько шагов новая команда:

— Строевым!

Пошли строевым. Но дух сопротивления мгновенно подсказал, что делать. Быстрый шепоток, смехок, и вот рота пошла как бы хромящим шагом: левую ногу ставили, как положено, с силой, а правую опускали мягко.

Челюкин забеспокоился:

— Как идете? Как идете? Команда была строевым!

Но рота уже вышла из повиновения и продолжала идти, как бы хромя. Всем сразу стало весело — дух непокорности овладевал нами.

— Рота, стой! Вы что же это? Не подчиняетесь приказу командира? А знаете, что за это бывает? Это самая настоящая коллективка! — надрывался Челюкин.

Рота молчала. Гасли один за другим окна в казармах, товарищи наши засыпали, а мы стояли на плацу, освещенном редкими фонарями, и чувствовали себя такими объединенными, как никогда раньше. Мы понимали, что Челюкин проигрывает в этой борьбе, хотя и не знали еще, чем все закончится.

— Шагом марш!

Пошли.

— Метальников, запевай!

Жутко не хотелось запевать, но одно дело сопротивляться массой, а совсем другое — одному, когда приказ обращен непосредственно к тебе.

— Чего петь-то? — старался я потянуть время и уловить настроение ребят.

— Что хочешь! «Моряка»!

— А они-то петь будут?

— А ты не подначивай! — заорал Челюкин. — Тебе приказано, ты и запевай!

— Ну что, братцы, споем? — с ленцой спросил я, ни к кому не обращаясь.

— Давай-давай, мы ему сейчас, суке, споем, — услышал я.

Ага, значит, что-то будет. Я завел про моряка, который, как известно, красив сам собою. Рота довольно дружно подхватила: «По морям, по волнам», но когда последовало продолжение: «Нынче здесь — завтра там», два или три голоса запели сначала, приставив «а». Вот оно — мгновенное понимание солидарности! Через две секунды рота орала только: «А по морям, а по

волнам», как будто пластинку заело!

— Отставит! Отставит! — всполошился Челюкин. — Прекратить песню!

Поздно! Никто его уже не слышал, орала от всей души, ощущая неслыханную радость неповиновения.

— Рота, стой! Стой! Я кому говорю! — надрывался Челюкин.

Тщетно! Рота шла сама по себе, постепенно переходя на настоящий строевой шаг, давая полную отмашку руками. «А по морям, а по волнам, а по морям, а по волнам, а по морям, а по волнам», — ревели на плацу. Было безумно весело, мы наслаждались беспомощностью ненавистного помкомвзвода. Челюкин забежал вперед с распростертыми руками, пытаясь остановить нас. Его обтекли, как столб или дерево на пути.

И кто его знает, как долго продолжался бы этот ор, если бы вдруг не раздался в темноте властный, зычный голос:

— Что за ор? Что за часть? Командир, ко мне!

Это оказался заместитель командира училища по строевой части — мы узнали его голос и остановились, чтобы услышать жалкие оправдания Челюкина:

— Рота наказана! Петь не хотят... Не слушают...

— Что же ты за командир такой, если тебя не слушают? — презрительно бросил полковник. — После отбоя людям положено спать. Немедленно отвести роту в расположение и явиться к дежурному по части!..

Ах, эти слова были нам как музыка! Мы поняли, что нам ничего не будет, а Челюкин получит хороший втык.

...А стоит ли писать о такой чепухе? Что же, кому-то это может показаться и чепухой. Но почему же тогда чуть ли не полвека спустя я вспоминаю этот эпизод с таким удовольствием? Потому что это был наш маленький праздник свободы! Праздник непокорности, час, когда мы смогли проявить свою волю.

Как ни тяжело приходилось мне до армии на гражданке — так и хочется сказать: на воле! — все же, как только я выходил за ворота фабрики или завода, я мог распоряжаться сам собой, как мне вздумается.

Теперь я этого был лишен напрочь — остались мне для свободы только сны. Вот почему одним из самых сильных впечатлений моих, когда был опубликован «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, было: господи, до чего же знакомо! Да, мы не были заключенными, не было вокруг колючей проволоки, но и воли не было. И не было часа, чтобы побыть одному, самому с собой. Все время рядом с тобой одни и те же лица — ни дать

ни взять, как в камере. И те же завистимости, рожденные несвободой, та же заданность волей начальства, та же психология. Даже маленькие радости Ивана Денисовича — то ли по поводу доставшейся в пайке горбушки или какого-то минимального облегчения на занятиях — все казалось чуть ли не родным, до того велико было сходство между повседневностью Ивана Денисовича и нашей. (Это относилось не только к училищу, но и к дальнейшей службе.)

Все это порождало горькое недоумение: за что же это так с нами? Ведь мы — будущие офицеры, всех нас ждал фронт, все были готовы пасть «смертью храбрых за свободу и независимость нашей Родины», как писали в похоронках. Или, если угодно, «За Родину! За Сталина!», как писали в газетах и чего я ни разу не слышал на фронте. Зачем же так-то?

Но, очевидно, так понималась дисциплина. Так и никак иначе!

Самое смешное, что, казалось бы, при столь суровой дисциплине в училище должен был царить идеальный порядок, но где там!

Почти все четыре с половиной месяца, что я пробыл в училище, каждый вечер начинался «цирк»: надо было сдавать дежурство, а известно было, что в роте может не хватить двух противогазов и одной саперной лопаты. Может быть, сначала они пропали не в нашей, а в соседней, минометной роте, но это уже не имело значения.

И вот вся пулеметная рота бродит вдоль расположения минометной с задачей украсть недостающие предметы, чтобы сдать дежурство по счету. А минометная рота следит за нами. Или наоборот: сегодня известно, чего у них не хватает, стало быть, наша задача охранять свое имущество. И тем не менее каждый день дежурство сдавалось и счет подтверждал наличие всего имущества в обеих ротах.

О том же, чтобы доложить командиру о пропаже и восполнить недостающее со склада, не могло быть и речи. Тут всегда следовал знаменитый армейский ответ: «Выроди (настоящее слово значительно грубее), а скажи, что нашел!» И находили... Сколько раз я слышал этот знаменитый ответ!

Вдруг у какого-то курсанта пропал хлястик от шинели. Что тут началось! Он, конечно, должен был «найти» свой хлястик и «нашел». Но затем последовала цепная реакция — хлястики начали пропадать десятками. При каждой проверке — крик, шум, мат! «Выроди, а скажи, что нашел!» Находили, конечно, но тогда крик начинался в соседней роте. Дошло до того, что каждый свой хлястик стал на ночь

прятать под подушку... Не помню уж, как закончилась эта вакханалия пропаж, как-то рассосалась.

Рутинная царил и в нашем обучении — на первом месте стояла шагистика и строй (опять совпадение — сколько раз я читал, что и в старой царской армии это стояло на первом месте!). Зачем-то нас довольно много учили штыковому бою, совсем как во времена первой мировой войны, включая приемы защиты от кавалерии, хотя известно было, что у немцев кавалерии не было (ох уж эти «длинным — козли», «на выпаде — замри!» и т. д.). Мы научились с завязанными глазами собирать и разбирать затвор винтовки, но ни разу из нее не стреляли!

Позже, когда я целый год прослужил в другой части, мы снова зубрили несколько тысяч названий деталей пулемета, учили их, как студенты медицинских институтов учат анатомию, запоминая название каждой кости и мышцы. А стреляли из пулемета... один раз. Одна короткая очередь в пять патронов!

Зато какой переполох поднимался, если терялась хоть одна пустая гильза! Всю роту заставляли ползть по траве до темноты, но гильза должна быть возвращена для отчета. Тут ощущался уже какой-то испуг на государственном уровне — пропала гильза! А может, патрон? А вдруг этот патрон солдат использует для теракта? На фронте земля могла хрустеть под ногами от патронов, как от семечковой шелухи, но чтобы в тылу пропал хоть один патрон или гильза — не дай бог!

Вот так я учился полтора года... А офицером не стал — вражда с Челюкиным кончилась тем, что за полтора месяца до выпуска меня в числе десятка считавшихся самыми недисциплинированными перевели в другую часть. Случилось это где-то в середине июня.

Мы уже выехали в лагеря, уже перекопали тысячи кубометров земли, оборудуя такие роскошные окопы, отделанные деревом, каких на фронте я и не видел (впрочем, увидел, но на той стороне).

И вдруг откомандировка в училище. Несколько дней блаженного ничегонеделанья, полновесный паек в столовой и — последнее воспоминание о моем пребывании в училище — клопы.

Зимой мы их не замечали, валились спать как подкошенные. То ли клопов было меньше, то ли курсантов в спальнях больше, так что на каждое тело приходилось по какому-то десятку, а тут на нас напоззли сотни и тысячи клопов. Первую ночь мы промучились, вторую решили спать на столах, поставив ножки в консервные банки с водой. Кое-как заснули.

Но что это? Не прошло и часа, как все тело стало зудеть от укусов. Зажгли свет и увидели сотни клопов на потолке. Оттуда они бесстрашно кидались вниз, на нас.

— Во парашютисты! — сказал кто-то.

Это слово оказалось чуть ли не знаком судьбы — пришлось мне стать парашютистом. Опять перевернули страницу моей судьбы.

9-я Гвардейская воздушно-десантная бригада, где мне теперь предстояло служить, только еще формировалась. Месяца полтора мы занимались обустройством — рыли землянки, выравнивали плац для построений, строили склады и овощехранилища. Все это происходило в лесах неподалеку от Раменского.

После строгого училищного режима жизнь тут показалась намного вольготней, хотя вместо постелей у нас был еловый лапник на земляных нарах, вместо подушки — вещмешок да шинель, которой зимой укрывались, а летом подстилали под себя. Оказалось, что почти все мы одного года рождения, почти все из училища — так что состав был довольно ровный. Почти всем нам было по восемнадцать лет плюс-минус несколько месяцев. Похоже на то, что в высших военных сферах нас решили попрिдержать, слишком молоды мы были для фронта.

...Не скрою, я не раз проклинал судьбу, определившую меня в пулеметчики, — в пехоте это самая тяжелая участь. Тем не менее рота стала для меня и домом и семьей.

Но вот странная вещь — товарищей была полная рота, а хороших друзей не было. А ведь я, выросший в московском дворе и детдоме, был так готов к дружбе! Но ни в училище, ни потом настоящего друга у меня так и не появилось. Больше того, я вообще не помню, чтобы в моей роте кто-либо выделялся своей дружбой с кем-то.

О солдатской и фронтовой дружбе сказано и написано немало, и я не собираюсь оспаривать ее существование. Что касается фронта, то, мне кажется, тут нужны некоторые условия — надо долго или отступить вместе, или постоять в обороне. Мне не довелось ни того ни другого. Но я целый год прослужил в одной и той же части, как же так случилось, что не появилось у меня друга? И вот какое объяснение родилось у меня. Может быть, оно спорное, но другого у меня нет.

Дружба — удел свободных людей, а мы все жили не в свободе. Дружба проверяется готовностью помочь и защитить друга, но как защитить друга от произвола помкомвзвода, старшины или офицера? Мож-

но, конечно, сказать слово в защиту товарища, если ты видишь, что обвинения несправедливы. Иногда это помогает, но далеко не всегда. И особенно бесполезно это, когда солдата подвергают унижениям сознательно, упиваясь своей властью и безнаказанностью, как, например, это часто делал Челюкин в училище. Беспрекословное послушание, которое воспитывалось в нас, вырабатывало в какой-то степени психологию раба, а рабы не способны дружить, потому что они не принадлежат себе.

Может быть, я и сам, чувствуя приниженность и неполноценность, не решался предложить свою дружбу кому-то? Но, перебирая в памяти своих товарищей по взводу, я могу припомнить только одного, с кем бы мне тогда хотелось подружиться.

Ваня Хохлов. Как это уже не раз случалось в моей жизни, началось все с антипатии. Моим соседом по нарам был Женя Макухин, человек мелко самолюбивый, жлобоватый, неуступчивый. У нас часто возникали ссоры и даже стычки из-за тесноты на нарах. Если Макухин уже улегся, он нипочем не подвинется. При любом прикосновении спиной ли, локтем в его мышцах сразу же возникала напряженность, готовность сопротивляться и не уступать. Бывало, мы с ним даже молча, стараясь не будить товарищей, схватывались на нарах. Обычно мы брали друг друга за горло, так что Ваня Хохлов похохатывал:

— Ребята, когда-нибудь мы утром найдем тут два трупа! — при этом он недобро, осуждающе поглядывал на меня.

Я пытался ему несколько раз объяснить свою правоту, но он не принимал моих объяснений. Незадолго до отправки на фронт он был назначен в наше отделение командиром вместо несправившегося Андриевских. Для меня наступили суровые дни. Чуть что, Ваня тут же останавливал свой взор на мне:

— Давай, Метальников.

Раньше, бывало, при Андриевских, я мог и заспорить: «А почему я? Вот такой-то ни разу не ходил...» Макухин в такие споры вступал непрерывно. Но почему-то с Ваней я не спорил, а молча шел и делал, что приказано. И это принесло счастливые плоды. Как-то в сырой, дождливый день после трудного марша мы остановились на ночлег. Место нам досталось никудышное — болотистый луг, поросший ивняком, плохо горевшим в костре. И вдруг я услышал слова Вани:

— А и сука же ты, Макухин! Ну хоть бы раз оторвал задницу от земли. Метальников вон уже без напоминаний три раза ходил за дровами. Марш за топливом!

Нет, есть, есть все же на свете спра-

ведливость! Горячая волна благодарности к Ване поднялась во мне, я чуть не прослезился и, чтобы скрыть это, тоже пошел за дровами, но в другую сторону.

Но вскоре Ваню почему-то перебросили в другое отделение, и нашим добрым отношениям так и не суждено было развиться в дружбу.

Последняя наша встреча с Ваней Хохловым была тоже очень трогательной. Я был уже с месяц в госпитале и начал выходить из палаты. Госпиталь наш был в двух шагах от железнодорожного разъезда, где иногда останавливались поезда с ранеными. И вот я, как и все ходячие, вышел к очередному поезду поискать знакомых и вдруг слышу:

— Метальников! Ты?

С подножки поезда соскочил и бросился ко мне Ваня. Мы обнялись, и Хохлов даже поцеловал меня, приведя в смущение, потому что в то время мужчины обычно не целовались.

Оказалось, Ваня, раненный, как и я, в руку, едет долечиваться в наш же госпиталь, но в другое отделение — за шестнадцать километров. И два раза он приезжал на товарных поездах, навестить меня. А потом меня переправили в более глубокий тыл и мы навсегда расстались с Ваней.

Но если уж не было у меня дружбы, то кое-что, и немаловажное, все же было — солидарность и товарищество. Нас объединял не раз проклинаемый нами «Максим». Это был один общий горб на всех, и, таская его, мы выработали своеобразный кодекс чести. Например, считалось дурным тоном просить кого-либо сменить тебя. Каждый солдат сам должен был видеть, что пришла его очередь сменить товарища. Мы гордились этой солидарностью, как и своей выносливостью, видя, что наша пулеметная рота идет собранной, в то время как стрелковые растягивались и мешались друг с другом. Даже в марш-бросках мы ухитрялись обгонять стрелков, что позволяло нам поглядывать на них с чувством превосходства.

Вечно голодные, мы считали неприличным доедать до последней ложки суп или кашу из котелка. Кто-то первый должен был остановиться, предоставив напарнику ответить тем же в следующий раз. Голодному и ревнивому взгляду могло и показаться, что в прошлый раз ты оставил больше, чем сейчас тебе. Но ссоры и споры по этому поводу считались верхом неприличия и жлобства.

Впрочем, один раз я сорвался, когда моим напарником был сержант Андриевских. Жлобства в нем было предостаточно, и он всю пользовался тем, что я не умел есть слишком горячее. Получалось, что пока я дую на ложку, он по второму разу нырял

в котелок. По солдатскому кодексу это не полагалось, но он шипел, что я неженка, с мученической миной ждал, пока я остужу свою ложку, потом делал вид, что терпение у него лопнуло, и лез с ложкой, не соблюдая очередности. Я долго терпел, а потом взорвался и засветил ему ложкой по лбу. Ложка у меня к тому времени была вполне гвардейская, лоб у сержанта вспух. Он кинулся на меня с кулаками, я ответил.

В результате я опять отправился на губу, но там ко мне, расследовав мое преступление, отнесли в высшей степени снисходительно. Но именно с этого случая авторитет сержанта покотился вниз (битый сержант — не командир!), и его заменил Ваня Хохлов.

Время от времени мне снится все тот же сон — я сижу в самолете, а вокруг молодые солдаты. Предстоит прыгнуть с парашютом. Все так, как было когда-то: ребята стараются шутить, показать, что все им нипочем, но я прекрасно вижу, как у многих все же кошки скребут на душе. Но мне хуже всех. За что меня, уже давно седого и пожилого человека, заставляют прыгать? Разве я не отпрыгал свое? Только знаю, что прыгну, чего бы мне это не стоило. Но, господи, до чего же не хочется!..

До прыжка, правда, никогда не доходило, я просыпался и, как правило, обнаруживал, что лежу на левом боку и от этого щемит сердце...

Дни прыжков вносили пьянящее возбуждение и разнообразие в обычную жизнь. Начинали мы с аэростатов. Свой первый прыжок я запомнил на всю жизнь. Когда подошла очередь (долгая, с раннего утра!), три человека вошли в корзину, подвешенную к аэростату, и сели на скамейку. Четвертым был инструктор.

Поначалу любопытство перевешивало страх. Подъем происходил совершенно неощутимо и в полной тишине. Вдруг мы оказались над вершинами деревьев, потом выше галок и ворон, летавших над сжатый полем. Потом домики близлежащей деревни стали маленькими, как бы игрушечными, а горизонт все отдалялся, отдалялся и затягивался голубоватой дымкой. А вот и белые барашки облаков оказались совсем близко — доплунуть можно. И все это было так интересно разглядывать, пока вдруг не толкнула куда-то под сердце мысль: «А ведь сейчас в эту прекрасную голубоватую бездну надо прыгать». И заколотилось, заметалось сердчишко — страшно! Затем — легкий толчок как бы снизу вверх, аэростат остановился. Инструктор с улыбкой оглядел наши очень серьезные лица:

— Ну кто первый?

— Я! — это вырвалось у меня совершенно

но неожиданно, за секунду до этого я и не думал. Просто мне было так страшно, что я решил — скорее бы все кончилось!

Страх перед прыжком в бездну — не простой страх, это страх смертельный. Ведь человек не птица, сейчас я перешагну порог корзины и ухну камнем вниз... Парашют? А что парашют? Он может раскрыться, а может и нет. Мы уже знали — солдаты всегда все знают! — что при массовых прыжках постоянно бывает один-два несчастных случая. Что-то у кого-то не срабатывает: то ли стропа перехлестнет купол и он не раскроется, то ли лопнет перкаль, то ли ещё что-то... Ведь не зря же мы в специальные карманчики в чехле парашюта кладем свои расписки — укладывал такой-то, мол, если что случится, сам же и виноват... Но страх надо преодолеть, иначе будет очень стыдно. С тех самых пор я понял, что люди делятся на две категории: у одних побеждает страх, а у других стыд. Это относится отнюдь не только к прыжкам с парашютом, а ко многим жизненным ситуациям.

Инструктор распахнул дверь корзины, зацепил карабин вытяжного фала за перекладину.

— Приготовиться!.. Пошел!

Закрыв глаза, я шагнул вперед и полетел в бездну.

— А-а-а-а-ах!

Бесконечный, нескончаемый вздох, а может, это и не вздох, а просто обмирающее твое сердце подкатывает куда-то к самой гортани так, что больше уже и вдохнуть невозможно. Затем хлопок, динамический удар, ноги взметываются вверх, ты тоже устремляешь глаза вверх и видишь над собой чуть крмоватый перкаль раскрывшегося купола. Ура! Все в порядке! И тут же смотришь: а как там остальные ребята? Тоже в порядке? И тебя охватывает необычайный восторг: как это замечательно — прыгнуть и остаться живым!

Но вот приходится прыгать второй раз, и восторг этот почему-то забывается, а помнится только обмирающее сердце, когда летишь вниз, и нескончаемый вздох. Все, кому доводилось прыгать, согласятся — второй прыжок самый трудный, потому что знаешь уже, как это будет страшно. Хотел я и второй раз прыгать первым, но Макухин не дал:

— Я буду! Ты в прошлый раз так корзину раскачал...

Это было правдой, в чем мне пришлось убедиться, — после первого прыжка кабина начинает раскачиваться и подходить к открытой двери еще страшнее — вдруг вылетит раньше времени? Хорошо, что третий — не помню уж, кто это был, — согласился

быть последним. (Люди делятся еще и по такому признаку: одни спешат скорее отделаться от неприятного дела, а другие оттягивают его, сколько можно.)

И опять — прыжок, обмирающее сердце и нескончаемое «а-а-а-а-ах!», динамический удар — и восторг!

Особенно весело было, когда прыгали сразу всем взводом с «дугласа». Уже в воздухе начинается переключка и смех. Орут все. Подъем духа невероятный! Мы словно пьяны от восторга и возбуждения, мы парим в воздухе и чувствуем себя не то птицами, не то ангелами, во всяком случае не обыкновенными смертными. А до земли еще далеко, и глаз спешит насмотреться и налюбоваться на ее особенно примечательную в этот миг красоту.

Смех и возбуждение долго еще не покидают нас и на земле. Вспоминаем, как кто-то все время, до приземления, дрыгался в воздухе — оказалось, что лямки подвесной системы, обхватывающие ноги, сползли ему на самое болезненное у мужчин место, а кто-то при приземлении разбил нос о запасной парашют (а он так и норовит задраться вверх и дать по носу). У меня же несколько раз случалось что-то непонятное: при раскрытии парашюта лямки с силой били по ушам, порой до крови. Отчего это происходило — так и осталось загадкой, уши у меня вроде не торчат лопухами, а вот поди ж ты...

Однажды я заметил, что многие раскрывают запасной парашют и норовят оттянуться куда-то подальше от обычного места приземления. Припомнив наскоро инструкцию, я проделал то же самое и обнаружил: ребята приземлились возле горохового поля и гужуются молодым горохом. Отлично! Набил я пузо и карманы горохом, и стало мне еще веселее.

Каждый раз при прыжках появлялись отказники — те, которые никак не могли побороть страх. Их стыдили, пугали, угрожали, но с некоторыми ничего не могли поделать. У нас в роте тоже оказалось двое отказников. Это были старики, иначе мы их и не звали, а было этим мужичкам всего-то по 28—30 лет, не старше. Их отчислили куда-то в хозяйсти.

Раз как-то и нам сунули в самолет чужого отказника, которого поднимали в воздух уже по третьему разу. Позади него поставили крепкого парня — Юганова. С тем чтобы он просто вытолкнул его в дверь. Я оказался на правом борту самолета, отказник — на левом, его очередь была третья, моя — пятая или шестая. Вот провыла сирена, замигала лампочка, открылась дверца самолета.

— Пошел!

Когда все передвинулись в хвост самолета

та, он немного просел так, что мы двигались как бы под горку. Вдруг отказник рванулся в сторону. Юганов схватил его, но страх страхом, а сообразил же человек о единственном, что его могло спасти,— рванул за кольцо запасного парашюта. Купол и стропы вывалились ему в ноги, опутав его. Все это произошло в течение тех коротких секунд, пока я продвигался в своей очереди к дверце. Никогда в жизни я не видел большего человеческого страха, как в тот короткий миг,— даже под самым жестоким обстрелом на фронте! Лицо человека стало не белым и даже не красным — оно стало каким-то черным. Пугаясь в стропях, он полз на четвереньках по полу самолета подалее от двери и не кричал, не умолял, а рычал что-то нечленораздельное, звериное.

Я испытал мгновенный ужас при виде этой картины прежде, чем успел выбраться из самолета. Ребята потом говорили, что все они испытали отвратительное чувство из-за этого отказника. Да, страх заразителен и, к сожалению, больше, чем мужество.

Когда нас преобразовали в обычную стрелковую дивизию, мы, помнится, горячо обсуждали, радоваться этому или нет. С одной стороны, на земле, конечно, надежней, а с другой... Все-таки прыжки вносили в унылую рутину армейских будней какие-то яркие краски и переживания.

Поскольку нас, так сказать, приземлили и будущим средством нашего передвижения должны были стать уже не крылья самолета, а собственные ноги, начальство усилило занятия, и начались бесконечные, изнурительные марши.

Солдаты роптали:

— Какого черта? Скорей бы уж на фронт, что ли... Там хоть смысл есть...

Участились самоволки, до сей поры очень редкие, кто-то отделялся губой, а несколько человек судили показательным судом и отправили в штрафбат. В нашем взводе вдруг исчез сержант Карпов, думали — дезертировал (вообще-то он был парень слегка прибалтненый), а оказалось, что он удрал на фронт. Месяца через полтора он прислал нам письмо уже из госпиталя.

Однажды ночью мы были разбужены недалеко стрельбой. В небо взлетали ракеты, пулеметные трассы. Было впечатление, что на станции шел бой. Оказалось, что отбыла на фронт соседствующая с нами часть, бывшая 10-я бригада. Таким вот образом она салютовала сама себе, изрядно напугав местных жителей и начальство.

Солдаты воспрянули духом: «Скоро и мы!»

Шло лето сорок четвертого. Год назад отгремела Курская битва. Фронт решительно сдвинулся на запад, подходя к границе. Москва салютовала победам. Этот гром салюта и всполохи на небе доносились и в наши подмосковные леса. Все чаще сердце томилось в ощущении неизбежности и тревоги: «Скоро и наш черед. А как будет на фронте? Не струшу ли?»

Этот вопрос, казалось, занимал нас гораздо больше другого, более важного — а вдруг убьют? Впрочем, если о первом еще можно было рассуждать вслух, то второй вопрос — о смерти — каждый таил глубоко в себе. Может быть, в этом уже сказывалась некоторая солдатская готовность к своему делу, не зря же нас целый год учили.

Последние дни мы терялись в догадках: на какой фронт попадем? Разворачивалось наступление в Прибалтике, и мы были уверены, что нас отправят туда.

Нам выдали боезапас, кажется, по сто патронов и по две гранаты. И тут я опять не могу не вспомнить о нашей практической подготовке к бою — ну почему, почему за целый год мы выпустили из пулемета только по пять патронов, а гранату бросили по одному разу? К стати, та граната, которую я метнул на учениях в окоп, так и оказалась единственной, которую я взорвал,— на фронте до гранат не дошло. Зато сколько чуел мы перекололи штыками! Сколько времени на это убили! Как будто штыковые атаки — помните, по завету Суворова: «Пуля — дура, штык — молодец»? — все еще оставались нашим главным способом ведения боя!

Как ни опостытели нам наши землянки и вся наша многотрудная жизнь в этом сосновом лесочке, заменившем нам на целый год и дом, и улицу, а прощались мы с ними не без грусти\*. Но проявлялось это иногда странно. Офицеры с ног сбивались, чтобы не дать солдатам что-нибудь покрушить на прощание. И отчего это возникает такая страсть к разрушению покидаемого жилья? То ли это ревность к будущим наследникам (не вашими руками строилось!), то ли некий знак отречения, поскольку в каждом жило убеждение, что больше он сюда не вернется. Офицеры уговаривали нас, что сюда придет другая часть и надо все оставить в полном порядке. (Через много лет, где-то в шестидесятых годах, мы с женой приехали в эти места, и оказалось — молодой сосновый бор здорово подрос, а какая-то воинская часть все стоит

\* Удивительно сузился за этот год окружающий мир — землянка, лес, поле. Поле, лес, землянка — вот и все, что мы видели. За год я два раза выходил — в патруле — в Раменское. Это казалось выходом в Москву!

на этом месте, правда, уже огорожившись сплошным забором, из-за которого вместо былых землянок виднелись каменные четырехэтажные дома.)

Под вечер мы двинулись к станции. Эшелоны уже были поданы. По классической русской схеме — восемь лошадей или сорок человек — мы всем взводом заняли вагон. Потом отрядили кого-то за соломой, застелили пол и нары — стало уютней. Еще несколько томительных часов ожидания и неизвестности: когда и куда? Наконец тронулись — уже в предрассветных сумерках.

Сейчас электричка от Раменского до Москвы идет минут сорок, а тогда мы ехали часа два, если не больше, и нам не спалось, потому что большинство были москвичи и многие лелеяли надежду, а вдруг да удастся сбежать к родным. Но нет, никому не удалось, долгих стоянок не было, а эшелон наш тем временем огибал Москву по Окружной дороге.

Вот мы миновали Курский вокзал, ага, значит, не на юг. Потом Павелецкий. А потом сердце у меня заколотилось — приближался мост через Москву-реку, которым заканчивается Нескучный сад. Я проежал мимо планеты своего детства. Отсюда, с моста, можно было увидеть ориентир — зеленый шпиль церкви святого Марона, стоящей в моем дворе. И я увидел его, я показывал его ребятам, я возбужденно кричал: «Вот он, видите, это мой дом там, мой двор!» Но что им было до моей планеты! У каждого из них был свой двор, своя планета и оставленные там родители и близкие. И я почувствовал укол в сердце. Отчего?

Читатель уже, наверное, заметил, как часто я употребляю местоимение «мы». Очевидно, я роевой человек. К тому же, оставшись без родителей, я научился ощущать свой двор, своих ребят — в детдоме ли, во взводе ли — чем-то вроде своей семьи. А тут вдруг обнаружился предел, внутрь которого не смог войти никто. Моя планета, мое прошлое оставались моими — я сам туда никого не впускал, скрыв судьбу своих родителей. А не оттого ли и не оказалось у меня близкого друга, что не мог с ним поделиться своей тайной, которую я скрыл в анкете? Что ж, стало быть, сам виноват и пенять мне не на кого... Но так ли уж я виноват?

Я лег спать, мне уже было все равно, куда свернет наш эшелон. Дальше фронта не пошлют, меньше пайки не дадут!

Когда я проснулся, направление определилось: эшелон подходил к Калинин. Значит, в Прибалтику едем. Ладно.

Мимо тянулись разрушенные боями стан-

ции, полустанки, сожженные деревни. Довольно часто эшелон останавливался, и тут я каждый раз видел зрелище, выворачивающее душу, — к эшелону сбегались дети. Но что это были за дети! Нищета и голод читались не только в тех лохмотьях, в которые они были одеты (обутых вообще не было), — она была запечатлена на лицах в виде какого-то постоянного выражения забитости, покорности и робкой надежды.

— Дя-аденьки, дайте хлебушка.

— Дайте поить чего-нибудь...

У них были торбочки для кусков хлеба, консервные банки для супа, а то и мятые армейские котелки. И мы, не привыкшие делиться своим солдатским пайком ни с кем, не могли устоять перед этим выражением беды. Какую-то девочку лет семи с худенькими ножками и мослатыми нездоровыми коленками мы заставили поесть немного при нас. А она все хотела взять гороховый суп домой, где у нее было еще два брата и сестра. Только после того, как мы обещали дать и для них, она согласилась немного поесть. (Кстати сказать, таких полных котелков, как в эшелоне, нам раньше получать с кухни не приходилось. Воровать стало бессмысленно, что ли?) Андриевских, будучи сам из деревни, все допытывался у нее:

— Сколько же вам в колхозе хлеба дают на трудодень?

— Нискольки.

— А картошка у вас есть?

— Кончилась...

— Что же вы едите?

— Крапиву варим, лебеду... К поездам ходим...

— Да-а, война, — протянул Андриевских, пытаясь найти объяснение.

— Война-то война... — возражающим тоном сказал Ваня Хохлов и не договорил.

Эшелон вдруг свернул с Ленинградской дороги. Только теперь нам объявили, что мы едем на Карельский фронт. Пожалуй, мы испытали что-то вроде разочарования. Как впоследствии А. Твардовский назвал финскую войну 1939—1940 годов «незначительной», так незначительным остался в истории войны и этот фронт. Но разве солдаты выбирают, где им воевать и погибать?

## 5. На фронте

Нам достался участок между Ладожским и Онежским озерами, где фронт пролегал по реке Свирь. Как встал здесь фронт к зиме 1941 года, так и стоял без движения до июня 1944 года. Там была популярной

шутка: «Кто в Европе остался нейтральным? Швейцария, Швеция да наша 7-я армия». В шутке был резон: пока мы, сменяя старые части, находились в окопах, стрельбы почти не было, только где-то время от времени обменивались ленивыми очередями да несколько раз с нашей стороны постреливали из пушек. Как оказалось, пристреливались.

Мы до того обнаглели, что ходили по окопам не пригибаясь, пока нам категорически не запретили — в соседней роте снайпер с той стороны достал двоих человек, один был убит. Это был хороший снайпер, как я понял, он стрелял из-за Свири, расстояние было почти километр. Мы стали осторожнее, впрочем, осторожность, правда совсем другого рода, потребовалась с самого начала — окопы были невероятно загажены, того и гляди наступишь на «мину».

Это меня изумило — почему так? Почему окопы такие мелкие, местами полуобвалившиеся, почти нигде не обшиты деревом, хотя леса вокруг полным полно? Если фронт стоял столько времени, можно было из этих окопов конфетку сделать, а они превратились в отхожее место. Хорошие окопы мы увидели только через несколько дней, когда оказались на финской стороне.

Начинать наступление нам предстояло с форсирования Свири — реки глубокой и довольно быстрой. Каждую ночь гудел и ворочался лес за нашей спиной — подвозили и устанавливали артиллерию. Солдаты, которым удалось побывать там, с восторгом говорили, что видели сотни орудий и «катюш». Это подбадривало и вселяло надежду, что форсирование пройдет с меньшими потерями.

Наконец нам объявили час наступления. В эту последнюю ночь, наверное, мало кто спал, хотя и разговоров не вели — каждый думал об одном: что его ждет? А ночь была белая, северная — хоть газету читай! И нет-нет да и прокрадется в голову невеселая мысль — неужели эта прекрасная, задумчиво тихая ночь — последняя в твоей жизни? Неужели все мое предназначение — это быть сваленным завтра осколком или пулей в воду, чтобы быстрое течение Свири вынесло меня в Онежское озеро? Давишь эту мысль, как окурочек в землю, а она возвращается. Словом, не до сна...

В три часа началась артподготовка. Это было зрелище! Попробуйте представить себе пулеметную очередь длиной в полтора часа. Только при этом на ту сторону летели не пули, а снаряды. От такого огня, даже если бы и не было белой ночи, все равно стало бы светло как днем. Мы почти оглохли от выстрелов

и воя «катюш», каково же было на той стороне, куда обрушилась эта масса металла и взрывчатки?

Над лесочком, что был позади нас, поднялся аэростат. Сначала он был темно-серый, потом порозовел — это всходило солнце. Потом стал серебристым, каким ему и положено быть. Шла корректировка стрельбы. Какой-то самолетик неторопливо летал над нами вдоль берега Свири туда и обратно. Мы понимали, что это тоже наш наблюдатель. А самолетик вдруг подлетел к аэростату и дал длинную очередь. Аэростат вспыхнул, мы обомлели. Какого же черта никто не стрелял по самолету? Мы с нетерпением ждали: выпрыгнет ли наблюдатель? Когда от корзины отделилась маленькая точка и над ней вспыхнул купол парашюта, мы дружно заорали «ура!». А финский самолетик неторопливо полетел на свою сторону. И только минут десять спустя в ту же сторону промчалась тройка наших истребителей. Мы гадали: догонят ли? — и возмущались тем, как безнаказанно сделал свое дело финский самолет...

Но вот огонь стал стихать, раздалась команда «вперед!». До сих пор финская сторона не отвечала на артиллерийский огонь, теперь же то тут, то там начали рваться снаряды. Впрочем, не часто. Пулеметчикам и минометчикам предоставили понтонные плоты, остальные плыли на самодельных плотах и лодках самого разного калибра и фасона. Мы наваливались на весла изо всех сил. Скорей, скорей на тот берег! Я поглядывал на ребят. Стоило кому-то заметить, что на него смотрят, как он тотчас же пытался выжать из себя улыбку — не страшно, мол. И это было очень похоже на поведение в самолете перед прыжком! Стало быть, скребли кошки, но фасон держали.

Доводилось мне позже слышать усмешливые рассказы пожилых фронтовиков, что мальчишки нашего возраста не раз кричали на фронте «мама!». Не рискну говорить за всех, но в своем полку я с этим не сталкивался. Я уже говорил, что нас плохо учили. Но одному научили — погибать по возможности тихо.

Радовало, что не было ни ружейного, ни пулеметного огня — это означало, что противник то ли был подавлен артиллерийским огнем, то ли заблаговременно отошел — последнее было вернее.

Редкие снаряды все же подымали фонтаны воды то тут, то там, и мы вполне эгоистически радовались, что это было сравнительно далеко от нас. Но однажды екнуло сердце — я увидел столб воды, лодку, вставшую дыбом, и посыпавших с нее солдат. Но глядеть туда и переживать уже не было времени, берег приближался.



Сильное течение здорово снесло нас, и мы пристали далеко от того ориентира, который был в карточке у нашего Коля.

— Скорей! Скорей! — торопил нас Коля.

Вдруг глаза его округлились.

— Стой! Стой! — заорал он.

В маленьких ивовых кустах, куда мы намерены были ступить с первым пулеметом, Коля увидел тонкие натянутые проволоочки. Стоило задеть такую проволоочку или наступить на нее, и... Спасибо Коле!

Мы попытались отчалить от этого места, но плотик основательно сел на глинистый грунт. Пришлось сойти в холодную воду, которая местами была по пояс, и брести вдоль кустиков до другого места. Кое-кто поскользнулся, окунулся с головой. Едва мы перетаскили пулеметы под небольшой обрывчик, как раздался страшный удар. Берег стал дыбом и накрыл взвод. Ухнуло и оборвалось сердце. Забарабанили по телу комья земли и камешки — некоторые весьма чувствительно. Уткнувшись в землю, мы ждали продолжения, но было тихо.

— Встать! — послышался голос Коля.

Мы встали, отряхнулись, оказалось, что все живы и здоровы, начались смешки и подтрунивания — нормальная реакция на пережитый страх. Настроение поднялось, самое трудное — форсирование — позади. Теперь то уж мы на земле, она, матушка, и раненого поддержит, не даст пропасть\*.

Кое-как батальон собрался и двинулся вперед. С острым любопытством поглядывали мы вокруг — это была первая земля, отбитая нами у врага. Километра на полтора от берега почти все было перепахано и сожжено — артиллерия и «Катюши» поработали на славу.

Одно удивляло — где же убитые? По кому полтора часа работали сотни стволов? Скорее всего противник сообразил вовремя отвести большую часть своих солдат из-под губительного огня.

А вот и первый убитый. Мы невольно остановились около него. Человек был выброшен взрывом тяжелого снаряда из полуразрушенного блиндажа и лежал на спине, неестественно перегнувшись назад. В левой руке его была зажата... вилка. Меня, пожалуй, как и многих, больше всего потрясла эта вилка.

— Чего стали? Вперед! — налетел на нас Коля.

Но я видел, что и сам он несколько раз оглянулся на первого убитого врага. Даю слово: и у меня да, наверное, и у многих не было никакого злорадства или торжества. Сейчас же, когда я вспоминаю эту навеки запечатлевшуюся картину, мне даже грустно. Кажется, вряд ли кто смог сообщить родным

\* За операцию по прорыву фронта и форсированию Свири нашей дивизии и другим частям присвоили звание Свирской.

этого убитого, как и при каких обстоятельствах он погиб и где похоронен...

Но вот разрушений стало меньше, и мы смогли разглядеть, как разительно отличались финские окопы и блиндажи от наших. Честное слово, временами по отделке они больше походили на дачи — аккуратные двери, украшенные то резьбой, то планками, обшитые тесом или фанерой стены. С такой же старательностью сделаны столы и табуретки в землянках. Даже грибок, укрывающий от дождя часового, был обит кокетливым бордюром из коротко нарезанных круглых палочек — игрушка, а не грибок! Отчего же на нашей стороне не было ничего подобного?

Не будет преувеличением считать, что это было мое первое соприкосновение с «заграницей». Много лет спустя мне доводилось бывать в дружественной Финляндии. И, поражаясь чистоте и аккуратности финских улиц, домов и городов, я всегда вспоминал и те мои первые фронтовые впечатления.

Сплошные карельские леса не позволяли иметь какую-то определенную линию фронта. Мы наступали узкими клиньями, двигаясь вдоль дорог, по сторонам которых тянулись болота. Обстреливать такие колонны противнику было очень удобно, что он и делал.

Как правило, головной дозор пропускался беспрепятственно, а потом с обеих сторон начинался огонь по колонне. Мы в ответ палили тоже. Начались потери, появились первые братские могилы с торопливым трехкратным залпом и фанерной табличкой с надписанными химическим карандашом фамилиями убитых. Не уверен, что после двух-трех дождей эти фамилии могли сохраниться на фанерке.

Нашему взводу пока везло, у нас потерь не было. «Потеряли» мы только противогазы, бросив их в первый же день. По этому поводу был шум, кто-то грозил вычетом командиру роты. Нас это не волновало — у нас-то вычитать было не из чего. Солдатское жалованье — тридцать рублей старыми-престарыми, довоенными деньгами. Мы получали их два месяца в году, а остальное уходило на заем. (Интересно, куда же девались облигации убитых?)

Угроза вернуть нас за противогазами тоже не испугала — мы понимали, что вернуть батальон с занятого рубежа никто не позволит. Вслед за противогазами я в числе некоторых «потерял» шинель. На дорогах наступления чего только не валяется! К вечеру всегда находилась какая-нибудь шинель, не наша, так финская — финским солдатам, похоже, не слаще нашего приходилось — так чего зря тащить лишний груз?

Но вот сплошные леса расступились. Мы узнали об этом крайне неприятным спосо-

бом — под утро нас накрыл внезапный артналет. Представьте себе пробуждение под тяжкий грохот, треск разрываемых и падающих сосен — тут не знаешь, чем тебя убьет, то ли осколком, то ли стволом упавшей сосны. Виталька Сутыркин из третьего взвода был убит огромной зазубренной щепкой, вонзившейся ему прямо под солнечное сплетение. Никто не решился вытащить эту щепку величиной с полено. Впрочем, это я увидел чуть позже, а пока я лежал на содрогающейся почве, мысленно сжавшись в крохотную точку, стараясь как можно глубже вдавиться во вздрагивающую землю.

Вдруг я услышал жалобный голос своего командира:

— Ребята! Я ранен!

Я слышал и другие голоса и стоны, но пополз к Коле и столкнулся с Ваней Хохловым. И тут я впервые узнал душноватый и какой-то маслянистый запах чужой крови. Своя пахнет как-то по-другому. Родней, что ли?

Мы перевязали его, содрогаясь в душе при виде его раны, — у него была вырвана большим осколком вся левая ягодица, и я подумал с тоской, что он может изойти кровью. Это все, что мы успели для него сделать. Нас уже собирали и — «вперед! вперед!». Даже похоронить своих товарищей нам не дали.

Батальон таял с каждым днем. К. Симонов как-то писал, что солдату, увидевшему гибель своей роты или батальона, кажется, что это разгром, что гибнет весь полк, дивизия, а может, и армия. Но мы наступали, поэтому мысль о разгроме не приходила в голову.

На следующий день после того, как мы потеряли нашего Колю, нам предстояло наступать на открытом месте, по всем правилам. Еще когда мы рассредоточивались по краю леса, финны открыли артиллерийский и минометный огонь по опушке. Можно было внять этому предупреждению, оценить, что нас ждет. Не вняли.

По новому Боевому уставу, принятому уже во время войны, первыми полагается выдвигаться вперед пулеметчикам. Когда мы это проходили теоретически, то вполне понимали логику: если впереди будет своя пехота, то как же стрелять? Но стоило проверить это практически, как возникла противоположная мысль и тоже вполне логическая: пулемет — самая желанная цель для минометчиков и артиллеристов противника. Если пулемет выдвигается первым, то он и будет первой целью. Стало быть, этот пункт устава хорош только тогда, когда пулемет можно выдвинуть вперед скрытно.

Впрочем, все эти соображения пришли позднее. Теперь же, едва мы выкатили свой «Максим» на луг, как тотчас же почувствовали себя на прицеле — засвистели вокруг ми-

ны. Отвратительная это вещь — лежать или двигаться под обстрелом. Но стократ отвратительнее, когда чувствуешь, что охота идет именно за тобой. Просто удивительно, как быстро солдатское ухо начинает отличать «свой» снаряд от «чужого». К вою «своего» снаряда примешивается какое-то пришептыванье. Услышав этот звук, особенно если он становится все различимее, следует тут же кинуться на землю — снаряд упадет недалеко. Ну а наслушавшись такого шепота, изучив его оттенки, можно вполне спокойно и почти комфортно лежать метрах в пятидесяти от разрывов — это не твои, хотя достать и могут.

Так вот, мы чесали по лугу сквозь сплошной такой шепот, то падая, то поднимаясь и направляясь к кустарнику, куда нам приказали выдвинуться. Потом я заметил, что Ваня Хохлов, снова ставший моим сержантом (вместе с Колей мы в тот день потеряли пять человек и пулемет, так что отделения перемешались), погибает куда-то вправо. Спрашивать было некогда. Когда мы плюхнулись в какую-то ложбинку — живот сразу захолодило от проступившей воды, — я спросил Ваню, почему он свернул. Он удивленно глянул на меня:

— Так нас же в вилку брали! Не заметил с переляку? — у него иногда встречались украинские выражения.

Да, «переляку» хватало, и хотя я задним числом вспомнил, что сврало то впереди, то сзади, про вилку я не сообразил... Ай да Ваня!

— Теперь поползем куда надо, — сказал Ваня, когда мы отдышались.

Но тут и мне пришла в голову дельная мысль.

— А может, лучше туда? — я показал на кусты в противоположном направлении.

Они были вроде и пореже и пониже, зато к ним можно было добраться, не высовываясь из ложбинки, которая, как мы понимали, скрывала нас от прямого наблюдения.

— Давай, — согласился Ваня и пополз первым.

Мы продвинулись до тех кустов, а потом с удовлетворением наблюдали, как минут пятнадцать финские минометчики молотили по кустарнику, куда мы первоначально направлялись. Ваня молча пожал мне руку, я с удовольствием ответил, понимая, что от вилки-то первый увел нас он. Подполз Макухин, угрюмо спросил:

— А дальше что?

— Поглядим, — пожал плечами Ваня. — Наверное, как подтянутся стрелки, нас опять вперед двинут...

Но стрелки что-то не торопились подтягиваться. Больше того, огонь усилился, опушка леса и луг перед ней будто закипели от сухих минных разрывов (снаряд рвется со звуком погуше). А мы увидели, что стрелки... ползут

обратно. Кое-кто, видимо, стремясь поскорее укрыться в спасительной гуще леса, вскакивал во весь рост, и это было их последней ошибкой. Особенно понятно это было про тех, кто падал на спину...

Андриевских стал материться. Ваня оборвал его:

— Заткнись!

Нам стало очень скучно — мы почувствовали себя как бы отрезанными от своих и не знали, что делать: если ждать на месте, то чего и сколько? Двинуться обратно — страшно по двум причинам: во-первых, без приказа — все мы хорошо помнили знаменитый сталинский приказ 227, по которому за отступление без приказа полагалась штрафная рота, — а во-вторых, мы понимали, что если дорога сюда нам обошлась без потерь, то вряд ли такое везение повторится.

— Покурим, что ли? — вздохнул Славка Помогаев.

— Я тебе покурю! — свирепо обернулся к нему Ваня.

— Уши пухнут...

— Сухарь погрызи, самому курить охота.

Часов ни у кого из нас не было, от этого время тянулось еще медленнее. Огонь стихал, но время от времени мины еще рвались по опушке — словно предупреждение, чтобы не высовывались. Никто и не высовывался, и мы только материли наших минометчиков — а что они-то делают?

Где-то через час в лесу вдруг что-то заворчало, загудело, и вот на луг вылезли четыре танка, за ними валили пехотинцы.

— Ура! — заорали мы, когда они поравнялись с нами.

Это было не то «ура», с которым идут в атаку, это мы просто от радости. Однако крик подхватили. «Ура» покатилося по всему лугу. Танки постреливали, от домов, крыши которых виднелись впереди, полетели щепки и бревна, автоматчики строчили перед собой. Но «ура» стало утихать — вдруг все заметили, что нам никто не отвечает огнем...

И в самом деле, когда мы подбежали к объекту нашей атаки — это было что-то вроде лесного кордона, состоящего из избы, хлева и сенного сарая (теперь все горело), — там не было ни души.

Так вот, спрашивается, почему же нельзя было двинуть танки с самого начала? Надо думать, потери были бы намного меньше. Я не знаю, каковы были потери в ротках, но наш третий расчет был выбит — они оказались не такими счастливыми, как мы, когда выдвигались вперед.

Кто-то скажет — обычная солдатская воркотня, солдатам вечно кажется, что командиры все делают не так. Не спорю, такое имеет место. Но я был солдатом и описываю то, что видел, с солдатской точки зрения. У нас предостаточно воспоминаний военачальников разных рангов, почему бы не послушать и солдата?

До сих пор мы гнали противника перед собой, как бы вытесняя его с территории и, сдается мне, неся при этом куда большие потери, чем он. И каждый день, со смертями и кровью, казался невероятно длинным. Но вот то ли командование решило проявить оперативное искусство, то ли танков и самоходок накопилось больше, но задумано было совершить прорыв в тыл противника с танковым десантом. Мы должны были прорваться до какого-то населенного пункта, куда сходились несколько дорог, по которым, как предполагалось, будет отступать противник. Тут-то мы и должны были их встретить и устроить им хорошую баню. В десант был назначен наш батальон.

Сам прорыв произошел сравнительно легко. Зато я чуть не погиб самым дурацким образом — пулеметная очередь хлестнула по башне Т-34, кто-то упал, я прижался головой к башне, касаясь ее щекой. И тут что-то грохнуло так, что мне показалось — взорвался наш танк. Не помню как, я вдруг оказался на земле и с ужасом увидел — на меня прет идущий сзади танк!

Каким-то невероятным образом я в последний момент увернулся от него, а потом увидел, что наш танк идет себе как ни в чем не бывало. А Ваня Хохлов смеется и машет мне рукой — догоняй, мол! Оказалось, что танк выстрелил из пушки, а я, прижавшийся щекой к башне, ощутил этот выстрел в полной мере, как будто мне выстрелили в ухо!

Открытое место кончилось, танки вломились в лес и остановились — впереди были болота, продвижение возможно только по дороге. Сначала она была грунтовой, но вскоре перешла в сплошную гать из настланных бревен, а по обеим сторонам зеленел мох. Танки сбавили ход. Никто в нас больше не стрелял, никого вокруг не было видно, кроме птиц, — по всей вероятности, мы уже были в тылу у противника. Мы слегка расслабились, закурили.

Так мы двигались часа два. Наш расчет ехал на четвертой машине от головы колонны, поэтому то, что произошло, я увидел во всех подробностях. Лес слегка расступился, впереди обозначилась маленькая полянка, ручей, протекающий посередине, и небольшой деревянный мостик, почти незаметный. Головная машина вдруг на всем ходу свернула с гати, въехала в болото и тут же увязла. Вторая машина, не придав этому значения, въехала на мост, и я увидел столб огня и взрыв — это был мощный фугас. Многотонная махина приподнялась в воздух, перевернулась, с нее посыпались люди. Танк рухнул башней вниз, раздавив всех, кто остался жив после взрыва. А там оказался командир нашего первого взвода младший лейтенант Федянин и полный пулеметный расчет. Потом я увидел окровавленного человека, голого по пояс, — его раздело не то огнем, не то взрывом и от гимнастерки, и от кожи. Он пробе-

жал куда-то назад и упал на руки выскочивших танкистов. Это был водитель танка — единственный чудом уцелевший человек с той машины. Как он выскочил? Невообразимо!

Человек шесть или семь побежали к перевернутой машине, чтобы помочь раненым, если они там окажутся.

«Ой! Что же это они?» — я не успел додумать этой мысли, как из-за мосточка замигали, затрещали очереди. Все попадали — кто живой, кто убитый. Крышка люка приподнялась, под ней мелькнуло бешеное лицо подполковника-танкиста:

— Что раззявились, мать вашу? Огоны!

Стрелять вперед мешала башня танка, мы стащили пулемет вниз, установили возле гусениц и стали поливать лес длинными очередями. Палили и автоматчики, потом к нам присоединились и танкисты. Всю противоположную сторону ручья измочалили, простреляли так, чтобы там не осталось ничего живого.

Застрали мы надолго — вперед хода не было. Пока одни валили сосны и заделывали провал моста, другие вытаскивали увязший в болоте головной танк. Подорвавшийся на фугасе танк вытащить не удалось, болото уже крепко засосало его. А маневра не было — только узкая гать, позволявшая двигаться или вперед или назад. Тем временем мы похоронили наших погибших товарищей из первого взвода, не без труда отыскав местечко посуше. Двоих так и не удалось найти под танком...

Кто-то вздохнул и о младшем лейтенанте Федяине, но его оборвал солдат по фамилии Вус:

— А! Туда ему и дорога! — и желваки вспухли у него на щеках.

Дело в том, что Вус смертельно ненавидел своего командира, свирепого и драчливого. Вуса он лупил не раз, а однажды особенно жестоко — рукояткой пистолета, так что Вус долго носил синяки. И мы слышали, что он поклялся расчитаться с ним на фронте. Бахвальство такое встречалось среди солдат. Думается, что и Вус больше грозился, но сам факт, что даже смерть — по общему мнению особенно жестокая — не примирила Вуса с Федяниным, говорит о том, что отношения солдат и офицеров порой складывались очень напряженно.

Мой Коля, заражаясь дурным примером от Федянина, тоже раз попытался поддать мне ногой под зад, когда я опоздал и догонял ушедший на занятия взвод. Но я видел, что он здорово завелся из-за моего опоздания, был начеку и подставил ему под сапог приклад карабина. Для тонкого шеврового сапога, гордости наших лейтенантов, жесткий приклад, конечно, предмет более неудобный, чем сол-

датский зад. Он хоть и тощий, но все же мягче дерева. Коля зашипел, запрыгал на одной ноге, потом подскочил ко мне:

— Ты что? Ты что, а? На меня, на командира, прикладом?

— Это не я на вас, а вы на меня!

— Нет, ты!

— Нет, вы! — упорствовал я.

— А ты чего опаздываешь?

— А вы меня можете на губу посадить, а лягаться не имеете права!

Больше всего Коля был озабочен тем, не видел ли взвод этот инцидент. Но взвод уже утопал вперед, похоже, что никто ничего не заметил, и Коля успокоился. Поматерив меня еще немного, — ну это уже как с гуся вода! — он послал меня в строй. Нет, наш Коля был куда как лучше Федянина, и я всегда вспоминал его по-доброму, хотя и с улыбкой...

Наконец провал в мосту был заделан, колонна двинулась дальше. Задержка почти на полдня нам дорого обошлась — дальше каждый мосточек, а их было пять или шесть, финны успели заминировать. Мы потратили сутки, чтобы приблизиться к тому большому селу, которое должны были захватить с ходу. Конечно, никакой неожиданности для противника уже не было, и он успел хорошо подготовиться к нашему появлению.

Село располагалось на пологой возвышенности, с трех сторон окруженное лугами с пятнами кустов. Отсюда не было видно, что там, за селом. Танки и самоходные пушки растянулись вдоль опушки ближе к лесу, изготовились к атаке. Всего их было десятка четыре — сила! Отсюда до ближайших домов было километра три.

Наш сильно поредевший взвод, оставшийся с двумя пулеметами, слегка перетасовали. Теперь у нас в расчете на два человека стало больше. В другое время как бы мы порадовались этому облегчению, теперь же было не до радости... Ваню Хохлова поставили старшим над нашими двумя расчетами, и командир стрелковой роты оставил его при себе. Сначала я об этом пожалел. Ваня уже показал себя как толковый командир, не теряющий головы под обстрелом, с ним было бы повеселей. Теперь же я рад, потому что в этом последнем, бесконечном, жестоком и довольно бессмысленном бою Ваня уцелел. А останься он с нами — кто знает? Даже мой не такой уж большой фронтовой опыт научил меня: свой участок, свой жребий, а стало быть, в какой-то мере и свою судьбу следует принимать спокойно, без лишнего ропота и траты нервов. Не надо суетиться, стараться выгадывать что-то — другое может оказаться еще хуже. И бывалые солдаты потом не раз подтверждали эту маленькую мудрость. Фатализм? А что еще может противопоставить человек тому безумному хаосу, который называется войной?

Было тихо, очень тихо в лесу и вокруг. Танки и САУ (самоходные артиллерийские установки), заняв исходные позиции, выключили моторы. Повсюду перекликались птицы — им и война была нипочем! Со стороны противника не доносилось ни одного выстрела. Лукавая и жалостливая мыслишка нет-нет да и щекотала душу, замирающую перед очередным боем, — а может, обойдется и на этот раз? Может, они уже давно драпанули из деревни — вон как тихо! Видели же они, какая сила двигается на них! И вообще, это не 1941 год! Что может противопоставить нам маленькая Финляндия, когда уже и могущественная Германия катится назад по всем фронтам?

Но вот один за другим взревели моторы и танки двинулись из леса.

— Вперед! Вперед! Не отставать от танков! — послышалась команда.

Мы побежали за танком, который выбрали для себя. И сразу же оказалось, что луг, так нежно зеленеющей травой, казавшийся таким ровным, был покрыт кочками, на которых пулемет то и дело опрокидывался. Мы переворачивали его, задерживались и поэтому поневоле стали отставать от своего танка. Какой-то младший лейтенант, незнакомый нам, видимо, командир стрелкового взвода, орал:

— Пулеметчики! Вперед! Не отставать!

Пробежав таким образом метров двести, мы уже запыхались, несколько раз сменились и все же отставали и от танков, и от стрелков. И тут наступила передышка.

Но что это была за «передышка»! Только нам, взмокшим и задыхающимся, в данную секунду больше всего удрученным собственной усталостью, это могло показаться так. А на самом деле луг вдруг как бы взорвался и в считанные мгновения весь покрылся столбами разрывов. Били одновременно и орудия, и минометы. Грохот был такой, что мы не сразу заметили и уж давно не могли слышать пулеметный огонь противника. Догадались о нем, только увидев трассы. Мы, естественно, залегли — это и стало для нас маленькой передышкой. Стрелки тоже залегли, командиры металась меж них, понуждая двигаться дальше.

Вдруг задымил и остановился один танк, за ним другой, вспыхнул рыжим пламенем третий... А огонь, и без того казавшийся уже невыносимым, все усиливался. Вот уже пять или шесть столбов дыма неподвижно повисли над лугом, среди разрывов снарядов, мгновенно вздымающихся темным фонтаном (почва на лугу была торфяная, черная) и тут же опадающих. Танки остановились, и пехота залегла уже неподъемно. Короткими перебежками, стараясь укрыться за танками, мы подтягивались к своим. Укрытие же оказалось очень коварным. Мы не дотянули до

«нашего» танка метров десять, упав в изнеможении, а он вдруг попятился! Если бы мы оказались ближе, он мог раздавить кого-то из нас.

В тот длинный-предлинный день не один солдат погиб под танком — и я видел это. А однажды и услышал — очень короткий, какой-то совсем не человеческий вскрик, быстро захлебнувшийся как бы в самом себе. Я обратил внимание, потому что этому внезапному смертному крику ничто не предшествовало — ни взрыв, ни выстрел, лишь урчание танкового мотора. И только позже, когда я увидел это, я догадался, что был за крик.

Танкисты предупреждали нас, чтобы мы не совались под танки, — они вынуждены все время маневрировать, чтобы по ним не пристрелялись, и поэтому не могут стоять на месте. Но когда все вокруг дымится и грохочет, а сама земля-спасительница толкает тебя снизу в живот, будто хочет сбросить с себя, темная ниша между гусеницами и днищем танка кажется такой спасительной!

Не знаю, сколько мы пролежали в первый раз, когда танки остановились. Обзор наш сильно сузился — мы только могли приподнять чуть голову от земли и убедиться, что весь наш расчет и пулемет пока на месте.

Танки снова двинулись вперед, открыв огонь из пушек. Незнакомый истощенный голос прокричал:

— Третья рота, вперед! Пулеметчики, вперед!

Снова поднялись фигурки солдат — теперь они гнулись к земле гораздо больше, чем сначала. Мы тоже поднялись, но, скажу честно, на этот раз мы бежали не так резво. И не так уж нас заботило, что танки уходят вперед. Огонь противника, чуть было поослабший, снова усилился.

Так, падая и поднимаясь под непрерывным огнем, мы преодолели почти половину расстояния от леса до села, которое нам надо было взять. Нас подманивала и полоска кустарника, которая была здесь погуще, хотелось укрыться в ней хоть на время. Я бежал с коробкой шагов на десять позади пулемета — была моя очередь передохнуть немного. Я уже хотел догнать пулемет, как вдруг, несмотря на постоянный грохот вокруг, услышал нарастающий «шепот» и бросился на землю. Рвануло совсем рядом. В который уже раз меня обдало горячей волной и удушливым запахом взрывчатки. Над головой профыркали осколки.

И тут же снова — «шепот», взрывы, звяканье осколков, и всем своим существом — и животом, под которым подпрыгивала земля, и спиной, на которую сыпались комья торфа (спасибо, не камни!), и каской, по которой дважды пронзительно звякали осколки, — я ощутил: бьют по нам! Нас засекли, поймали в вилку, и теперь батарея

молотит белым огнем. Мелькнула мысль, что из-под такого огня надо уходить — убьют наверняка! Но как?! Не было ни малейшей паузы между взрывами. Я попробовал отползти в сторону — грохнуло впереди, я повернул в другую сторону — то же самое. И я замер на месте, охватив голову руками.

Вот говорят: от страха душа уходит в пятки. Ах, не в пятки уходит она под обстрелом — в землю, в землю стремится сокрыться душа и увлечь за собой твое огромное, неуклюжее, беззащитное тело! И не только страх терзает бедную измученную душу солдата, сам звук разрыва — невыносимый, парализующий — рвет ее на куски. Не приспособлен человек, чисто генетически не приспособлен к таким звукам! Не знал он их на всем пути своей эволюции. Не может он этого вынести!.. Но выносит. Вынес и я, как и сотни тысяч других. Ситуация-то на войне банальнейшая!

Но вот вроде стихло. То есть стихло возле нас, и я рискнул поднять голову, расцепив руки. (После того, что я однажды увидел, я больше всего боялся быть раненым в лицо и прикрывал его.) Где же ребята?

Там, где по моим предположениям должен был быть пулемет, чернела сдвоенная воронка. Это ерунда, что дважды снаряд не попадает в одно и то же место, — еще как попадает, особенно если бьет не одно орудие, а батарея. Но вот я увидел сбоку от воронки ползущего солдата. Только когда я подполз совсем близко, я увидел, что он не ползет — он уже не живой, а ноги его дергаются в агонии, как будто он по инерции продолжал делать то же, что делал при жизни в ее последние мгновения... Это был Макухин...

Потом я увидел Славку Помогаева, Корзухина, Андриевских... На этот раз я сразу понял, что все они убиты. Живой человек — отдыхающий, спящий, даже раненый! — всегда лежит так, чтобы ему было удобно, насколько это возможно. Мертвый лежит, как брошенная кем-то вещь.

А где пулемет? Я увидел метрах в тридцати станок без колеса, искореженный, со смятой душкой. Ствола вообще нигде не было видно. Прямое попадание.

Вдруг я услышал легкий свист и увидел, что из воронки мне машет рукой Вася Шилкин. Я пополз к нему.

— Жив? — спросил Шилкин прерывающимся голосом. — А я уж думал, что один остался... Я да он.

Вася полулежал в воронке, быстро наполняющейся бурой торфяной водой, так что ноги его были в воде. А рядом с ним, до пояса высунувшись из воронки, лежал раненый Юганов. Он был ранен в шею, в плечо, но

страшнее всего на вид была рана на левой ноге — все мясо от колена до стопы было сорвано, так что ногу можно было охватить двумя пальцами. Полпятаки было срезано осколком, и из ботинка торчала белая ноздреватая пяточная кость. Кровь до нее уже не доходила, потому она и оставалась белой.

Жутко было перевязывать эту неестественно тонкую ногу Юганова. Бинт ложился почти на кость. Еще страшнее было оттого, что он молчал, хотя был в сознании. Вокруг слышались стоны и крики раненых:

— Санинструктор! Санинструктор!

— Ребята, помогите! Ребята!

— А-а-а-а! О-о-о-о!..

А Юганов молчал.

Когда мы перевязали его (пакеты взяли у убитых), стали перевязывать стрелков, ставшая их в нашу воронку. Их набралось человек восемь. Плохо было, что воронка до половины наполнилась водой, но деваться было некуда.

Раза два в воронку чуть не въехал танк, остановить его удалось чуть не в последний момент.

Со временем огонь стал потише. Стреляли только по отдельным танкам, которым не удалось скрыться в кустах, поэтому они все время двигались по полю, порой наезжая на раненых. А через какое-то время наступила совершенно неправдоподобная тишина. Мы пытались с Васей увидеть хоть кого-нибудь из живых, чтобы понять — где батальон и что с ним? А главное, что нам теперь делать? Поле как будто опустело. Кроме танков да серых комочков убитых, никого живого на поле не было видно. Мы постучались к танкистам — они тоже ничего не знали. Похоже было, что батальон отвели. Но куда? И что делать нам с Васей, оставаться ли на месте или идти искать своих?

Вдруг сквозь кусты, теперь уже задом, новый танк чуть не въехал в воронку с нашими ранеными. Мы забухали прикладами в бока и еле остановили его. Опять спросили у танкистов, что им известно о дальнейших планах начальства. Они сказали, что в три часа будет новая атака. Сигнал — две красные ракеты.

Ладно, хоть какая-то ясность: пойдет батальон в атаку, мы увидим своих и присоединимся к ним. Стрельнули у танкистов табачку, покурили и стали ждать. Юганову было холодно, он попросил у меня шинель. Я накрыл его и сам почувствовал прохладу (мы были насквозь промокшие, а солнце стало затягиваться серой дымкой).

У кого бы «позаимствовать» шинель? Самая чистая и не порванная осколками шинель оказалась на Славе Помогаеве. Когда я снимал ее с него, то увидел маленькую, почти бескровную ранку у него на

лбу. Эх, Славка! Так и не дождался ты ордена Славы, о котором мечтал...

Время тянулось невыносимо, разговаривать не хотелось. Состояние духа было самое мрачное — мы подозревали, что от нашего батальона мало что осталось. Так оно и оказалось впоследствии.

Когда наконец над полем взвились, шипя и оставляя дымный след, две красные ракеты, танки снова двинулись вперед. Подхватив свои карабины, уже налегке, мы с Васей побежали за танком, стараясь держаться поближе к нему. Вокруг опять все загрохотало, задымело, затряслось. Огонь как будто стал еще интенсивней. Мы вертели головами во все стороны, стараясь увидеть солдат, но тщетно. Лишь когда миновали полосу кустарника, в котором прятались до сих пор, мы вдруг с тоскливым чувством обнаружили — кроме нас двоих никто за танками не следует. То ли залегли, не вынеся огня, то ли вообще никого на этом злосчастном лугу не осталось.

Я дернул Васю за руку, и мы плюхнулись на землю.

— Ну что? Будем вдвоем брать эту деревню?

Вася помотал головой. Мы остались на месте, а танки вскоре тоже стали останавливаться. Две машины, кажется, подорвались на минах, кто-то буксовал на месте, то ли увязнув в болотистой почве, то ли подбитый, а несколько машин загорелись.

Увидев, что танки пятятся, мы рванули в спасительный кустарник. «Свою» воронку мы не нашли, устроились в другой. Трое знакомых убитых солдат лежали там, кто-то сволок их еще после первой атаки, скорее всего для того, чтобы их не переехали танки. А может быть, тогда они были еще живы...

Но вскоре мы покинули эту воронку, не смотря на то что она была посуше других. Трудно было выносить запах смерти. У Э. Хемингуэя есть замечательное описание запаха смерти, о котором рассказывает Джордану Пилар. Описание этого запаха со всеми его компонентами занимает почти две страницы. Я люблю Хемингуэя и не собираюсь с ним спорить. Но не могу не добавить: смерть прежде всего пахнет дерьмом. Потому что на поле боя некому обмыть покойников. И запах этот особенно невыносим не тем, что неприятен, — он оскорбителен. Мы с Васей вскоре выбрались из воронки с убитыми.

Однако что же делать? Танки вернулись в полосу кустарников посреди луга. Вокруг себя мы видели только убитых или тяжело раненных, не могущих передвигаться. Перевязали еще несколько человек, они умоляли отнести их в медсанбат. Но где он?

В каждой роте должен быть санинструк-

тор, но где же они? Мы никого не видели. А день уже клонился к вечеру, огонь стал потише, но совсем не прекращался. Нас с Васей одолевал страх. Боялись мы уже не противника и не его огня — мы начали бояться своих. Что про нас подумают, что скажут? Мы были, может быть, ближе всех к той деревне, которую атаковали, но кто это видел? Кто от кого отбился, кто кого потерял — мы батальон или батальон нас? Опять мы стали ползать между танками, добываясь хоть какого-то ответа — где батальон? Никто ничего не мог ответить. И танки не уходили с поля — горели, но не уходили. Какого черта они застряли на лугу? Ведь у них же рация, думали мы, или вперед или назад — зачем же позволять себя расстреливать?

Когда село солнце и над полем повисли серые северные сумерки, мы решили идти искать батальон.

Тягостным было наше продвижение по этому полю. Раненые просили нас о помощи, умоляли, проклинали за то, что мы уходим и бросаем их. Но что мы могли сделать? Первое время мы еще откликались на их просьбы, перевязывали, стаскивали их в воронки для безопасности. Но сумерки над полем все сгущались, нам надо было искать своих во что бы то ни стало, и мы перестали откликаться на их мольбы. Оба были измучены и душой и телом от всего пережитого за этот бесконечный день и впали в полное оупение.

Неожиданно я заметил странную пару — один человек лежал не шелохнувшись, как мертвый, второй сидел возле него, скрестив ноги, совершенно неподвижный, как памятник. Когда мы приблизились, я узнал Парамонова, солдата из третьего взвода нашей роты.

Он, увидев нас, слабо улыбнулся:

— Ребята!.. Свои!.. Как хорошо!.. Вы поможете? — и кивнул на лежащего (это был командир его роты), у которого только ноги остались целы, а голова, грудь, живот и руки — все было перебинтовано, в пятнах выступившей крови.

Вася, Шилкин с сомнением нагнулся над ним:

— Да он жив ли?

— Жив, жив! — заверил Парамонов.

— Откуда ты знаешь? — рассердился Вася.

— Знаю! Так поможете? — Парамонов переводил взгляд с одного лица на другое.

Мы колебались. Мы обессилели. Нам казалось бессмысленным нести неизвестно куда не то живого, не то уже мертвого сержанта. Мы уже столько оставили позади!

— Суки! Сволочи! Б...! — вдруг заплакал Парамонов.— Никто!.. Я так просил... Никто...

Нам стало стыдно. Не ругательства, не слезы Парамонова устыдили нас. Нас устыдило, что этот человек укоряет нас!

Парамонов был самым непутевым и трусливым солдатом в нашей роте. Он прыгал с парашютом только со второй или третьей попытки. Он растирал себе ноги почти на каждом длительном выходе в поле. Еще в училище он обедался кашей, когда попадал в наряд на кухню, и присылаемыми родней припасами так, что его отвозили в санчасть. Позже командир отделения отнимал у него сидор и выдавал еду небольшими порциями. Этот же сержант (жаль, но не могу вспомнить его фамилию) третировал Парамонова как мог и даже не раз поколачивал его. Никто не возмущался, полагая, что с Парамоновым иначе и нельзя. И вот этот самый Парамонов сейчас клял нас за то, что мы хотели оставить его сержанта здесь, почти уже в безопасности.

Мы понесли сержанта на плащ-палатке, которой разжился Парамонов.

Мы уже шли во весь рост, только изредка пригибаясь. Добрели до опушки леса, и тут...

...Может быть, это был последний снаряд в тот день. Мы уже чувствовали себя почти в безопасности, когда раздался вой приближающегося снаряда. Вой был таким долгим, что я решил: это не «наш». Потом услышал «шепот». Мне показалось, что я успею добежать до серого камня, выступавшего из земли,— типичного карельского валуна — и укрыться за ним. Но не добежал. Грохнул взрыв. Мне почудилось, что Вася схватил меня за руку и дернул к земле. Но это был не Вася, а осколок. Почему-то сразу же после взрыва я сел и взглянул на свою руку — она согнулась под прямым углом к земле совсем не в том месте, где был локоть, а посередине между ним и кистью. Из нее хлестала кровь. Было не больно, но казалось, через все тело идет небольшой ток, заставляя подрагивать его мелкой дрожью. Вася подскочил ко мне.

— Что? — и глаза его округлились.

— Пакета нет,— с трудом сказал я, ни язык, ни губы меня не слушались.

— Больно? — спросил Вася.

Я только головой мотнул, губы не разжались, тело становилось как будто ватным. Вася побежал искать перевязочные пакеты у убитых. Мне нестерпимо захотелось лечь, и я лег. Потом захотелось закрыть глаза, и тут я испугался. «Я же исхожу кровью,— мелькнуло в голове,— нужен жгут».

Я сел, стащил с себя брючный ремень, попытался обмотать руку выше локтя — не удалось. Надо было как-то затянуть

ремень или замотать его на палку, но как это сделать одной рукой? Это были мои первые попытки обходиться одной рукой, позже я привык и даже запросто сворачивал закрутку из махорки, но пока мне ничего не удавалось.

А Парамонов сидел все в той же позе, скрестив ноги,— возле своего командира, и все, что случилось со мной, его совершенно не интересовало! Непостижимо!

Прибежал Шилкин с двумя пакетами, я взял свою левую руку за кисть — она была холодная, ничего не чувствовала, и даже моя собственная рука ощущала ее, как чужую. К тому же рука тут же прогнулась в середине дугой — ничто не могло удержать ее в прямом положении. Я видел, что она держалась на двух тонких полосках ткани, казалось, ее можно было отстричь в два приема ножницами.

— Нужны шины,— сказал я.

Вася срубил саперной лопатой четыре небольшие ветки, обломал их. Мы проложили палочки между бинтами, тут же пропитавшимися кровью, потом затянули ремень под плечом.

— Идти сможешь? — напряженно спросил Вася.

Я понял: теперь он боится, что я буду просить его остаться со мной, а ему надо идти искать своих. Для меня эта проблема как будто кончилась — ему же еще держать ответ — где был да как отстал и так далее.

— Давай покурим и пойдём,— предложил я.

Парамонов был все в той же прострации и не обращал на нас внимания.

Мы закурили, и я почувствовал, что дым махорки мне отвратителен. А я так хотел курить! Я бросил свою сигарку, Вася с удивлением поглядел на меня и поднял ее, а свою тщательно затушил и спрятал за оборот пилотки.

Он помог мне подняться — ноги дрожали, подгибались. По всему телу еще как будто шел ток, но уже не так, как сначала. Мешал карабин, какое-то время я еще нес его — памятуя о том, что полагалось выходить из боя с оружием. Потом Вася взял его, когда мне пришлось опираться на его плечо здоровой рукой.

Я оглянулся. Парамонов был похож на мусульманина на молитве. Не помню, попрощались ли мы с ним.

Какое-то время мы брели по лесу, ориентируясь на звуки моторов и время от времени присаживаясь отдохнуть. Мы вышли, кажется, на ту же дорогу, по которой двигались до сих пор. Тут-то мы и узнали, что остатки нашего батальона, человек шестьдесят, отвели. А для того, чтобы взять деревню, которую нам при всей массе танков не удалось взять в лоб, послали в обход третий батальон.



Позже стало известно, что едва финны заметили обход, как тут же отступили.

И вот я думаю: а что же нас, да и танки, держали под огнем, вернее, под расстрелом целый день?! И вспоминая свой последний бой, иначе как бессмысленным и бездарным я его назвать не могу.

Понимаю, порядок на войне нет и быть не может: все, что задумала в бою одна сторона, другая всеми силами старается опровергнуть. Стало быть, на войне ценится не порядок, а результат. Задумано к такому-то времени выйти на такие-то рубежи — вышли, вот и порядок. И оценивают его сверху вниз, а отнюдь не снизу. Ну а сверху те подробности, о которых я говорил, не видны. Дивизия шла вперед! Что до нашего батальона, оставшегося большей частью на том безвестном дугу, — «вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины!». И все! И точка! Но для меня, одного из немногих свидетелей того боя, совсем не все и не точка, и не многоточие, а вечная печаль и горечь...

Предстояло расстаться с Васей Шилкиным. Ему надо было догонять батальон, мне искать медсанбат. Оба мы испытывали неловкость — он оттого, что вроде бросает меня одного, я оттого, что задерживаю его. Кое-как, смущенные этой неловкостью, мы распрощались.

Я брел вдоль дороги, по которой мы шли сюда. Теперь мне навстречу нескончаемым потоком двигались танки и машины. По обочинам, проваливаясь то и дело в болотистый мох, тянулись солдаты. Все двигались в одном направлении. О том, чтобы разъехаться на этой узкой гати, не могло быть и речи. Никто не знал, где находится медсанбат. И я понимал, что он сюда еще просто не дошел.

А идти было все труднее и труднее. Я уже потерял много крови. Не знаю, насколько помогал наложенный жгут, но, помня, что необходимо через два часа ослаблять его, чтобы рука не омертвела, я проделывал это. Весь мой левый бок от пояса до обмоток промок от крови и заскоруз, стал жестким, но было не до этого — начала болеть рука! Время от времени я присаживался, чтобы подремать. Но теперь уже боль не давала заснуть.

Наконец мне сказали, что медсанбат рядом, и показали, куда надо свернуть от основной дороги. Я узнал место — тут тоже был ручей и мостик, это был один из тех рубежей, где нашу колонну пытались задерживать. Вскоре я увидел большую темно-зеленую палатку с красным крестом в белом круге. Это оказался так называемый передовой пункт медсанбата. Тут могли только

сделать перевязку, прививку против столбняка да заполнить карточку раненого. Молодая женщина-лейтенант, расспросив меня о характере ранения, увидев самодельные шины, похвалила за манипуляции со жгутом и посоветовала, чтобы не мучать зря, отказаться от перевязки — скоро меня отправят в медсанбат и там уже все сделают как надо. А пока воткнули противо-столбнячный укол. Я прилег на землю неподалеку от палатки.

Боль все разгоралась и разгоралась, казалось, терпеть уже не было сил, но стонать я стеснялся. А некоторые не стеснялись — орали, стонали, плакали и матерились вовсю. Наверное, кому-то казалось, что от этого его поскорее отправят в медсанбат. Но время шло, а никого еще не отправили. Я стал понимать, что отправят не скоро. Не раньше, чем освободится дорога, но пока на это не было никаких надежд. Казалось, что не только дивизия, а вся армия движется по этой дороге и только в одну сторону. Понемножку стало во мне крепнуть намерение отправиться самому, пугала только мысль — дойду ли?

На рассвете, когда в чистом-чистом голубом небе серые до того облачка стали фиолетовыми, а потом розовыми — вдруг неподалеку стали рваться тяжелые снаряды. Артиллерия била скорее всего по дымам от костров, к которым жалис раненые (им всегда холодно от потери крови, теперь и я это почувствовал в полной мере). Послышались испуганные крики, приказы загасить костры. Тогда я и решил идти дальше — не хватало еще, чтобы убило тут шальным снарядом километрах в шести от передовой!

И потопал я снова по дороге, по которой мы почти сутки пробивались к той злосчастной деревне, которую нам так и не удалось взять.

Уже двое суток я был без сна и время от времени проваливался не то в сон, не то в забытье. Но все время ощущал нарастающую боль. Носколько раз меня будили:

— Солдат, ты что?

— Ничего. Иду в санбат...

— Может, покурить хочешь?

Курить мне совсем не хотелось. То есть хотелось, но не мог — после первой же затяжки голова шла кругом и я выплевывал сигарку. Один раз мне предложили чаю, и я выпил его с жадностью и благодарностью. Вид у меня, похоже, был весьма жалкий, потому что сочувствующие взгляды я замечал, несмотря на то что сознание было затуманено.

Только к вечеру следующего дня я нако-

нец добрался до медсанбата. Всего прошел я около 24 километров, потратив на этот путь сутки. Это, конечно, меньше тех ста километров, что прошел герой повести В. Кондратьева «Сашка». Но зато и ранен я был тяжелее. И продолжал терять кровь.

Медсанбат оказался там, откуда трое суток назад мы начинали свой прорыв на танках. Последние километра полтора меня подвели на повозке. Наш ротный старшина наткнулся на меня, когда я — в который уже раз — привалился к подножию сосны и не то задремал, не то потерял сознание. Я очнулся от того, что он осторожно тряс меня за плечо: — Метальников? Это ты, что ли?

Надо было очнуться не только от забытья, но и боли, поэтому я старался говорить как можно меньше, голос поневоле срывается на стон. Я попрекнул его, что он околачивается здесь, когда там столько раненых, которых надо как-то вывезить.

— Да ты же видишь, что на дороге творится! Я с утра выехал и вот все еще здесь торчу! — с отчаянием воскликнул старшина.

Помолчали.

— Водки выпьешь? — спросил он. — За два дня норму получил, а доставить не могу...

— Некому будет пить твою водку, — сказал я сквозь зубы.

Старшина тревожно глянул на меня, потом бросился к повозке, достал из-под соломы кружку и плеснул в нее из большого обеденного термоса.

Пить мне не хотелось, но старшина настоял:

— Выпей, выпей, полегче станет...

Я сделал несколько глотков, поперхнулся, закашлялся. От сотрясения боль вспыхнула, как костер, если плеснуть в него бензин.

Я замычал, застонал и ткнулся носом в сырой мох, стыдясь своего стоны и невольной выступивших слез. Старшина топтался возле меня, не зная, как помочь, потом вдруг сказал, может быть, для того, чтобы как-то отвлечь от боли:

— Давай умоемся, Метальников. А то я тебя еле узнал.

Действительно, я был не только в крови, но и в грязи — сколько раз пришлось плюхаться носом в мокрую землю! Когда мыл лицо, то ощущал под пальцами засохшие корки грязи. Здоровую руку мне обмыл старшина, потом, оглядев меня с нарочитой веселостью, сказал:

— Ну вот, стал на гвардейца похож! Как, полегчало?

Алкоголь сделал свое дело, боль как будто немного отодвинулась от меня. Но, когда я попытался встать, меня повело. Старшине пришлось поддержать меня.

— О-о,— протянул старшина.— Да ты ни-

как окосел! Ай-ай-ай! Гвардеец со ста грамм косеть не имеет права!

Он все балагурил, а в глазах просвечивала жалость. Он усадил меня на повозку и велел ездовому отвезти в медсанбат.

Все дальнейшее происходило как в полусне. Повозку трясло, я рычал на пожилого ездового, просил ехать потише, а он спешил отвезти меня и вернуться побыстрее, как наказывал ему старшина.

Когда я выбрался из повозки возле палаток медсанбата, я тут же лег и заснул.

Через какое-то время меня разбудили и повели в палатку. На двух столах лежали раненые, они стонали и матерились. Животы у хирургов были в крови. Ласково журчали голоса сестер, они уговаривали раненых потерпеть.

Молоденькая сестричка (А почему я говорю молоденькая? Я ведь и сам был такой же, еще девятнадцати не исполнилось. Скорее всего я чувствовал себя старше, потому что побывал там.) стала разматывать мою заскорузлую повязку на руке. И тут произошло что-то жуткое, что я должен был бы предвидеть, а сестричка не могла — кроваво-фиолетовая рука моя, сильно опухшая, ставшая как будто второе толще, вдруг переломилась. Мне показалось, что я услышал, как скрипнули осколки костей. Я заорал полным голосом, вскочил с табурета и стал валиться лицом вперед. Сестричка, испугавшись, еле удержала меня. Подскочивший хирург ргнул ее, приказал подать шину. Дальше рука моя — сказать бы покоилась, но не могу, правильной сказать — жарилась на этой шине, пока ее обмывали желтой риванолью. Поразило, что риваноль проливалась сквозь руку, словно там была пустота.

И тут я впервые подумал, что, пожалуй, такую руку хирургам проще будет отрезать, чем лечить. Я спросил сестричку:

— Отрежут?

Она вздохнула и как-то неопределенно качнула головой. Это выглядело так, как будто она хотела сказать «нет», но получилось «да».

С этого момента я стал бояться, как бы мне не отрезали руку, когда я окажусь без сознания, тем более что я стал чаще проваливаться в беспамятство. С одной стороны, это было спасением — не представляю, как бы я выдержал дальнейшую дорогу на «студебеккере» в госпиталь. Машину невероятно трясло и качало, раненые стонали, кричали, матерились — это был фургон, заполненный сплошной болью и криком. Меня и в сознание приводило не что иное, как вспышка особо сильной боли на каком-нибудь очередном ухабе. И каждый раз, когда я приходил в себя, в голове начинало стучать: отрежут, отрежут, отрежут...

Мысль эта до того овладела мной, что едва я оказался в операционной госпиталя, как сразу начал орать, чтобы они не смели и думать об ампутации, что я категорически запрещаю, и если они надеются сделать это, когда я потеряю сознание, то у меня специально для этого припасена граната и им всем несдобровать. Я был возбужден и как бы пьян от укола морфия, который мне ввели перед этим. Врачи не спорили, только вопрос о гранате заинтересовал их.

— А где же у тебя граната? — услышал я почти ласковый голос.

— Там... есть... только попробуйте...

Это было правдой. Граната сохранилась у меня в левом кармане брюк, я обнаружил ее, когда попробовал лечь на заскорузлый от крови левый бок в землянке госпиталя, после того как нас разгрузили с машины. Чувствую, что-то уперлось в бедро, — оказалась лимонка. Сосед помог мне достать ее, я сунул гранату в изголовье под еловый лапник. Теперь вот вспомнил, как мне думалось, очень кстати.

... Когда меня привели снова в землянку, сосед сказал: «Ну и шороху ты навел тут с гранатой! Прибежали, искали, говорят, грозился взорвать — правда ли?» Но мне было уже стыдно за свой крик, а главное, рука была на месте, и я промолчал.

Любопытно, что если я кое-что запомнил про первую перевязку в медсанбате даже визуально, то все, что происходило в операционной госпиталя, помню только в звуках, будто все случилось в темноте. Помню голоса, позвякивание инструментов и даже хруст ткани под ножницами, когда врачи обрезали мертвецкие края вокруг раны.

— Режете?! — вскрикнул я.

— Да нет же, нет, это я только края, — голос хирурга.

— Больно!

— Не должно, солдат. Не должно быть больно. Ткань омертвела.

— Нет, больно!

— Да нет же, провалиться мне на этом месте!

— А вот сейчас провалитесь, доктор. И уже уходящим сознанием, откуда-то совсем издали уловил:

— Шутит еще, скандалист...

Дальше — провал, потом землянка и разговор с соседом о гранате.

Затем опять провал — и вот я уже в теплушке. Который уже день я живу в непроходящей боли. Кажется, что уже не только рука болит, а все тело, и боль стреляет в уши, колом стоит в гортани. Вот говорят: нестерпимая боль. А что значит нестерпимая? Все равно никуда от нее не денешься, все равно нет от нее избавления и поэтому приходится терпеть. Но от этого очень устаешь.

158

Мой замоскворецкий двор и детдом крепко вбили в мое сознание: кричать и плакать от боли — стыдно. И я старался терпеть, как мог, и позволял себе презирать тех, кто кричит. Покряхтеть, поматериться можно, а кричать или жаловаться — нельзя, таков был кодекс чести, которого я придерживался.

А теплушка раскачивалась все сильнее и сильнее. Вместе с ней раскачивалась и моя рука и разбитые кости в ней. Я привязывал ее бинтами на растяжки — ничего не помогало! (Забегая вперед, скажу: это тоже были только цветочки боли — настоящие ягодки оказались впереди!) И когда я вконец измучился и понял, что еще немного, и я начну безобразно орать, это показалось мне таким невыносимым, что, воспользовавшись остановкой, я с помощью солдат спустился на землю и сказал, что в этот вагон я больше не пойду, хоть стреляйте на месте.

И как ни странно, произошло чудо — меня, СОЛДАТА, перевели в ОФИЦЕРСКИЙ вагон! Это был обыкновенный жесткий вагон, где в двух или трех отделениях ехали так называемые челюстники — тяжелое зрелище! В остальных — легко раненные офицеры, балагурившие и заигрывавшие с санитарками и сестрами. Вот тогда-то все, что накапливалось во мне ранее по отношению к офицерам, и оформилось во вполне КЛАССОВОЕ чувство. Господи, думал я, разве это справедливо? Конечно, если бы этих веселых балагуров перевели в мою теплушку, им стало бы немного дискомфортней. Но разве можно сравнить эту дискомфортность с тем облегчением, которое испытали бы тяжело раненные солдаты, если бы их перевели в этот вагон.

Пусть у офицера лучше зарплата, еда, одежда, пусть у него больше прав — это понятно. Но среди раненых преимущество должно быть у того, чье ранение тяжелее, — это казалось мне бесспорным. Пожалуй, это было мое самое тягостное наблюдение тех лет.

## 6. Госпиталь

Ах, как давно мне хотелось написать о госпитале! Несколько раз вплотную подходил я к этой теме. Меня влекло какое-то почти ностальгическое чувство — что-то там осталось очень дорогое и невысказанное. Но каждый раз вмещивались какие-то обстоятельства и работу приходилось откладывать. Временами я испытывал чувство вины перед теми женщинами — врачами, сестричками и санитарками — за то, что сколько раз собирался написать о них, да так и не собрался.

Теперь уже и не получится, и я сожалею об этом. Многие детали, имена и лица забылись, а я стараюсь писать эти воспомина-

ния строго документально и не позволяю домысливания. А еще несколько померк тот пietet, который с тех далеких юношеских лет я испытывал к медикам. Знаю, понимаю — люди, которых я встречал в госпиталях, нисколько не повинны в том, что произошло с медициной в наши дни, но очень уж разителен контраст. Да и вымерло почти то поколение, которое я так любил когда-то, вымерло если не физически, то практически — сегодня таких людей уже не встретить в больницах. Они остались только в памяти фронтовиков.

Очень не люблю словечко «самоотверженный», до того истрепали его газетчики. «Самоотверженные труженики тыла», «самоотверженные врачи и сестры» — тьфу! Всем пришлось вкалывать, «отвергая себя». Потому что «все для фронта — все для победы!». Были сотни тысяч, которые заставляли себя трудиться сверх всякой меры, повинуюсь лишь чувству долга и совести, но были и миллионы, принуждаемые самым беспощадным образом... Гитлер объявил о тотальной войне где-то к сорок четвертому году, и наши газеты немало поиздевались над этим. Но у нас-то война, пожалуй, с самого начала была тотальной. Тотальная мобилизация, опустошившая деревни, тотальный труд и тотальное принуждение. И колхознику за невыполненный минимум трудодней, и рабочему за невыполнение норм грозили суд и лагерь. Было это, было! Попробуйте тут не быть «самоотверженным»!.. Это я вовсе не для того, чтобы хоть в какой-то мере подвергнуть сомнению патриотизм\*, а для того, чтобы напомнить: попробуйте-ка не быть патриотом под недреманным оком могущественной системы, которая только и жила тем, что искала врагов или непатриотов. А если не находила, то тут же превращали в таковых любого человека, лишь бы сохранить себя как систему, лишь бы доказать необходимость своего существования и право на свои привилегии.

И вот, произведя это, может быть, и грубое (ну конечно же, грубое, потому что оно без градаций и переходных граней!) разделение на патриотов по духу и по принуждению, я хочу вынести за скобки этого разделения целую армию наших медиков и в первую очередь женщин — сестер и санитарок. Это был корпус милосердия, корпус

\* Истинность его подтверждается не красивыми фразами, а поступками. Тысячи молодых добровольно пошли на фронт в первые же дни войны. И тысячи более пожилых пошли в народное ополчение. Тут даже у интеллигенции произошел перебор — вряд ли их вклад на фронте (а чаще гибель!) был полезнее той помощи, которую их интеллектуальный и духовный потенциал принесли бы в тылу. Ну, а уж потери в генофонде, и до того огромные в результате сталинского террора, просто не поддаются исчислению.

людей, одаренных особыми душевными качествами. Вот уж кто служил не за страх, а за совесть! Конечно, не все и тут были сплошными ангелами, кто-то подушевнее, кто-то почерствее, одни поусерднее, другие поленивее — всякие были. Но был и общий для всех уровень, ниже которого они не могли опуститься, и уровень этот был высокий. Без определенного запаса душевной доброты и милосердия они просто не смогли бы удержаться — среда вытолкнула бы их. Тут шел как бы конкурс, как бы естественный отбор лучших, добрейших, участливейших.

Но как же нелегко было нашим сестричкам с оравой издерганных, измученных, исходящих болью, а то и смертной тоской мужчин. Нервы, истерики, капризы да и просто распушенность безнаказанности. (А что вы сделаете раненому солдату? На губу посадите? Наряд дадите? Из госпиталя выкинете? Дудки!) Были и такие, которые это сразу почувствовали и качали права по любому поводу. Может быть, даже и не всегда по злему умыслу, может, в качестве реакции на прежнюю бесправность и несвободу. У солдата кое-какие права есть, да доказать их нет возможности. А вот в госпитале — другое дело. В этом смысле госпиталь — это как некий переход из царства необходимости в царство свободы. От абсолютной необходимости к относительной и, конечно, весьма ничтожной свободе. Но качественная грань этого перехода была очень ошутима.

Легко раненных далеко от фронта не отправляли. В тех двух госпиталях, где мне довелось быть, в основном лежали тяжело раненные, то есть люди с перебитыми костями.

Для того чтобы кости срастались правильно, их надо зафиксировать. Гипс накладывают прямо на рану, которая после этого обязательно загнивается. Во всех палатах стоял крепкий удушливо-кислый запах разлагающегося гноя. К духу, парящему в своей палате, как-то можно притерпеться, но стоит зайти в соседнюю — ух! А сестрам и санитаркам приходилось целыми днями дышать этим воздухом. По сравнению с этим главным все остальные запахи солдатской казармы могут показаться ароматом свежего сена!.. Некоторые не выдерживали и готовы были уйти даже на трудфронт, на лесоповал, лишь бы не дышать этим воздухом. Я слышал об этом.

Было и еще одно обстоятельство, осложнявшее жизнь нашим сестричкам, — это постоянный прессинг мужского внимания. Чаще всего легкий, игривый, что было естественно для мужчин, долгое время пробывших без женского общества. Иногда грубоватый, неуклюжий, а порой тяжелый и навязчивый,

я бы сказал — бараний. Так баран преследует овцу — тупо и неотвязно. Собака может огрызнуться, лошадь — ударить копытом и тем охладить пыл назойливого ухажера, лишь бедная овца, не умея защититься, все бегаёт и бегаёт целыми днями от своего преследователя, а тот гоняет ее по лугу, не давая ни поест, ни попить, пока не измучает ее вконец и не сделает свое баранье дело. Такие бараны изрядно отравляли жизнь сестрам.

Сначала я попал в госпиталь неподалеку от станции Коноша, что находится приблизительно на половине пути между Вологдой и Архангельском. В госпитале было три отделения: первое — в самой Коноше, второе, где оказался я, на небольшом полустанке километрах в двадцати, а третье — еще километрах в шестидцати, на следующей станции.

Наше отделение расположилось в здании, построенном перед самой войной и предназначенном для районной больницы. Палаты были небольшие, на шесть — восемь человек, светлые, чистые, пол покрыт линолеумом.

Больше года я не видел кроватей, одеял, простыней, и будь мое состояние полегче, я бы порадовался этому, как радовались другие. Но я был слаб, измучен высокой температурой и угнетен тем, что мне снова угрожала ампутация. Вопрос об этом возник при первой же перевязке.

Главный хирург госпиталя, которого позвали ко мне, строго сказал:

— Слушай, солдат, рука твоя ни к черту не годится. Лучше всего ее ампутировать.

— Нет! — сказал я.

— Ну да, вы все думаете, что нам не жалко ваших рук-ног. Это глупые разговоры. Твою руку нельзя залечить нормальным способом — у тебя большой дефект костей. Они никогда не срастутся, понимаешь?

— Нет!

— Горе ты мое! У тебя рана так воспалена, что вот-вот может начаться сепсис! И тогда может оказаться, что и резать будет поздно...

— Нет!

Про сепсис я знал и то и дело щупал у себя в подмышке, не набухают ли лимфатические узлы — первый признак сепсиса. Они припухли, побаливали, но мне казалось, что еще терпимо.

— Да пойми, тебе же гипс накладывать некуда. Закрывать наглухо такую гнойную рану — это стопроцентный сепсис!

— Вот когда начнется — тогда и отрезайте, — угрюмо стоял я на своем.

Хирург пожал плечами и глянул на худенькую невысокую женщину со светлыми волосами под аккуратной хирургической шапочкой.

— Валентина Васильевна, вы хотите что-то предложить?

Так я узнал имя этой женщины, которое запомнил на всю жизнь. Даже в первом своем опубликованном рассказе (про госпиталь, конечно) я назвал ее невымышленным именем.

— Я бы наложила гипс, а потом прорезала в нем окна сверху и снизу, чтобы наблюдать рану и перевязывать, — робко сказала Валентина Васильевна.

Хирург фыркнул.

— А вы представляете, какого размера должны быть эти окна? На чем гипс держаться будет?

— Можно поставить металлические шинки по бокам.

— Что ж, попробуйте. На вашу ответственность, согласны?

— Согласна, — еще тише ответила Валентина Васильевна и даже покраснела.

Милая Валентина Васильевна! Кроме того, что она сохранила мне руку, она была первой и достойнейшей представительницей медицины военного времени, которая на всю жизнь внушила мне уважение и любовь к своей профессии. Она была еще молодым врачом. До прибытия нашей партии раненых с большого наступления основной контингент в госпитале составляли обмороженные. Первый острый период у них уже прошел, и многие даже с еще не зажившими язвами на месте ампутированных пальцев запросто играли с мячом на волейбольной площадке.

Среди новых раненых я был одним из самых тяжелых, и Валентина Васильевна оказывала мне больше внимания. Поэтому у нас с ней установились особые отношения.

Я упоминал уже о цветочках, так вот, пора ягодок в смысле болей наступила где-то через неделю после того, как я оказался под крылом Валентины Васильевны. В медицине это описано как особый синдром, связанный, насколько я помню, с регенерацией нервов. И вот кисть моей левой руки, до сих пор холодная и бесчувственная, словно кусок чужого тела, вдруг начала гореть, как опущенная в кипяток. Валентина Васильевна уверяла меня, что это хорошо — нервы восстанавливаются. Но мне от этого не было легче. Кажущееся облегчение наступало, только когда я опускал пальцы в ведро с холодной водой — минуты на две. Потом я вынимал руку, опять наступало короткое облегчение, затем все повторялось. И я целыми днями и ночами только и занимался тем, что окунал руку в ведро, вертясь на кровати как проклятый.

От постоянных болей я не мог ни есть, ни спать — неслыханный случай в моей жизни до тех пор! Валентина Васильевна частенько приходила во время своего дежурства скоротать со мной первые часы ночи. Она велела поставить в палате столик у окна неподалеку от моей кровати и села за ним, заполняя истории болезней. А я смотрел на нее, и мне становилось как-то легче.

Как сейчас вижу ее склоненную над столом голову у окна, сквозь которое льется свет белой ночи, так что в лампе не было нужды. Время от времени она оборачивается ко мне, чувствуя мой взгляд, и ласково улыбается. Мне! Одному мне предназначалась эта улыбка!

Однажды, когда я особенно маялся, она подседа ко мне, пощупала мои увеличенные лимфатические железы и вздохнула:

— А может... хватит нам мучиться?

Нам! Нам! Значит, она тоже мучается со мной?

— Сразу станет легче... И через месяц — домой. А иначе тебе еще до-олго лежать. Боюсь, остеомиелита не избежать, а это — новые операции. Подумай, стоит ли?

Как-то поспешно она отошла к столу, и мне показалось — нет-нет, не показалось, я в этом был уверен! — смахнула что-то с глаз! Господи, как же я ей был признателен за эти слезы! (Теперь-то я в этом не так уверен, как тогда...)

А как она возликовала, как засияли радостью ее глаза, когда, низко склонившись к моей отвратительно пахнущей безобразной руке и промокнув тампоном обильный гной на ране, она что-то там увидела:

— Смотрите! Смотрите! Грануляции!

Она показывала на какие-то крохотные, не более просяных зернышек красные точки и призывала всех врачей в перевязочной порадоваться ее открытию.

— Ну и что? — снисходительно спросил один из хирургов-мужчин. — Пора. Какой уже день?

— Да не в этом дело! — ликовала Валентина Васильевна. — Они же со стороны кисти появились! А какое с той стороны питание? Молодец! — похвалила она меня, как будто в этом была моя заслуга, и так осияла, так очастливила меня взглядом, что сердчишко у меня так и замлело.

Да, конечно, я был влюблен в нее как мальчишка! А она? Теперь я понимаю, что она не только жалела меня, но и любила — как каждый творец любит свое создание, или, если хотите, по Л. Толстому, — мы любим людей за то добро, которое им сделали, и не любим за зло, которое им причинили. Хотя тогда-то мне казалось, что взгляд ее оставляет мне какую-то надежду. Пусть даже не на ответное чувство, а вообще, на возможность любви в будущем. Что ж, и за это спасибо, надежда — не последний медицинский фактор.

Дела мои пошли на поправку. Боль стала понемногу отпускать, грануляций по краям прибавлялось. (В истории болезни было записано: «Рваная осколочная рана в средней трети предплечья левой руки длиной в двадцать, шириной в шестнадцать сантиметров»). Господи, у меня сейчас и в здоровой руке шестнадцати сантиметров не наберется!

Теперь одно занимало Валентину Васильевну — будут ли шевелиться пальцы? И каждый раз после перевязки она уговаривала:

— Ну давай пошевелим пальчиками.

А я... я не знал, как это делается. Не шевелились пальцы, хоть тресни!

— Ну ты вспомни, ну напрягись!

Как-то я действительно напрягся и указательный палец чуть-чуть дрогнул. И опять обрадовалась Валентина Васильевна. Может быть, даже больше меня — она-то знала, что это означает. Пожалуй, это было в последний раз, когда я видел та кой взгляд. Она уже не заходила ко мне вечерами. Но я начал ходить и теперь заглядывал по вечерам к ней в ординаторскую. Она была так же добра и внимательна, угощала иногда чаем, но что-то неуловимо переменилось в ее отношении ко мне. Я терялся в догадках, пытался понять, но не мог и уходил в грусти...

Мне второй раз сделали переливание крови, снова меня поколотило как в лихорадке — реакция на переливание, — но уже дня через два я почувствовал себя настолько бодрее, что рискнул дойти до станции, куда должен был прийти эшелон с новыми ранеными.

Вот там-то и произошла та трогательная встреча с Ваней Хохловым, о которой я уже рассказывал. Он сообщил, что через несколько дней этот же эшелон пойдет обратно и заберет раненых, предназначенных для эвакуации в глубокий тыл. Я вспомнил, что и мне предстоит такая эвакуация. Валентина Васильевна сказала об этом, когда в минуту жалости предложила мне ампутацию и пыталась припугнуть долгим лечением в случае отказа. Но тогда, в тумане болей, я как-то не придал этому значения.

А теперь я был просто убит — значит, скоро придется расстаться с Валентиной Васильевной? И с Ваней, который обещал меня навещать? Как же я смогу уехать, когда у меня тут двое близких и дорогих мне людей?

Я пошел разыскивать Валентину Васильевну и сказал, что хотел бы остаться здесь и не эвакуироваться.

— Поздно, миленький, — мягко сказала Валентина Васильевна. — История болезни твоей уже отправлена вместе со списком.

На мгновение мне показалось, что она сама сожалеет о случившемся, и продолжал настаивать.

— Но какой смысл? Вы же меня так хорошо лечили, я стал поправляться, а так еще неизвестно что...

— Смысл в том, что мы — госпиталь ближнего тыла. А тех, у кого прогноз на долгое лечение, полагается отправлять в глубокий тыл. Ты же видел свою историю болезни.

Это правда, я видел запись: «Прогноз лечения — 6—7 месяцев».

— Извини, меня больной ждет.

Она ушла, а я остался, подавленный не-

избежностью разлуки. Потом мне пришел в голову неотразимый, как мне показалось, аргумент. Война-то с Финляндией закончилась! Подписано соглашение о перемирии, стало быть, Карельский фронт расформируют и этот госпиталь, приписанный к фронту, станет глубоким тылом.

Я снова пошел разыскивать Валентину Васильевну, чтобы привести ей новые доводы. Я нашел ее в одной из палат у постели раненого, и язык присох к моей гортани. Слишком знакома — до пронзительности! — была мне эта картина: молодой человек, моего возраста солдатик, такой же неказистый, зачуханный, недокормленный, недавно выскочивший из крошечности боя, маялся от боли и умолял сделать ему укол. А моя Валентина Васильевна уговаривала его потерпеть до ночи, поглаживала его по руке и смотрела на него так же, как недавно еще смотрела на меня!

Все мне стало ясно, и я ушел, подбитый ревностью, как птица на лету. И не смог удержаться от злорадной мысли — погоди, солдатик, вот оклемаешься от боли, влюбишься, разбежишься к ней, как к своей, и увидишь, как она ласково смотрит на другого!

Так закончился этот госпитальный роман. А я снова говорю спасибо милой Валентине Васильевне! К своему медицинскому долгу и умению она щедро добавляла и свое сердце, свою женскую суть, может быть, даже не очень отдавая себе отчет.

Несколько раз мне случилось влюбляться без взаимности. Я страдал, тосковал, маялся, но не жалею об этом. Всякая любовь — безответная ли, нелепая, необъяснимая, придуманная ли — все равно поднимает нас над уровнем повседневности. Она наполняет и обостряет чувства и мысли, дает жизни такие тона и краски, которые ничто больше дать не может. Любовь живет на верхних этажах здания жизни, ею обозначаются высшие точки человеческого бытия.

Простились мы с Валентиной Васильевой по-доброму. Она снова очень ласково, почти как раньше глянула на меня своими серыми глазами и сказала:

— Не горюй, все еще у тебя впереди, все будет хорошо... — и поцеловала меня в щеку! За что? В искупление ли своей «вины» или и вправду я ей был чем-то симпатичен? Бог знает...

Пытаясь утешить себя в этой разлуке, даже убедившись в «коварстве» моего врача, я все равно предпочел бы остаться с ней. Но потом придумал замечательный план. Глубокий тыл означал только области к востоку от Москвы, поскольку южнее и западнее все было разрушено. Миновать столицу невозможно, стало быть, у меня был шанс попасть в дорогой мне город значительно раньше. Надо просто «отстать» от эшелона где-нибудь поближе к Москве. И тогда меня поместят в какой-ни-

будь московский, в крайнем случае в подмосковный госпиталь.

И так я размечтался, так разволновался в предвкушении встречи с Москвой, что почти не смог заснуть всю ночь, а когда проснулся...

...Поезд уже миновал столицу и приближался к Ярославлю. Вот простофиля!

Остановился наш санитарный эшелон в очередной раз между Кировым и Глазовым на маленькой станции Чепца, в Удмуртской АССР. При станции был поселок в три десятка домов, в основном деревянных, а на окраине его расположилась контора и несколько барачков — общежития бывшего леспромхоза. Тут-то и разместился госпиталь, где мне предстояло долечиваться.

После чистенького, вполне современно оборудованного прежнего госпиталя оказаться в полутемных бараках, на деревянных топчанах, на набитых соломой матрасах и подушках было тоскливо. Палаты были большие, человек по двадцать, ночами в них стоял густой богатырский храп. Еда тоже показалась хуже. Вокруг барачков висели на веревках желто-бурые стиранные бинты, которых тут не хватало. Их, конечно, дезинфицировали в автоклавах после стирки, но все это, включая и застиранное белье и халаты, было здесь хуже, чем на прежнем месте. Это удручало первое время.

Я не сразу заметил, что на новом месте было лучше, но зато это и оказалось решающим — лучше было самочувствие. Что-то в руке еще постреливало, подергивало, но по сравнению с тем, что было, это уже казалось пустяками. То же самое испытывали и остальные, по крайней мере, первое время тяжелых случаев я что-то не припомню.

Общество в палате меня устраивало, да и привык я уже вписываться в разные компании — двор, детдом, взвод, палата — все это вырабатывало коммуникабельность. Но именно в это время — в новом госпитале, особенно после того, как новый врач сказал, что с такой рукой мне больше уже не служить, — стали посещать меня невеселые мысли о Москве и о доме. Но был ли у меня дом в том смысле, как его понимает большинство? Было здание, была комната, но семейный очаг был потушен и разорен.

Несколько раз мне снился один и тот же сон, будто я приезжаю в Москву, вхожу в свой двор, не такой, каким он стал перед войной, а в тот старый, детский, который был моей зеленой планетой. Вхожу в комнату, а там сидит мама, молодая, красивая (для детей все матери красивы), мы обнимаемся, и у меня захватывает дух от пронзительного ощущения счастья. Тут сон всегда обрывался, на пике чувства. И пробуждение, естественно, ввергало меня в ощущение несчастья.

Но молодость есть молодость, она не любит жить в несчастье, она выдирается из него всеми силами и жадно ищет надежду даже там, где иногда ее и вовсе нет.

В конце сентября мне исполнилось девятнадцать лет. Мой новый приятель Мишка-студент, порабатыв в команде выздоровливающих на копке картофеля, «закошил» полмешка картошки, кому-то отдал ее на самогонку и принес литровую бутылку «кумыжки» — так звали в здешних местах эту отраву. Так что день рождения был отмечен.

Мишка был года на три старше меня, кончил два курса какого-то института и во многих вопросах был самым авторитетным человеком в палате. Авторитет этот он отбил у меня после того, как прилюдно срезал вопросом:

— А как по-твоему: сознание определяет бытие или бытие — сознание?

Я ответил как всякий здравомыслящий, но не читавший Маркса человек:

— Конечно, сознание определяет бытие.

Был я заядлым спорщиком, и когда Мишка, посмеиваясь, пытался опровергнуть мое утверждение, я не сдавался до тех пор, пока он не объявил:

— Ну ладно, это же не я, это Маркс сказал: бытие определяет сознание.

Против Маркса не попрешь, я был посрамлен и обозлен на Мишку — какого черта, если он знал это заранее, сразу не сказал? Издевался, что ли?

— А мне было интересно, как ты будешь доказывать,— сказал дня через два Мишка, пытаюсь помириться. И добавил, изрядно польстив моему самолюбию:

— А вообще-то я тебя уважаю. Вот ты детдомовец (я не скрывал своего детдомовского прошлого), а неплохо начитан, интересуешься классической музыкой. Тебе бы учиться надо, голова у тебя есть.

После этого мы с ним подружились, а в день моего рождения, который он украсил бутылкой «кумыжки», мы пошли гулять, и он рассказал мне одну историю, которую я хорошо запомнил. История эта долго вертелась у меня в голове, и однажды я решил положить ее в основу сценария. Но, как это известно пишущим людям, первоначально задуманные герои, обретая собственную жизнь под пером, начинают сопротивляться и диктовать автору иное. Так и случилось. Я хотел сначала написать о мужчине, покорившем не только женщину, но и ее мужское окружение своим мужеством. А в результате получилась история про женщину, по чьей судьбе прокатилось колесо войны, и только в зрелые годы, пройдя через нелегкий компромисс — замужество по расчету,— она обрела спутника жизни. (Это стало фильмом «Расскажи мне о себе» режиссера С. Микаэляна, он неплохо был встречен критикой и зрителем.)

Итак, Мишку я зауважал, а после одного случая акции его поднялись еще выше. Был у нас в палате солдатик, которого современный литератор назвал бы сексуально озабоченным. Но могучий русский язык и солдатская наблюдательность приклеили ему хлесткое и точное слово, состоящее из двух — одно непечатное, а второе «страдатель». Страдатель был страшный сквернослов, любое слово передельвал на неприличное, всякий разговор переводил на похабень. Меня давно уже нельзя было смутить никакими словами, но Страдатель вызывал во мне тихое отвращение. Он был поразительно беззастенчив и каждое утро встречал нашу палатную сестру вопросом:

— Ну, Томка, когда же ты мне дашь?

Тамара заливалась краской негодования и не отвечала, чтобы не вступать с ним в разговор на подобную тему. Раненые иногда пытались урезонить Страдателя, но как-то неуверенно, сами были не без греха. Однажды, когда Тамара присела рядом с соседом Страдателя, чтобы помассировать ему руку, Страдатель стал хватать ее. Тамара терпеливо и молча отмахивалась от его рук — так отгоняют мух и комаров, потом возмутилась:

— Вы же мешаете мне работать!

Страдатель только блудливо хихикал. Мишка не выдержал:

— Кончай!

— Тебе-то что? — обозлился Страдатель.

— А то! Сказали же тебе русским языком — мешаешь!

— Да ладно, «мешаешь»,— скривился Страдатель. — Будто я не знаю, что сам только и мечтаешь, чтобы ее...

И он сказал слово, которому нет литературного эквивалента в нашем языке, а переводчики с иностранного прибегают к неуклюжему эвфемизму — «заниматься любовью». И тут Мишка, не долго думая, хватил Страдателя своей палкой по голове. Палка — пополам, Страдатель взвыл, схватился за голову, хотел броситься на Мишку, но их растащили. Тамара укорила Мишку:

— Разве можно так? Он ведь все-таки раненый.

— Он с детства раненый. В голову. А ты вместо того, чтобы терпеть, сама бы врезала ему!

Тамара, похоже, слегка обиделась на упрек и устало махнула рукой:

— Ай, все вы такие...

Это было и правдой, и неправдой. Конечно, как и все сестрички, Тамара находилась под прессом постоянного внимания. И мы ее любили. Каждое утро она появлялась в нашей палате как солнышко, сияя улыбкой:

— С добрым утром! Как спалось? Какие жалобы? Кому первому укольчик сделать?

Она была удмуртка с широким, почти круглым лицом (к ней очень подходило вы-



ражение из описаний восточных красавиц — «лунноликая») и небольшими, но всегда сияющими улыбкой и добротой узкорезанными глазками. Она отнюдь не была красивой, но нежная и чистая кожа ее лица, свежесть и обаяние молодости делали ее весьма привлекательной.

Эх! В ту пору нашей жизни все женщины были привлекательны. Мы были молоды, пошли на поправку, отъелись и отоспались в госпитале до бессонницы, и у многих заиграли гормоны. Игра эта проявлялась довольно дружно и однообразно — утром над спящими простыни приподымались домиком, подпертые изнутри неким предметом. Самый замечательный «предмет» был у моего соседа по койке, рослого парня из Донбасса по фамилии Доба. Частенько Доба с простодушной гордостью демонстрировал свои достоинства, вызывая всеобщее изумление и зависть. Но вот какой-то шутник решил, что такое выдающееся явление природы стоит продемонстрировать и другим. Пользуясь тем, что Доба умел спать крепко, как никто, ему прорезали в простыне дырку и выпустили часть Добиного организма на всеобщее обозрение. Получилось смешно. Грешным делом, я тоже принял участие в забаве и, соорудив небольшую шапочку из газеты, увенчал ею все это сооружение.

Начались экскурсии из соседних палат — все веселились от души, а Доба спал. Потом кому-то пришлось в голову не будить Добу до появления Тамары. Все прикинулись спящими и стали дожидаться ее прихода. Тамара была девушка вполне строгого поведения, но госпитальная атмосфера все же придала и ей некоторую раскованность. Поэтому, когда она, стяхивая на ходу градусник, подошла к нашему углу, с которого всегда начинала, и увидела Добу, — она остолбенела, потом фыркнула и, закрыв рот ладошкой, вылетела из палаты. Мы терпеливо ждали, что будет дальше. В двери время от времени заглядывали другие сестры, тут же скрывались и хихикали за дверью. После этого загрохотала и вся палата. Добу разбудили. Он сначала разозлился, считая, что потерпел некий афронт перед Тамарой, к которой был неравнодушен, но от природы незлобивый, вскоре и сам смеялся вместе со всеми.

Вообще разговоры о женщинах занимали в госпитале много времени. В свое время К. Симонова критика упрекала за смелость его известных стихов в сборнике «С тобой и без тебя». Но он был несомненно прав — эта тематика очень занимала и солдат, и офицеров. Когда мне уже в Москве попался этот сборник, помню, меня просто заворожили строчки:

Над черным носом нашей субмарины  
Взошла Венера — странная звезда!  
От женских ласк отвыкшие мужчины,  
Как женщину, мы ждем ее сюда...

Мне-то отвыкать было не от чего, женских ласк я еще не знал, но разговоры о них меня и притягивали, и отталкивали. Отношение к любви у меня скорее было все-таки возвышенное, литературное. Поэтому Миша меня однажды здорово обескуражил.

Это было, когда я уже настолько оклемался, что стал ежедневно вместе со всеми ходить на танцы в крохотный деревянный клуб. Танцевать я не умел, больше пялился на девчонок, мысленно выбирая, с какой из них я бы больше всего хотел потанцевать. И вдруг Миша, попросив меня поддержать его палку, пригласил танцевать... хромающую и некрасивую девушку. Потом пошел ее провожать. Я специально дожидался его, чтобы спросить, почему он сделал такой выбор. Неужели понравилась больше всех?

Мишка засмеялся в ответ:

— При чем тут понравилась — не понравилась? Я хромой — она тоже. Уж как-нибудь скорей договоримся.

«Эх, Мишка! Что же ты, Мишка? Ты же красивый парень, мог бы и получше выбрать и добиться успеха», — думал я, покоробленный такой упрощенностью. Но ничего не сказал. А через несколько дней я снова увидел их вместе. Мишка держался по отношению к девушке добродушно-снисходительно, она же так сияла, так льнула к нему, так смотрела на него, что я поколебался в своем суждении. Мы уже не раз обсуждали тему женщин, которых война оставила без женихов и вообще без мужчин. Особенно поддерживали с помощью этих доводов тех, кто был удручен своей безногостью или безрукостью, — не горюй, брат, нынче любой мужик в цене! Вот тогда мне и подумалось: а может, после Мишки у этой хромоножки и не будет никого? Так стоит ли тогда так строго судить его?

В сценарии, о котором я уже упоминал, я позволил себе что-то вроде лирического отступления, чего обычно в сценариях не делается. Хочется привести его.

«Госпитальные танцы! Кто их видел — никогда не забудет. Каких только кавалеров там не было — и «самолетчики», закованные в гипс по пояс, и безрукие, и с ногами в гипсе, отдавшие на время костыли товарищам. В норважских слететь тапочках со смятыми задниками, с развевающимися тесемочками кальсон... Но кого это смущает?! Позади — война, впереди — война, так будь же благословенна эта короткая передышка...»

И я ходил на эти танцы в старенький маленький клуб с зашарпанным полом, усыпанным семечной шелухой. И на мне был халат

до колен, а ниже виднелись кальсоны. В пиджамах ходили в основном офицеры (и тут преимущество!) да немногие счастливицы. Зато, чтобы получить на вечер пиджаму вместо халата, отдавали и сахарок и махорку!

Но танцевать я не умел, а как научиться танцевать с одной рукой? Топотуха какая-то — не танец, и я так и не осмелился пригласить кого-нибудь на эту топотуху. А так хотелось! Ведь как сказал один мой герой из того же сценария: «А что такое эти танцы? Обнимание на людях!» Но до чего же хотелось обнять какую-нибудь девушку, хотя бы в танце!

Вскоре пришла пора прощаться с Мишкой. Он был признан годным к нестроевой службе, чем был сильно удручен.

— Черт бы побрал эту ногу! Уж лучше бы снова на фронт или бы вообще оторвало ее!

Я понимал его. Надо сказать, в госпитале мы довольно легко относились к собственным и чужим увечьям. Все мы были такими и запросто называли друг друга калеками. Никто не обижался, все понимали, что увечье — это цена, которой каждый отдался от смерти. Помнится, что оторванная нога некоторыми ценилась «дешевле» оторванной руки.

В палате был сибиряк лет сорока с роскошными «гвардейскими» усами. Его, конечно, все звали не иначе как Батей. Он был сапер, подорвавшийся на mine. При этом считал, что ему невероятно повезло — он успел проползти грудью и животом над миной так, что она взорвалась у него между ног. Неизвестно еще было, сможет ли он ходить, но Батя радовался, что взрывом не повредило его мужское хозяйство. А что до ног, то это совершенные пустяки, считал он, все могло кончиться хуже. По профессии он был шорник и сапожник, а поэтому считал, что изувеченный он будет жить в колхозе даже лучше, чем до сих пор. Сиди да ковыряй шилом, говорил он, и никто уже не погонит на общие полевые работы.

С этим Батей случилась забавная история — вдруг у него на шее вздулось что-то вроде фурункула. Разрезали — оказалась автоматная пуля. Видимо, пулей ранило в тот же момент, когда взорвалась мина, и за большим ранением он не заметил такого пустяка.

Еще смешнее стало, когда подобное же повторилось с другим раненым. Он был ранен в правую руку выше локтя. В таких случаях человека гипсуют до пояса, а рука, согнутая в плече и локте, торчит перед грудью под прямым углом — это называлось «самолетом». И вот он стал жаловаться на сильные боли под лопаткой. Разрезали — и снова оказалась автоматная пуля. Тогда стали шутить, что по ночам в палате кто-то постреливает. Тема для солдатских острот.

Рана моя понемногу очищалась, затягивалась, и, обгоняя прогноз, приближался срок

выписки. Надо было подумать о будущем, о новой профессии. Но ничего путного в голову не приходило. Только все сильнее и сильнее хотелось в Москву. Она опять снилась мне в разных вариантах. Почему-то я видел свой переулочек заасфальтированным, и меня это новшество необычайно радовало. (Когда же его действительно заасфальтировали в пятидесятых годах, это оставило меня совершенно равнодушным.)

Время от времени, по классическому провинциальному обычаю, мы ходили на станцию встречать поезда. Скорый «Владивосток — Москва» проносился без остановки, пассажирский стоял две минуты. Я смотрел на вагоны и думал: эти счастливицы едут в Москву, а я все еще тут...

На станции ничем не торговали, кроме пакетиков с черникой или брусникой. Там я видел детей и старух в лаптях. И тут бедность! (Впрочем, я встречал людей в лаптях еще и в пятидесятом году на базаре в Кирове.) Я понимал, что бедность ждет меня и в Москве — все то немногое, что у меня было, я продал, когда доходил с голодухи. Меня ждали голые стены.

Почему-то тревожное и все же обнадеживающее чувство скорой встречи с Москвой и какой-то новой жизни накрепко связано у меня с такой картиной: сумерки, уже неразличимы деревья в близком лесу, а над зубцами елей горит нестерпимо алым цветом холодная осенняя заря. Отблески зари отражаются на низких, почти черных тучах, уже грозящих снегом (конец сентября — начало октября). В сумерках смутно белеют лица девчонок, приходящих по вечерам к госпиталю на «аллею» — дорогу меж оградой госпиталя и лесом. Нежные голоса поют что-нибудь вроде: «Ты стояла молча, молча на вокзале. На глазах повисла крупная слеза — видно, в путь далекий друга провожали черные ресницы, черные глаза!»

И все меня будоражило — и песня про черные глаза, которых еще не было в моей жизни (неужели не будет?), и близкий путь, в который никто не провожал да и встречать было некому (неужели так и не будет?). Но больше всего этот горящий, зовущий, что-то обещающий и в чем-то обманывающий красный холодный закат над темным сумеречным лесом. Что он обещал, в чем обманывал? Скорее всего в том, что обещает и в чем обманывает нас музыка, рассказывающая о чем-то таком невыразимо прекрасном, чего никогда не случается в обыденной жизни. Но чувства эти необходимы человеку, и это делает необходимой и музыку. Впрочем, я уже упоминал, что вечернее небо почти всегда вызывает во мне чисто музыкальные ощущения. А может быть, это просто томление мо-

лодости? Ожидание и трепет перед неизвестным будущим? Наверное, так оно и было.

## 7. Возвращение

Дату эту я запомнил навсегда — 14 октября 1944 года. Был Покров, шел мокрый снег пополам с дождем. Ну какая же ты, моя Москва, которую я не видел почти два года?

Москва была серая, уставшая. Серое небо, серые облупившиеся здания, серая занюшенная одежда на людях (чаще других — серые шинели) и серые утомленные лица — таким увидел я свой город в день возвращения. Печать трудностей и скудости военного быта лежала на всем, только яркие фейерверки салютов слегка расцветивали эту жизнь по вечерам.

Тогда еще через центр ходили трамваи — с кондукторами и веревками, за которые дергал кондуктор, подавая сигнал отправления. На десятом номере проехал я через Орликов переулок, Мясницкую, Охотный ряд, Большой Каменный мост и приехал на Большую Полянку. Переулками, с детства искоженными, мимо знакомых домов прошел я к Якиманке (приятно мне, москвичу, называть улицы по старым именам). А вот и мой 1-й Бабье-городский переулок, вот планета моего детства, мой двор и мой дом...

Но, боже мой, как же ты сократилась, скукожилась и облезла, моя зеленая планета! Неужели эта обветшавшая хибара с подслеповатыми окошками и есть мой отчий дом? Но это был он.

По знакомому шаткому мостику вступил я в коридор с запахами, о которых давно забыл, но тотчас же вспомнил. Толкнулся в дверь своей комнаты, а она была заперта.

В коридоре появилась худенькая девочка с седыми волосами и сморщенным личиком — я с трудом узнал «правительницу» нашего дома Нину Алексеевну. Ту самую Нину Алексеевну, которая до войны ходила уточкой, переваливаясь с боку на бок, на чей толстый задок никак не натягивалась майка. Она встретила меня довольно равнодушно, не выразив ни удивления, ни радости по поводу моего счастливого возвращения оттуда, откуда не многим дано было вернуться. Она сказала, что в моей комнате живет Мотя, которая поселилась вскоре после моего ухода в армию. А я-то напрочь забыл о своей тетке, что прописалась тут еще до войны и до моего возвращения из детдома! А как же я? Нина Алексеевна сказала, что я имею право на прописку, но ломать замок в отсутствие хозяйки она не станет. Она сказала: «хозяйки!» А я кто?

Так начиналась, может быть, самая черная полоса моей жизни. Нина Алексеевна ушла, вызвав во мне все те недобрые чувства, что я и раньше испытывал к соседям. Я был неправ!

Позже, войдя в зрелый возраст и перебирая жильцов этого дома, я с горестным удивлением обнаружил, что в этом доме не было счастливых семей. У всех жизнь была как-то перекручена, изломана и войной, и всеми невзгодами нашей истории. Большинство моих сверстников погибли раньше естественного срока — кто во время войны, кто в тюрьме, кто-то спился напрочь, а кто и просто умер в молодом возрасте. Это теперь я больше склонен жалеть людей и не судить их. Но тогда со всем пылом молодого максимализма я судил их весьма сурово. И не мог я понять, что бедная Нина Алексеевна смотрела тогда на меня сквозь пелену своих собственных невзгод — сквозь полуголодную служебную карточку, которую получала она, служа в домоуправлении, сквозь потерянные килограммов пятьдесят веса от своего некогда пышного тела. Беда может и объединять, и разъединять людей.

Итак, что же делать? Куда приткнуться? Я пошел к сестре. Ее не было, соседи сказали, что она живет и работает где-то за городом. Я направился к старому другу Толе, Шумилину — они переехали на новую квартиру, адреса никто не знал. Я к Левке — Левка был на фронте, может быть, уже и убит, а мать его в тюрьме. Куда дальше?

И я двинулся по последнему адресу — к первому другу моего детства Игорю. Тут меня встретили со всей сердечностью. Елена Николаевна даже всплакнула, вспомнила и мать, и отца, утверждая, что я стал очень похож на него (в чем я сомневаюсь — у меня и мамин нос, и мамини глаза), а Борис Константинович даже разделил со мной свою ежедневную четвертинку.

Все, все в этой знакомой квартире оставалось прежним, довоенным, уютным, даже зажиточным (ежедневная четвертинка — по тем временам это неслыханная роскошь!). Это согрело и оттаивало мою душу, это было как бы частью той жизни, той Москвы, по которой я так тосковал. И спасибо этим добрым людям за то, что они привели меня.

Однако довольно скоро я почувствовал, как между нами вырастает непонимание. Я уже говорил, как обрыдли мне солдатские обмотки, и стал умолять Бориса Константиновича раздобыть хоть какие-нибудь штаны. Что мне герои, Шекспира, восклицающие: «Коня! Коня! Полцарства за коня!» Я бы отдал полцарства за самые обыкновенные штаны! Но не было денег, чтобы купить их. Когда я оформил свою инвалидную пенсию — мне пожаловали аж сто тридцать шесть рублей, — на буханку хлеба ее не хватило бы! Но зато на нее можно было купить пять с половиной порций мороженого «на чистом сахаре», как кричали продавцы. Я был обескуражен

мизерностью этой суммы, но доказать ничего не смог. В шоколадном цеху я зарабатывал до шестисот рублей, мне должны были назначить пенсию не менее 50 процентов от этой суммы, но мне сунули под нос ведомость последних месяцев, когда я работал на шахте, — там средний заработок получился в 272 рубля. И лишь через несколько лет я сообразил, что такая жалкая сумма получилась оттого, что из зарплаты вычитали стоимость той одежды и продуктов, что нам выписывали с фабрики. Но к этому времени меня уже лишили не только второй группы инвалидности, но даже и третьей — такова была тогда политика в отношении инвалидов.

Итак, поддарства за штаны! Миленький Борис Константинович, ну придумайте что-нибудь! Борис Константинович хмыкнул: — Что ж, и штаны надо заработать.

— Господи, да я готов! Как?

Целую неделю Борис Константинович гонял меня по Москве сначала с какими-то записочками, потом кулечками, свертками, со строгим наказом отдавать только в определенные руки. Эту часть работы я проделывал с удовольствием. Походить и поездить по Москве в первые дни после возвращения было для меня истинным наслаждением. Закончилась эта эпопея так, что мы поехали куда-то за город на дровяной склад и нагрузили полмашины сырых двухметровых дров. Потом мы вздымали эти бревна на третий этаж, прямо в квартиру с красной мебелью (правда, складывали в коридоре). Это была работенка совсем не для однорукого! Рука моя годилась только на то, чтобы подержать иголку при вдевании нитки или для коробка спичек — не более!

После этого Борис Константинович вручил мне поношенные бумазейные штаны от формы ремесленника, которые были припрятаны у него в закутке.

Меня покорило: что же он раньше не мог дать мне эти штаны? Я бы все равно их отработал. Не раз уже я пялил глаза на девчонок и видел, как они, стрельнув взглядом по моему лицу, неизменно оглядывали и мои проклятые обмотки. Может быть, и не каждую из них они бы отпугнули, но я-то после этого не смел даже подойти. (По правде говоря, и я был не слишком смел, можно даже сказать, вполне застенчив в этих делах, как тот знаменитый генерал, что был застенчив в бою. Может быть, я этими обмотками просто оправдывал свою нерешительность? Не так-то уж я осмелел, надев штатские штаны, — факт, который ныне мне ничего не стоит признать. А в свое время умер бы, но не признался!)

Еще больше покорило меня то, что увидел я неприкрытый тыловой мухлеж и благеистерство — дрова-то эти Борису Константиновичу понадобились не для отопле-

ния. Он их загонял на рынке по два-три бревнышка и покупал столь необходимую ему четвертинку. И вообще, за что ему дали брешь? Служил он в каком-то Главурсе, возраст его — сорок пять или сорок шесть лет — не освобождал от службы в армии, так за что? Это был вопрос фронтовика, разделяющего людей на две категории — на тех, кто был там, и на тех, кто кантовался (словечко, рожденное тем временем) в тылу.

А столь добрейшая ко мне Елена Николаевна, пролившая слезу при встрече и тут же вспомнившая моих родителей, — а кто еще их помнил, кроме меня? — тоже стала понемногу раздражать меня.

Нервическая и взбалмошная (дочка академика! — тут же вспомнил я), она выходила из себя от намерения Игоря жениться на какой-то Ирке: «лягуше, живущей в какой-то закутке» — так она неизменно выражалась. А Елена Николаевна присмотрела для него красавицу Дагмару. Вскоре я увидел обеих: Дагмара — манерная дура и кукла с приклеенными ресницами, Ира — не красotka, но живая и человечная — понравилась мне гораздо больше. Я сказал Игорю об этом, и мне трудно было сочувствовать стенаниям Елены Николаевны. А стенания эти переходили иногда в настоящую визг и истерику, невольным и тягостным свидетелем которых случалось мне бывать, когда Игорь посещал родительский дом.

Это было бы просто смешно, если бы Елена Николаевна, желая вызвать мое сочувствие, не рассказала, что она сделала для своего сына. А сделала она немало — она избавила его от фронта. Вот так — не больше и не меньше! Оказалось, что призванный еще осенью сорок второго года Игорь попал в то же самое училище, что и я. И вот незадолго до выпуска Елена Николаевна стала ходить по знакомым и незнакомым академикам и собирать их подписи под ходатайством о переводе Игоря в какое-то химическое училище, якобы из-за его редких способностей к химии. Позже, когда опять до выпуска осталось немного, она перекантовала его в институт военных переводчиков, где он и пребывал в настоящее время. Учиться ему предстояло еще год, а война шла к концу.

— Если бы ты знал, сколько мне пришлось унижаться перед этими академиками, — со слезами говорила она мне. — К некоторым мне пришлось ходить дважды! А он, неблагоприятный...

Бедная женщина, ослепленная материнским эгоизмом, не могла понять, что не следовало ей так компрометировать Игоря в моих глазах. Уже после первой радостной встречи с Игорем я стал ощущать какую-то неопределенность, какое-то разномыслие. Бывают такие друзья детства, которые живут только воспоминаниями: «А помнишь?»

А помнишь?» — в настоящем же их мало что связывает. Теперь между нами пролегал фронт. Ах, Игорек, Игорек, женитьба — пустяки, но зачем же ты раньше так слушал мамочку?

Чувствую, что тут кто-то может обвинить меня в черной неблагодарности. Эти люди приютили меня, а я... Нет, благодарность была, это уже потом выросло чувство протеста. Что делать, я с детства был очень социально ангажирован. А если кто не поймет чувства фронтовика, пусть осудит!

Так эти доселе милые и добрые ко мне люди становились все больше и больше чужими. Хотелось найти своих, но своих вокруг не было. Они остались в госпитале, в карельских лесах и болотах. А те, кто уцелел в Карелии, вели тяжелые бои в Венгрии на озере Балатон.

Однажды в булочной я встретил старую знакомую нашей семьи. Кажется, они были в родстве с первой женой дяди Володи — старшего маминоного брата. До ареста дяди Володи мы довольно часто встречались, и мне очень нравилась ее дочь Верочка. Помню даже, что после знакомства с ней я с таким увлечением рассказывал о ней отцу и матери, что отец вдруг рассмеялся:

— Да ты, брат, влюбился, а?!

И прекрасно помню, как я мучительно покраснел (если так можно выразиться, то я впервые покраснел на эту тему, а было мне тогда четыре или пять).

Знакомая (забыл ее имя, как и многие другие, я вообще лучше помню лица, чем имена и фамилии) стала расспрашивать о моем житье-бытье и приглашала в гости к Верочке, которая стала студенткой. Словом, предложила мне восстановить старое знакомство.

Мне совершенно необходимо было общение со сверстниками, и я пошел к ним. Там оказалась типичная студенческая компания. Все давно друг друга знали, и, как это часто бывает в устоявшихся компаниях, им достаточно было одного, мало что значащего для постороннего слова или намека, как раздавался дружный смех. А я сидел дурак дураком и ничего не понимал. Они разговаривали о только что вышедшем сборнике К. Симонова «С тобой и без тебя», о Марецкой и Пляте в спектакле «Госпожа министерша», а я опять ничего не понимал, потому что ничего мне эти имена ни говорили, кроме Симонова, которого из-за стихов «Жди меня» знали все.

Я вообще не понимал, отчего им так весело. Отчего они все время хохочут? Еще идет война, каждый день гибнут люди, а они ни разу даже об этом не вспомнили. Я ушел из этой компании и никогда больше в этот дом не ходил. Но у меня остался на память

тот маленький синенький томик стихов Симонова, который Верочка дала мне почитать, а я бесстыдно зажил. В принципе, я это очень не люблю, так же как и то, когда у меня зажимают книги. Но все же несколько таких книг у меня в библиотеке есть, и та была первой.

Не по зубам оказалось мне та студенческая компания. Не было у меня с ней никаких точек соприкосновения. Вот если бы там оказался хоть один фронтовик, может быть, я как-то и зацепился за него.

А товарищ-фронтовик вскоре нашлся. Как-то я ехал в переполненном вечернем трамвае. Вдруг кто-то довольно резко двинул меня по больной, все еще подвязанной руке.

— Полегче! — огрызнулся я на инвалида, пробирающегося на костылях к выходу.

— Из-вините! — с пьяной вежливостью проговорил инвалид, обдав меня водочным духом и снова толкнув в бок.

Тут я узнал его:

— Костя?! Ты, что ли?

Я был уверен, что узнал его — Костю Аношина, приятеля Толи Шумилина, которым когда-то меня пугали родители и с которым мы позже подружились. Но Костя, бросив на меня какой-то подчеркнуто равнодушный взгляд, пробивался уже к выходу из вагона, который в те времена не закрывался. Дальше я увидел почти цирковой номер: на полном ходу Костя выпрыгнул из трамвая. С одной ногой! По всем законам физики он должен был упасть и разбиться. Он и стал падать, но вдруг выкинул далеко вперед оба костыля и упал как бы на них. Затем последовал гигантский прыжок — метра в три, и дальше уже Костя попрыгал на своих костылях как ни в чем не бывало.

Мне надо было сходить как раз на следующую остановку. Я сошел и вдруг услышал, что меня окликнули сзади. Это был Костя. Снова огромными прыжками скакал он, догоняя меня.

— Ну здорово! — сказал он.

— Здорово. Что же ты не признал сразу?

Костя хмыкнул и протянул ладонь:

— Гони пропуть!

— Какой пропуть? — недоумевал я.

Костя снова хмыкнул, сунул руку в карман моего бушлата — почти такой же был и на нем — и вытащил часы. Покинул их на ладони и пренебрежительно сказал:

— А, дерьмо, немецкая штамповка! Ладно, Филин сотни полторы даст. Пошли!

— Куда?

— Надо же встречу отметить!

И мы пошли с ним в «шалман», «кандейку», «Голубой Дунай» или «гадючник» — как только тогда не называли павильончики

с официальным названием «Пиво-Воды». Отродясь там никакой воды не было, но пива и водки сколько угодно. Так же впрочем, как икры черной и красной, и все это уже продавалось без карточек, по коммерческим ценам.

Костя живо «толкнул» часы Филину — одноглазому бумажнику, взял по полтора грамма водки с прицепом, то есть с кружкой пива, пару бутербродов, и мы славно посидели с ним в тот вечер. Мы перебрали всех ребят со двора, рассказали друг другу, кто и как попал на фронт, да как ранили, да как лежали в госпитале. И так необходим был мне этот разговор!

Когда пивная закрылась и пора было расходиться по домам, оказалось, что теперь мы и живем в одном доме. Косте как фронтовику и инвалиду дали крохотную комнатушку на втором этаже. Он уже был женат и имел годовалую дочку. Вот так, за неимением других друзей, подружился я со своим соседом и вором в законе — Костей.

Меня эта среда нисколько не привлекала и даже отталкивала. Но никогда еще в жизни я так остро не страдал от своего одиночества и неприкаянности. Я так мечтал в госпитале о встрече с Москвой! Вот встретился, и оказалось — никому я тут не нужен. Я назвал первую главу этих воспоминаний «Выжить». Вот я выжил — а зачем? Я не знал, что мне делать со своей жизнью.

И вот сижу я, бывало в своей комнатке. Входит Костя.

— Ну что, все читаешь?

— Как видишь...

— Жрал чего-нибудь сегодня?

Я или совру, или смолчу, потому что я как бы вернулся к своему предармейскому существованию и ел далеко не каждый день.

— Ну так пойдем на проезд.

Как и многие «щипачи», Костя побаивался начинать свою работу трезвым. Жена же никогда не оставляла ему денег на эти цели, так что для начала мы заходили в какую-нибудь кандейку, чтобы выпить для куража, или «погорчить», как говорил Костя.

— Здорово, воры! — приветствовал Костя знакомую компанию жуликов. — Кто даст погорчить?

Как правило, кто-то был уже «в вантажах», то есть с добычей, и водка появлялась перед Костей (не передо мной). Иногда кто-то, особенно первое время, спрашивал про меня:

— А это кто?

— Со мной, — небрежно говорил Костя и иногда добавлял: — Любит блатную жизнь, но воровать боится...

Немудреная эта штука была весьма популярна среди жуликов и всегда вызывала смех. Погорчив, мы шли на проезд, а через час-полтора, уже с добычей, снова заходили в

пивную. Теперь уже водка с пивом появлялись и передо мной. Забавно, что Костя, будучи щедрым на выпивку, часто скупился на закуску. Сам он ел мало и часто попрекал меня:

— Ну что ты, как чайка соловецкая, все бы тебе жрать да жрать. Давай лучше еще по сто грамм возьми.

Бывало, я шел, брал ему сто граммов, а себе пару бутербродов.

Костя всегда воспринимал это неодобрительно, он как будто забывал, что, собственно, он и приглашал-то меня с собой, не потому что я ему был нужен, а чтобы накормить меня. Хмелел он довольно быстро, и тут наступало самое неприятное — он порывался снова идти воровать, а я уже боялся за него (да и за себя!). Я пытался отговорить его, мол, поздно уже. Он чаще всего отвечал:

— Трамвай еще ходят!

Ответ был рожден популярной воровской поговоркой: «Беги воруй, пока трамвай ходят!»

Со страхом наблюдал я, как Костя, потеряв координацию движений, плохо представляя окружающую обстановку, пытался пристроиться к чьему-нибудь карману в полудупном трамвае. В трезвом виде он никогда бы себе этого не позволил. Но обычно ничего не происходило, люди испуганно отходили от него, как правило, не поднимая шума и не пытаясь задержать его. Жуликов боялись, а жулика да еще инвалида — вдвойне. Не будет преувеличением сказать, что московские жители были изрядно запуганы и терроризированы ими...

Приведу один случай для иллюстрации, а вовсе не для того, чтобы похвастать удалством.

Однажды мы влезли в трамвай, шедший по Большой Полянке. И при первой же попытке Костя «сгорел», то есть был пойман за руку.

— Ты что делаешь? — услышал я изумленный голос. — Граждане, жулик! Он в карман лез!

— В милицию его! В милицию!

— Развелось жулья — терпенья нет! — возмущались вокруг.

Но надо было знать Костю. Впрочем, тут он был не оригинален: психованными прикидывались в таких ситуациях многие жулики. Но у Кости это получалось особенно эффектно.

— Кто жулик, я?! — зловеще прищурился он. — Ах ты, гад! Да ты сам спекулянт! Думаешь, не слыхал я, как вы тут про мануфактуру талдычили? Развелись тут в тылу, как вши! Спекулянты, паразиты, сволочи! Ишь, ряшку нажрал! — голос Кости зазвонел надрывно-истерически.

Мужчина, похоже, уже и не рад был, что связался с ним, а Костя влепил ему в лицо

довольно крупную разработанную костылями пятерню, сжал ее и тряс физиономию из стороны в сторону. Ни один мало-мальски интеллигентный человек не выдерживает такого испытания и сразу же чувствует себя полным ничтожеством. Но тут спутник мужчины, довольно рослый, в дорогом кожаном пальто, опомнился от изумления и воскликнул:

— Ну и гусь! Сам же в карман лез, а теперь еще хулиганит!

Он схватил Костю за плечо и попытался оттащить его от товарища.

— А-а, гады! Спекулянты! — еще пронзительней завопил Костя. — Вдвоем на инвалида? Удавлю! Загрызу!

Он отбросил костыли и выставил перед лицом второго мужчины обе свои растопыренные ладони со скрюченными пальцами. Лицо его было страшным — на губах появилась пена (искусственная), зубы скрипели. Потом он почему-то присел и звонко вклепил одну ладонь в кожаное пальто где-то на уровне живота, потом вторую, повыше, и так снизу стал как бы подтягиваться по пальто вверх. Он уже не говорил, а урчал, как зверь. Он схватил оторопевшего мужчину за голову и стал грызть ее все с тем же урчанием. Картинка не для слабонервных!

Закричали женщины. Первый мужчина, опомнившись, хотел помочь товарищу, я, прикрывая Костю со спины, ударил его в живот. Живот был довольно полный, рыхлый, мне показалось, что рука ушла в него чуть не по локоть. Мужчина застыл с открытым ртом, пытаясь вдохнуть. Потом я ударил еще кого-то, кто пытался прорваться к Косте.

— Да их целая шайка! — крикнул кто-то.

Трамвай остановился, люди стали выскакивать на улицу. Я оглянулся — сзади вагон был уже почти пуст, только Костя тряс свою жертву за отвороты пальто и спрашивал:

— Ну что, гад, нос тебе отгрызть или уши отъесть?

Вожатый пронзительно свистел в свисток. Я схватил Костю за плечо:

— Обрываемся!

Через несколько минут в пустынном и темном переулке мы остановились, чтобы перевести дух, и вдруг начали хохотать как сумасшедшие.

Утром мне стало не до смеха. Как же могло случиться, что полный вагон здоровых людей, где было не менее десятка мужчин, не смогли справиться с двумя калеками? Неужели такими страшными мы им показались?

Я как бы увидел себя со стороны, чужими глазами, и мне стало не по себе — об этом ли мечтал я в госпитале, считая дни до отъезда в Москву? Кем же я становлюсь?

Это случилось после Дня Победы, когда заболела Лида. По молодому легкомыслию никто из нашей компании не придал этому большого значения. Поправится! Однако Лиде становилось все хуже и хуже, и ее отравили в больницу.

Я не сразу узнал об этом. Следовало ее навестить, но я стыдился идти в больницу с пустыми руками, карточку же свою я, как обычно, проел досрочно. Денег не было\*. У Валентины Селиверстовны тоже с деньгами было туго. Пришлось ждать ее получки. На это ушло что-то около недели. А когда мы пришли в больницу, врач долго допытывался, кем мы ей приходимся, и потом, явно презирая нас за то, что мы явились так поздно, сухо сказал, что Лида умерла.

Это было как удар оухом! У Валентины Селиверстовны закружилась голова, и она упала бы, если бы я ее не поддержал. Оказалось — миллиарный туберкулез, попросту говоря, скоротечная чахотка. Сгорела девочка за две недели!

Это показалось чудовищной несправедливостью судьбы. Всю войну Лида ждала вестей о родителях, оставшихся в Белоруссии. И вот сначала дала о себе знать мать. Потом пришло письмо из проверочного лагеря для наших военнопленных от отца, потом где-то в начале сорок пятого состоялось свидание с матерью (тетей Ниной). И вдруг эта смерть! После окончания войны...

Остаток того памятного печального дня и всю ночь мы провели вместе с Валентиной Селиверстовной. Всю ночь мы пили чай, доедали какие-то сладости, предназначенные ранее для моей бедной сестры, и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Мы были потрясены, возбуждены и — не могу найти другого слова — возвышены этим горем над повседневностью. Во всяком случае я хорошо это почувствовал и запомнил: в эту ночь передо мной открылись какие-то новые, неведанные доселе горизонты мыслей и чувств. Мы говорили о любви — братской, материнской, о любви между мужчиной и женщиной, о литературе и искусстве — подробности этих разговоров я не запомнил, помню только их смысл. За эту ночь я стал значительно старше.

Уже под утро мы заговорили о политике. Началось с судьбы моих родителей, а также двух братьев и старшей сестры моей матери — Валентина Селиверстовна всех их знала. И вот впервые я услышал, что все эти аресты, все громкие политические процессы — это дьявольское наваждение, позор и проклятие нашей истории. Моему интуитив-

\* Кстати говоря, в то время не было необходимости носить в больницу продукты. Часто там питание было лучше и регулярнее, чем дома.

ному чувству это уже отвечало, но приходило в противоречение со всем, что я знал и думал о своей стране. А Сталин? Как же Сталин, допытывался я, неужели — страшно подумать! — это его ошибка? Как же он, мудрый, непогрешимый, ведущий нас от победы к победе, что подтверждается и всеми славными пятилетками, и ходом войны, что запечатлено в государственном гимне, — как мог он допустить такое?

Теперь я уже не смогу сказать, действительно ли Валентина Селиверстова так думала или решила побережь меня, дабы не подрывать окончательно мои устои и мировоззрение. На этот сакраментальный и наивный вопрос — впрочем, такими же наивными были миллионы и миллионы людей в стране — она ответила приблизительно так:

— Я уверена, что он поймет. Обязательно поймет! И вообще, после войны должна начаться совсем другая жизнь. Будут большие перемены, вот увидишь... Ну а если и не поймет, что ж... Поймут другие. И он не вечен...

Потом спохватилась:

— Только боже тебя избави высказаться так при ком-нибудь! Сам знаешь, как опасно то, о чем мы с тобой сегодня говорили.

О, да! Это я знал, как знали и все! Таким образом, когда начались перемены после смерти тирана, я был готов к ним. Впрочем, своим отношениям со Сталиным я посвящу отдельную главу.

А Валентина Селиверстова не дождалась перемен. В начале сорок седьмого года она была арестована вместе со своим возвратившимся мужем, кавалером какого-то французского ордена за боевые заслуги в партизанском движении во Франции. Но я несколько забежал вперед.

Сестра умерла, в ее комнате поселились чужие люди. Катю мобилизовали на трудфронт (война кончилась, трудфронт остался!), и компания наша распалась. Я голодал, опять начались такие знакомые мне еще по сорок второму году обмороки. Поэтому, когда на очередном ВТЭКе хирург, повертев мою руку, посоветовал мне оперироваться, я согласился. Хоть отъемя, черт меня побери, на госпитальных харчах! Это было главное, чем то, что рука требовала основательной починки. В свое время в госпитале только залечили рану, но остался дефект в шесть сантиметров локтевой кости и ложный сустав в лучевой. От этого рука гнулась и вращалась в месте ранения.

На сей раз это был уже не госпиталь, а отделение ортопедической хирургии для инвалидов войны во 2-й градской больнице. Здесь долечивали тех, кого не смогли в свое

время полностью излечить в госпиталях. Не без разочарования отметил я разницу в персонале: тут были обычные больничные няньки и сестры, заметно отличающиеся от тех, кого я знал. Они покрикивали на больных, небрежничали и вообще чувствовали себя главнее раненых, чего в прежних госпиталях не было.

Зато в палате, среди калек, я опять почувствовал себя в своей тарелке — все здесь были свои, понятные, почти родня. Мне сделали так называемую костнопластическую операцию, взяв недостающие шесть сантиметров кости из голени левой же ноги, то есть надпилили и вырубил кусок кости.

— В общем, столярная работка. Вроде того как нарастить ножку у табуретки, взяв дерево от другой ножки, — пояснил мне хирург. Он немного кокетничал, потому что операции такого рода только еще осваивались.

А в палате появились студентки мединститута, проходящие практику. Одна из них мне приглянулась. После того как я начал ходить, я попросил ее о свидании. Она сказала, на какой скамейке в больничном саду я должен ждать ее после обеда.

Когда я пришел, то увидел на скамейке какого-то парня без ноги.

— Слушай, друг, не мог бы ты ухромать отсюда? — вполне миролюбиво предложил я.

— С какой стати? — нахмурился парень.

— У меня тут свидание.

— У меня тоже.

— А, тогда другое дело.

Мы успели обменяться парой слов, когда на дорожке появилась улыбающаяся Галя.

— Ну что, мальчики? Вы уже познакомились? — весело спросила она нас.

Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Так эта девушка познакомила меня с Васей, ныне Василием Ивановичем Соловьевым, моим коллегой и другом с тех самых пор.

Еще недавно мы встречали День Победы на Красной площади вместе с сестрой, Катей и Ледиком. Мы пришли туда еще засветло. При нас заполнялась она ликующим народом. На наших глазах поднялся в небо привязанный к аэростату огромный портрет Сталина. Вечером, в лучах прожекторов, он парил над Кремлем, над Москвой-рекой, в которой впервые отражались кремлевские звезды, всю войну окутанные защитными чехлами, и вновь ставшие яркими окна домов (светомаскировка соблюдалась почти до 1 мая 1945 года). Тут же, на Красной площади, мы прослушали и речь Сталина, извещавшую нас об окончании войны. На сей раз он уже не называл нас братьями и сестрами — хватит фамильярности — какие мы



ему братья? Мы — винтики, мы — терпеливый русский народ...

Но какой был салют! Таких еще не было и уже никогда не будет — в этот вечер, должно быть, выстрелили в небо все запасы ракет и фейерверков! И пожалуй, праздников таких не будет. В этот день и вечер в первый за много-много лет заорганизованных, регламентированных, исключаящих какую-либо самодеятельность демонстраций, если они не разрешены свыше, вся Москва выпала на улицы. Это была стихия восторга, море радости и слез, час всеобщего единения в одном чувстве Победы.

А закончился тот вечер страшной давкой у станций метро «Площадь Революции» и «Охотный ряд» (ныне «Проспект Маркса»). Толпа, устремляясь в метро, сжалась так, что я временами, чтобы не отдавили ноги, поджимал их, а она несла меня и несла. Опасная давка, тревожная давка — как бы репетиция той, что случилась на Трубной площади после смерти Сталина.

А Парад Победы 24 июня мы с Васей встретили на больничном подоконнике. Как известно, шел дождь, на улицу выйти было нельзя, телевидения еще не было, и мы слушали репортаж о параде по радио. Было немного грустно, что мы здесь, а не там, хотя бы на выходе с Красной площади или на улицах, где можно было увидеть проходящие войска. Но было и празднично, мечталось о какой-то новой жизни, война уходила в прошлое. Когда-то она была нашим бытом, затем превратилась в воспоминания, сначала близкие, потом все отдалялась, отдалялась, теперь она стала историей.

История-то история, но... «Война закончилась на свете, но не закончилась во мне». Откуда эти строчки? Не знаю, то ли я их где-то слышал или прочитал, то ли сам придумал. Не претендую на авторство, но мысль эта дорога мне. Потому что родом я не столько из детства, сколько из детдома и войны. В моем поколении война определила и судьбы и характеры, кого-то укрепила и возвысила, кого-то разрушила и разложила. Каких больше — не берусь определять.

А моя война такая тяготная, такая негероическая, а порой бессмысленная и обидная, что я дал себе слово если уж когда-нибудь соберусь писать о ней, то без всяких прикрас, нисколько не беллетризируя и не пытаюсь сложить какой-то сюжет или при-

вести ее к какому-то идейному знаменателю. Только то, что видел, что чувствовал, что понимал (а может, и не понимал даже). Вот так я и постарался написать — теперь судите...

А в качестве эпилога я вернусь к знакомству с Васей. Это знакомство стало поворотом всей моей жизни. То, что было до сих пор, — арест родителей, детдомовщина, война, — в сущности, это была не осмысленная жизнь. Меня несло потоком, я барахтался в нем, как щенок, стараясь, чтобы не унесло водоворотом на дно, не разбило бы о камни. Я долго не знал, куда мне плыть, что делать со своей жизнью. У меня не было цели. У Васи цель была — ВГИК. И он рассказал мне о нем.

Что я тогда знал о кино? Нравится — не нравится, интересно — неинтересно. Ну знал артистов — М. Жарова, П. Алейникова, Б. Андреева, Л. Орлову, З. Федорову, Л. Целиковскую, то есть наиболее популярных. И никогда не задумывался, как кино создается, — снимается, и все!

Вася объяснил, что это целый мир с десятками профессий, прожитых жизней, историей и героями, счастливыми и неудачниками, мир волшебства, фантазии, творчества. И есть в этом мире профессия не очень громкая, о которой мало знают, но замечательная! Оказывается, у истоков фильма стоит человек, который сначала все это придумывает и пишет в виде будущего фильма — это и есть сценарий. А тот, кто все это придумал, называется сценаристом или драматургом. Это особая профессия, она родственна писательскому труду. А во ВГИКе есть факультет, который так и называется — сценарный.

Боже мой, как интересно! Конечно, я с мальчишеских лет любил кино. Да и кто его тогда не любил? Чтобы понять эту любовь, вспомните — телевидения-то еще не было! Неужели можно совместить любовь и профессию? Любовь и дело жизни?! Да разве не стоит сделать для этого все? Ну хотя бы попытаться! Так у меня появилась цель. Я как будто увидел маяк на далеком берегу и теперь знал, куда мне плыть...

1989 г.

# ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Леонид НЕХОРОШЕВ

## СВЕТ ВО ТЬМЕ

Размышления о Первом Всероссийском фестивале документальных фильмов о Русской Православной Церкви, имевшем место быть в городе Москве на святочной неделе 1990 года от Рождества Христова.

И свет во тьме светит,  
и тьма не объяла его.  
Евангелие от Иоанна.  
1, 5.

Слова из «Евангелия от Иоанна» прозвучали с фестивального экрана. Их произнес Алексей Баталов, читая дикторский текст фильма «В поисках Санкт-Петербурга». В картинах, представленных на фестиваль, можно было услышать и другие евангельские тексты и выдержки из сочинений святых отцов Церкви, но именно это изречение выразило глубинную суть всего увиденного на нем.

История России, впрочем, как и история Украины и Белоруссии, выступила перед зрителями в полном соответствии с истиной как непрерывная борьба света и тьмы. В картине «Крепость неодолимая» ангел с трубой в виде флюгера над одной из башен Кирилло-Белозерского монастыря вот уже столько столетий «призывает каждого входящего набрать сил для борьбы со всяческим злом и нечестием». А бороться на Руси было с чем, и конца этой борьбе не видно. Нашествия сменялись внутренними усобицами, беды внезапные — набеги, бунты и пожары — перемежались с бедами томительными и долгими, растянутыми на столетия. История России — это череда трагедий, в которых дьявольское зло выступало (и выступает!) каждый раз в новой личности: будь то монгольские орды, создатели ГУЛага или должностные лица, о которых в белорусском фильме «Боль» рассказывает молодой сельский священник-интеллигент: обезумевшей от горя матери объявили, что не будут платить пенсию за убитого в Афганистане единственного сына, если она отпоеет его в церкви.

Но далеко не всегда личности зла и тьмы распознаваемы. Зло очень любит рядиться в маски добра, в маски носителей всеоб-

щего благоденствия. Этим оно особо опасно. Какие неисчислимые беды принесли бы России те могущественные силы, которые поворачивали северные реки вспять! В числе таких бед было бы затопление одной из самых драгоценных русских святынь — Кирилло-Белозерского монастыря, основанного учеником Сергия Радонежского — Кириллом на месте, которое ему возвестила икона Богородицы: «Там возможешь спастись!» Об этом затоплении, о чуть было не свершившемся торжестве зла рассказывает нам в фильме «Крепость неодолимая» заведующий Кирилло-Белозерским музеем Валерий Рыбин; его закадровая речь звучит на протяжении всей картины с истинно религиозной проникновенностью.

А ведь те, кто предлагал, требовал, бился до последнего за идею поворота рек, выступали под лозунгами добра и пользы!

Можно ли поэтому согласиться с авторами прекрасного фильма «Храм» — с одной только их мыслью, прозвучавшей в дикторском тексте: жизнь, мол, богаче борьбы света и тьмы, и мы должны научиться различать многоцветье мира?

Да, жизнь разнообразна и многоцветна, но в своем многоцветье она и обманчива, как бывает обманчив пестрый хоровод масок. И надо учиться как раз обратному: умению отделять краски света от красок тьмы. Николай Александрович Бердяев видел смысл человеческой истории в выяснении, что есть Христос и что есть антихрист, где дух свободы, а где адво плечение.

Следует разделять фильмы о религии и Церкви и картины, религиозные по духу. Митрополит Питирим, председатель Издательского отдела Московского патриархата, выступая на открытии фестиваля<sup>1</sup>, говорил о том, что Православная Церковь высоко ценит документальное кино, ибо кинематограф — это изображение человека, а ведь и икона изображает Бога и человека, как образ и подобье Божье.

Попытаемся в меру наших сил продолжить эту мысль. Икона — молитва в красках. Но если сравнивать икону и фильм, то последний, соприкасаясь с Божественным,

<sup>1</sup> Фестиваль был организован Издательским отделом Московского патриархата и Народным домом России.

тоже должен быть молитвой, но только молитвой в движущихся красках.

Истинно религиозные фильмы на фестивале были. Один из них — короткометражная картина «Ефросинья Полоцкая». Перед нами — кинематографический вариант жития одной из самых чтимых в Белоруссии святых — преподобной Ефросиньи, игуменьи Полоцкой.

Фильм прост по драматургии. Как и полагается житию, он последовательно излагает историю жизни святой, жившей в XII веке.

Картина выдержана в манере строгой и приглушенной, когда чувство не изливается во внешних эффектах авторского самопоказа, а молитвенно и смиренно — только бы не расплескать это чувство! — доносится до зрителя. Авторы стараются следовать заветам самой преподобной Ефросиньи, которая учила православный народ «чистоте сердца и телесному бесстрастию».

Кроме «Ефросиньи Полоцкой» на фестивале «житийных» фильмов, к сожалению, не было. Слишком укоренилось в среде нашей интеллигенции, в том числе и творческой, восприятие христианства не как истины о человеке и его месте во вселенной, а только с точки зрения роли, которую оно сыграло в развитии образования и искусства — литературы, живописи, архитектуры.

Порой разные подходы к христианской религии и ее истории сосуществуют в пределах одного произведения, вступая между собой хотя и не в прямой, но от этого не менее напряженный диалог. В интересной картине «Радость моя» к зрителям обращаются то ученый Д. Лихачев, то молодой иеромонах отец Роман. Отношение известнейшего нашего академика к религии очень серьезно и уважительно. Но о чем он говорит? О том, например, что старообрядчество — удивительное явление русской культуры, ибо именно старообрядцы сохранили древние иконы, книги, обычаи, всеобщую грамотность среди приверженцев своей веры. Академик сообщает нам и о том, что «богослужение — это синтез искусств». Казалось бы, утверждения, не вызывающие сомнений...

Но появляется на экране молодой монах и говорит: «По учению святых отцов искусство — это дело падших ангелов; художники стремятся каждый раз дать свое видение мира, но при этом они не выражают Истину, ибо Истина одна (содержится в учении Иисуса Христа.— Л. Н.), а художники должны не самовыражаться, а воцерковляться».

Кто прав? Академик или монах?

Наверное, каждый из них прав со своей точки зрения. Д. Лихачев прав как ученый, а отец Роман — как глубоко верующий человек. Поэтому когда слышишь, что «больше всего следует бояться людей, уважающих Христа», надо, видимо, отмечать для себя полемический характер этого утверждения.

Служение человека науке или искусству само по себе не противоречит истинно религиозному миропониманию. В картине «Слово о Кирилле и Мефодии» предстает перед нами образ выдающегося русского ученого Алексея Федоровича Лосева. «Общности», в понимание которых ученый вкладывает и свое религиозное сознание, он ставил неизмеримо выше фактов — казалось бы, «святая святых» для деятеля науки. Отношение же к христианской религии только как к явлению культуры (в бытующем понимании этого слова) по сути дела атеистично.

Во время фестиваля было показано сорок пять фильмов (13 полнометражных и 32 короткометражных), и в каждом из них зрители видели церкви. И всемирно известные шедевры архитектуры, и скромные сельские церквушки, и сбитые буквально из досок молитвенные дома.

Какие только богослужения мы не лицезрели: торжественные, с участием иерархов в честь 1000-летия крещения Руси в соборах Москвы, Троице-Сергиевой лавры, Ленинграда и Киева; обряды крещения, пострижения в монахи, отпевания (только обряда венчания почему-то ни одного не было); службы в старообрядческих храмах, литургии, и даже заупокойный молебен на теплоходе на месте гибели Ермака.

Операторам нельзя отказать в изобретательности — ими выбирались самые выразительные точки. Мы видим лицо причащающегося, снятого чуть сверху и сбоку — почти так, как видит его священник. Или митрополита, прикладывающегося к иконам, снятого сквозь размытый передний план с горящими свечами и склоненными лицами верующих. И все это сопровождается звучащими за кадром хорами, молебнами, колокольными звонами.

И все-таки чего-то не хватало... Не хватало мгновений тишины. Тишины и неторопливой проникновенности. Мы видели на экране огромные скопления народа, сверканье золота, всеобщее возбуждение, но за внешним, праздничным не могли почувствовать внутреннее, не прикоснулись к тайне.

А ведь Храм — это дом Господень. В молитве идущего в церковь говорится: «Господи, вниду в дом Твой, поклонюся ко храму Святому Твоему в страхе Твоем». В «страхе», то есть в благоговейном страхе. «Храм — это Небесное Царство на земле...

Это соединение видимого и невидимого мира», — слышим мы в картине «Под благодатным покровом».

Вот этой сопричастности Царству Небесному, настроения благоговейности, возникающего от лицезрения устремленных ввысь церковных зданий, строгой молитвенности, царящей в храмах, даже когда они заполнены молящимися, — именно этих чувств чаще всего не удавалось воссоздать на экране кинематографистам. Вспоминаются только эпизоды отдельных фильмов: сцена крещения ребенка бедных молодых супругов в деревенском храме из картины «Боль», например. Или кадр из фильма «Спаси и сохрани»: зимний вечер, в темноте желтеет открытый вход в сельскую церковь, к дверям приближается одинокая фигура старушки. Освещенный вход в храм теплится, как лампада... Свет во тьме...

Хорошо, что на экраны кинотеатров и телевизоров открыт сейчас такой широкий доступ духовным лицам. Зрители очень часто видят богослужения, церкви, колокола. Сейчас этот материал моден. Во многом благодаря своей новизне, непривычности, даже экзотичности. Но, как всем известно, обязательное свойство моды — проходить.

Христианская религия и Церковь — ее носитель — «пройти» не могут, ибо учение Иисуса Христа истинно и вечно. Поэтому истинной и глубокой должна быть проповедь о нем.

Документальное кино по природе своей — это **свидетельствование**. Фильмы, показанные на фестивале, свидетельствовали о движении истории, о жизни человеческого духа, о его падениях и взлетах. Исторический характер подавляющего большинства картин был обусловлен недавним празднованием 1000-летия крещения Руси и существования Русской Православной Церкви — одни фильмы прямо рассказывали о празднике, другие были к нему приурочены, некоторые сообщали о событиях, ему предшествовавших: Днях славянской письменности в Новгороде, открытии памятника Сергию Радонежскому под бывшим Сергиевым Посадом. Но даже в тех картинах (а таких было большинство), которые с празднованием 1000-летия крещения не были связаны, виден был отсвет этого великого торжества.

Одно то, что рассказ о настоящем и недавнем прошлом постоянно сочетался с рассказом о Русской Православной Церкви, все установления которой зиждятся на тысячелетних традициях, одно это уже ставило изображаемое в исторический контекст огромного масштаба.

В разнообразнейшем изобразительном, словесном, звуковом материале фильмов можно различить три временных слоя: история давняя, история ближняя (XX век), время, переживаемое нами сегодня.

Но в живой плоти большей части картин эти слои разделить было трудно, ибо как раз в их переплетении заключалась суть изображаемого.

В самом начале фильма «Сказы матушки Фроси о монастыре Дивеевском» мы видим старинную литографию с видом Дивеевского женского монастыря, затем старую женщину в тесной комнатухе, слышим диктора, сообщającego нам сведения о монастыре, каким он был в начале века. Но тут же диктора перебивает громкий голос из репродуктора: «Говорит Москва!..» И пустая — ни одного человека! — зимняя площадь маленького городка. На невысоких домах красные транспаранты с призывами ЦК КПСС по случаю семидесятилетия Великой социалистической революции. Звучат транслируемые по радио поздравления маршала, принимающего парад, раскатистое армейское «ур-р-а-а!..». Статуя Ленина с протянутой рукой, стоящая на площади спиной к прекрасному, но оветшалому храму. Бодрые громкие призывы из репродуктора к рабочим, колхозникам и интеллигенции. Дежурные магнитофонные «ура» демонстрантов в ответ. По пустынной обледенелой площади бежит собака... Но вот появляется и народ — несколько человек с гармошкой...

А потом возврат в прошлое: старуха — матушка Фрося (в прошлом монахиня Маргарита) рассказывает, как отбирали после революции имущество у монастыря. И хроника: молодые монахины выстроились в линейку, а перед ними ходит и что-то строго им внушает человек в военной фуражке. На экране подлинный текст телеграммы тех лет: «Признать действия монашек контрреволюционными».

Вновь хроника: распиливают крест, ломают Царские врата, вскрывают святые мощи, выносят иконы, рывками тянут канат, привязанный к церковной главе, — она долго сопротивляется, наконец будто нехотя крестится вперед, падает, разбивается о землю.

«О! Стонать тебе, земля Русская, вспоминая прежние времена и прежних Князей своих». («Слово о полку Игореве».)

Документальные фильмы свидетельствуют: тьма разливалась беспрестанно по нашей стране. В истории далекой и близкой, и сегодняшней день объят ею.

Самая непроглядная тьма в далекой истории — монгольское нашествие. В фильме «Воззрение на Святую Троицу» злая жестокость страшного бедствия, пришед-

шего с востока, изображена метафорически — волки долго и остервенело разрывают на части и пожирают козую, разбрызгивая кровь по снегу.

Но было в далеком прошлом нечто более страшное, чем монголы, — вражда. «Вражда, — слышим мы в одном из фильмов, — воцарение смерти».

Предательскими убийствами, как вехами, отмечена вся наша история. Мы видим лица святых мучеников Бориса и Глеба, слышим историю убийства святого мученика великого князя Андрея Боголюбского, нам напоминают об убийстве десятилетнего царевича Димитрия, отрока-страстотерпца, с чьей смертью оборвался род Рюриковичей — «прервалась Промыслительная нить», что привело вскоре к неизлечимым бедствиям для страны, оказавшейся в Смутное время на краю полной гибели (фильм «Под благодатным покровом»).

А потом — в середине XVII века — раскол! «Национальной трагедией» называет его отец Иоанн, один из немногих выпускников Московской духовной академии, оставшихся верными древним обрядам русской Православной веры (внеконкурсный фильм «Раскол»). И священнослужитель прав — раскол был страшным ударом для русского народного духа, ударом, от которого он не оправился до сих пор. Владимир Соловьев в своей статье «Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться» писал о тех силах, что в семнадцатом веке поставили себя вне народа, извне преобразовали быт религиозный и произвели раскол, «...грех здесь — насилие жизни духовной во имя духовного начала, профанация этого начала — грех против Духа Святого»<sup>1</sup>.

Петр I увеличил раскол, углубил раздвоение русского народа (реформа Церкви подготовила царю Петру для этого духовную почву). «Петр Великий, — писал В. Соловьев, — это государственная власть, ставящая себя вне народа, раздвояющая народ и извне преобразующая быт общественный, грех Петра Великого — это насилие над обычаем народным во имя казенного интереса...»<sup>2</sup>.

В фильме «Поиски Санкт-Петербурга» профессор Александр Панченко говорит о том, что Петр I, возвеличивая Россию, демонстративно противопоставлял новый город старой Москве, «он резал по живому».

Дело страшное Петра в еще большем масштабе было продолжено в XX веке. Разве после революции государственная власть не поставила себя вне народа, разве она не раздвояла его и «извне» не преоб-

разывала «быт общественный»? Наконец, разве власть на протяжении десятилетий не совершала «насилие над обычаем народным во имя казенного интереса»?

Ужас и беды, постигшие русский народ в послереволюционные годы, не идут ни в какое сравнение с бедствиями всех предыдущих столетий его существования. Тогда нашествия, распри, засухи, моровые поветрия, жестокости правления уносили десятки тысяч жизней. В наше время счет шел на миллионы: десятки миллионов погибших в войне с фашистами, десятки миллионов расстрелянных, умерщвленных голодом, замученных пытками и непереносимым рабским трудом в бесчисленных лагерях.

«Россия во мгле», — писал Герберт Уэллс. Фантаст, увы, оказался прав. В XX веке Россию окутала тьма.

«Возстена, братцы, Киев от печали, а Чернигов от напасти, разлилась тоска по всей Русской земле; тяжкая печаль постигла Русских людей. Князья между собой враждовали, а нечестивые, рыская по земле Русской, брали дань по белке со двора».

(«Слово о полку Игореве».)

В XII веке захватчики брали со двора по белке! В 20—30-х годах XX века свои же русские люди отбирали у крестьян сами дворы и отсылали их с семьями в ссылку или делали крепостными, приписывая к колхозам и совхозам. Свободное крестьянство, составляющее основу государства Российского, было уничтожено как класс.

Картины, показанные на фестивале, выступают свидетелями обвинения. В фильме «Точка росы» рассказано о том, как отбирались плоды земли у крестьян.

В молитве Господней есть слова, которые звучат в фильме: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». На протяжении тысячелетий для крестьян главным в жизни был хлеб, неразрывными понятиями были «земля» и «воля». В революционные дни 1917 года декрет о земле, говорится в фильме, был введен снизу. И действительно, он писался Лениным на основании наказа, составленного из 242 местных крестьянских наказов, присланных в газету «Известия». Раздел наказа «О земле» целиком вошел в ленинский декрет<sup>1</sup>.

Через весь фильм «Точка росы» рефреном проходит хроникальный кадр — с проезжающего по улицам грузовика разбрасываются листовки с текстами декретов. А за кадром звучат слова: «Ленинский декрет о земле просуществовал чуть более года». В феврале 1919 года он был отме-

<sup>1</sup> «Наше наследие», № 2, 1988, с. 81.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>1</sup> Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1987, с. 177.

нен резолюцией ВЦИК о земельной политике. Еще до этого была введена продрозверстка — изъятие у крестьян всех продовольственных «излишков». Крестьяне ответили массовыми восстаниями. Во главе одного из них — на Украине — оказался учитель из крестьян Нестор Махно. В фильм включены его фотографии, на которых мы видим человека с волевым лицом, спокойным пронизательным взглядом умных глаз. Махно совсем не отвечает тому карикатурному облику, который сложился в нашем представлении по фильмам «Красные дьяволята» и «Александр Пархоменко». Впрочем, авторы картины «Точка росы» нам этот облик напомнили — включили в свой фильм отрывок из «Александра Пархоменко», где Махно в исполнении Бориса Чиркова с торчащими в разные стороны волосами, страшный, сидит с гармонью, пьет водку и поет: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить...»

В фильме есть еще один упорно повторяющийся кадр — вчерашние крестьяне, взявшись за руки, плотной шеренгой уминают сапогами залитый в опалубку бетон. Ничего не выражающие лица, сапоги мнут, мнут бетон. Рабский труд.

И страшный голод.

Выходит, шатаясь, из землянки умирающая от голода девочка. Раздается громкая и бодрая песня «Широка страна моя родная». Сменяет ее звучащая в храме молитва ко Святому Духу: «Царю небесный, Утешителю, Душе истинны... приди...»

На фоне крестьянских ног, уминающих бетон, авторы фильма «Точка росы» цитируют письмо Ивана Петровича Павлова советскому правительству. Академик писал, что в СССР государство — все, а личность — ничто, что без личностей государство погибнет, несмотря ни на какие Днепрострои...

Но разве могло что-либо изменить письмо члена Петербургской академии наук с 1907 года, великого ученого с мировым именем? Если «понятие личности было отменено», как сказано в другой картине — «Княгиня милосердия», то отменено было и понятие милосердия.

В фильме повествуется о великой княгине Елизавете Федоровне — сестре последней императрицы. В 1905 году эсер-террорист Иван Каляев убил бомбой ее мужа — великого князя Сергея Александровича. Княгиня навестила Каляева в крепости и подарила ему образок со словами «Господь вас прости».

Начало XX века. Войны, терроризм, казни. Княгиня Елизавета Федоровна на свои средства основала Марфо-Мариинскую обитель, построенную архитектором Щусевым и расписанную Нестеровым. В оби-

тели лечили и выхаживали раненых. Елизавета Федоровна организовала сбор средств «в пользу увечных воинов», что вернуло к жизни тысячи людей.

А 18 июня 1918 года «вооруженные мужчины» сбросили княгиню милосердия в шахту и забросали гранатами — как представительницу ненавистной семьи Романовых.

Фильм «Княгиня милосердия» заканчивается хроникальным кадром — идет красивая и добрая женщина — княгиня Елизавета Федоровна, и звучат ее слова, обращенные к Каляеву: «Жестокость нельзя побороть жестокостью». (Свидетельствую: на дневном сеансе в кинотеатре «Новороссийск» именно после этого фильма в зрительном зале впервые раздались аплодисменты).

Власти уничтожали души людей настойчиво и последовательно. Поэтому одним из первых врагов советской власти была объявлена Церковь, ведь именно религия провозглашала уникальность каждой отдельной личности, божественный характер человека как образа и подобия Божьего, ведь именно она ориентировала людей на высшие нравственные ценности, отрицая насилие как таковое в те десятилетия, когда жестокость и идолопоклонство стали главными средствами подчинения народа партийной элите.

Церковь и религия в нашей многострадальной стране в 20—30-е годы подверглись жесточайшим гонениям. Сотни, тысячи мучеников веры. Мы видели их трупы в фильмах, мы слышали их имена в картине «Под благодатным покровом»: митрополит Петр, архиепископы Илларион и Федор, священник Павел Флоренский и другие. И мы сердцем согласились со словами Валерия Рыбина в фильме «Крепость неодолимая»: «Ветхозаветное Вавилонское пленение — это образ наших 70 лет. Страшные годы, но они были необходимы для спасения русских людей... Жертвы необходимы, не напрасны, они живы для Бога... В крови новых русских мучеников захлебнулась сила дьявола».

Ко многим фильмам, запечатлевшим торжество вандализма и мракобесия, могут быть отнесены слова Сергея Аверинцева, произнесенные им в картине «Ларец древности»: «Этот фильм — плач, надгробное рыдание по земле, которой нет». Да, только на рисунках, на фотографиях, в обрывках пленки остались запечатленными многие русские святые, превращенные в обломки и дым.

Больно вздрагивало каждый раз сердце, когда на экране после взрыва, шлохнув-

шись и на секунду замерев, обрушивался и исходил к небесам пылью дивный храм.

В фильме «Сон совести» после кадров взрыва храма Христа Спасителя на экране возникает постановление правительственной комиссии о его сносе. И подписи: председателя комиссии В. Молотова и ее членов К. Ворошилова, Л. Кагановича, А. Енукидзе и других. Очень просто и деловито...

Правда, вслед за этим мы видим и длинные списки тех, кто протестовал. Но... Жив ли кто-нибудь их них?

Известно, что непосредственные исполнители дьявольской воли встретились в своем богопротивном деле с определенными трудностями. Храм, носящий имя Христа, никак не поддавался разрушению. И только увеличенные заряды взрывчатки, расположенные особым образом, сокрушили наконец его величественные и могучие купола и стены. Мученическая стойкость храма изображена в финале фильма «Под благодатным покровом» особым образом — в монтажной фразе:

Взрыв — рушатся стены храма Христа Спасителя.

Стоит он целый и невредимый.

Взрыв.

Стоит храм.

Руины храма.

Разрушение религиозного, культурного и исторического памятника, выстроенного народом и им почитаемого, вырастает до символа — так, мужественно сопротивляясь, гибла православная Россия.

Но даже не разграбление церковного имущества, кощунственное вскрытие мощей святых и праведников, не сбрасывание колоколов, не разрушение церквей более всего устрало и повергало в скорбь. Устрашали лица тех, кто сие творил. Устрашали тем, что были **радостны**.

Смеются крестьяне в хроникальных кадрах, наблюдая, как сбрасывают колокол, и он раскалывается от удара о землю. А потом кувалдой бьют, добивают, доламывают его.

В картине «Радость моя» женщина снимает со стены икону.

Во дворе разожгли большой костер. В нем горят священные книги, иконы.

Горит распятие.

Женщины с простыми, милыми русскими лицами, улыбаясь, кидают в огонь иконы...

А я вспомнил другую хронику — горит костер из книг классиков мировой литературы, а нацисты подбрасывают новые и новые тома.

Где раньше загорелись мрачные костры? В Германии или в России? В России! И в ней это делали, судя по хронике, не какие-то

там работники НКВД, а простые русские люди. Делали буднично и весело, без всяких переживаний в стиле Апокалипсиса, совсем не так, как это пытался изобразить когда-то Сергей Эйзенштейн в картине «Бежин луг».

У Тарковского в «Андрее Рублеве», в эпизоде разгрома Владимира, есть такой кадр — на фоне татар, которые грабят Успенский собор, сдирая с его кровли медные листы,— крупный план русского князя: хотя он и привел татар в отместку старшему брату, но творимое обходится ему дорого — мы видим лицо человека, который раздавлен глумлением над народными святынями.

Никакого намека на замешательство и раскаяние не замечаем мы у людей, творящих святотатство в 20-х годах XX века.

В «Апокалипсисе» Ангел показывает апостолу Иоанну великую блудницу — «жену, сидящую на звере багряном» и держащую «золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ея...» (Откр. XVII, 3—4). Комментируя это место из «Откровения Иоанна» богослов протоиерей Николай Орлов в 1913 году писал: «Под блудодейством нужно разуметь распространение безразличных обычаев и боговраждебности чрез лицемерную политику и развратную религию и культ, общее развращение»<sup>1</sup>.

В фильме «Сказы матушки Фроси...» вокруг костра, в котором корежатся святые лики, дети даже водят хоровод, мальчишка играет на гармонии, а сельский люд смеется.

Конца мира по всем внешним признакам, казалось бы, нет, но приход антихриста явный: народ, так низко павший, так легко и весело глумящийся над Христом, уже полностью отдал себя во власть зверю и поверил в него, как в Бога.

Истинно, мы не ведали, что творили, и наши души блуждали во тьме.

А сегодня? Сейчас ведаем? По-прежнему Россия лежит в руинах. В предфинальном эпизоде картины «Сказы матушки Фроси...» женщины молятся внутри разрушенного (нет даже алтаря!) храма. А за кадром раздается духовное песнопение — звучит прекрасный женский хор. Но посреди церкви качается, балуясь, на цепи от паникадила подросток, а его товарищ вновь играет на гармошке. Только теперь на губной...

...Я вышел из кинотеатра. Мимо мчалось, разбрызгивая снежную кашу, Садовое кольцо. Рядом шла пожилая женщина в толстом пуховом платке. Она плакала.

— Все так и есть, как в кино... — говорила она. — Я из Белоруссии. После войны храм

<sup>1</sup> Толковая Библия. Том XI. Пг., 1913, с. 585.

в нашем селе разгромили зенитными орудиями — автостоянку делали. Теперь ближайшая церковь за 60 верст, автобусы не ходят — как доедешь?

Чем я мог успокоить эту женщину?..

Разрушенные храмы с пустыми глазницами окон, с травой на крышах мы видели во многих фильмах...

И не только храмы. Самое дорогое и родное рушится, ветшает, оскверняется на глазах: города («В поисках Санкт-Петербурга»), природа («Крепость неодолимая», «Кола»), деревни («Раскол», «Спаси и сохрани»). Везде видишь следы жены-блудницы — мерзости и нечистоты «блудодействия ея».

Самую сильную душевную скорбь вызывает вид заброшенных кладбищ. Смоленское кладбище в Ленинграде, например... Историческая память, память об умерших предается не только забвению, но и поруганию — такой мучительной боли, какая выражена на лице матери убитого солдата-«афганца», когда она кричит в камеру о том, что методично разбивают и оскверняют памятники и могилы воинов, убитых в Афганистане («Сон совести»), я никогда не видал. Она кричит, плачет, умоляет что-то сделать. Рядом стоят мужчины, в том числе и военные, и молча слушают ее.

Что же стало с нами — русскими людьми?

Из картины «Его зарыли в шар земной» мы узнаем, что, оказывается, в стране нет даже списков многих наших солдат, убитых и похороненных в Германии. Они числятся, как «без вести пропавшие», то есть как возможные изменники.

С помощью камеры долго бродим по страшной Долине смерти, что под Новгородом. Под ногами — каски, ботинки, солдатские кружки, гильзы, кости, черепа, противогазы... Журналист Александр Орлов, выполняющий вместе с другими добрыми и деятельными душами титаническую работу по определению имен убитых и их погребению, говорит: «В газетах написано, что здесь не похоронено 250 тысяч человек... Но только у нас в Новгородской области не захоронено 450 тысяч...» И добавляет: «Но все они — брошены...»

В фильме «Боль» родные убитых «афганцев» тяжело страдают, когда к ним приходят запаянные цинковые гробы. Если гроб с окошечком, то видно, кто в нем лежит. Но чаще — без окошечек. Кто в гробах? Вернувшиеся из Афганистана рассказывали: иногда от человека ничего не остается, в гроб кладут землю и его вещи.

Нигде не относятся так безразлично к соотечественникам, как в России.

В начале картины «Белые розы» мы видим висящую на стене православную икону «Знамение Богородицы», но крест с немецкой надписью — «Gott ist die Liebe»

(«Бог есть любовь»). Мы в австрийском доме для не совсем нормальных детей. Дети поют молитву на немецком языке. Они улыбаются. О наших подобных учреждениях подростки, находящиеся в них, говорят как о тюрьмах, в которых за труд ничего не платят, плохо кормят, из которых невозможно вырваться, а если и выйдешь, то только со справкой «олигофрения на стадии дебильности», что перечеркивает по сути нормальным молодым людям все их будущее.

Руины, гибель душ.

Да, Русь лежит в обломках. Но есть ли надежда на возрождение России?

«Чтобы понять Россию, нужно понять Лавру», — слышим мы слова отца Павла Флоренского в фильме «Храм». А картина «Под благодатным покровом» свидетельствует: во все катастрофические времена Россия выживала благодаря вере, благодаря Православной Церкви.

Возвышение духа молитвою, обращение к Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, память о Всех святых, в земле Российской просиявших, вот что возрождало наших соотечественников, давало им силы преодолевать наступления внешних и внутренних вражеских сил.

«Игумен» в переводе с греческого — «ведущий». Игуменом, путеводителем русского народа называли преподобного Сергия Радонежского, который любовью и молитвою собрал русских, вдохнул в них уверенность, заставил преодолеть себя, свой вековой страх, благословил на борьбу за освобождение от монголов. Русские победили тогда потому, что «не в силе Бог, а в правде!».

Куликовская битва произошла 8 октября (по старому стилю), в день Рождества Богородицы. Совпадение не случайное. Наши предки надеялись на помощь Небесной Заступницы, и Она помогла им.

В страшные дни разгула опричнины, в кровавые годы царствования Иоанна Грозного на защиту несправедливо убиваемых встал митрополит Филипп, за что был предан мучениям и смерти.

В Смутное время — в начале XVII века, когда, как и сейчас, взбаламучено все было на Руси и, казалось, уже ничто не спасет, не возродит ее, патриарх Иов отказался короновать Лжедмитрия I. Патриарх умер в заточении, но его преемник — святитель Гермоген призвал Россию к всенародному подвигу. Святой отец был заточен в Чудов монастырь и погиб там от голода. Но воззвание было услышано народом. Он поднялся сплоченный и с помощью чудотворной иконы Казанской Божьей Матери восстановил Отечество в его си-



ле, славе и благочестии.

Удивительно: именно в преддверии наполеоновского нашествия — в конце XVIII века начинается возрождение угасшего было за прошедшее столетие иноческого духа. В фильме «Под благодатным покровом» называются имена таких подвижников, как преподобный Паисий Величковский, как чудотворец Серафим Саровский, провозгласивший целью христианской жизни стяжание Святого Духа.

Не этот ли национальный духовный подъем помог нам победить в Отечественной войне 1812 года?

В конце XIX — начале XX века вновь подъем православного духа в России. Николай II — последний русский царь и за все петровское и послепетровское время — самый верующий из царей. Начало века ознаменовалось и необычайным расцветом русской религиозной философии, расцветом, поразившим весь мир и надолго определившим пути мировой философской мысли.

Хроника тех лет дает возможность наблюдать Красную площадь, заполненную весной 1917 года верующими. В августе того же года на Поместном Соборе митрополит Тихон был избран патриархом. Таким образом, на Руси было восстановлено патриаршество. В одном из фильмов мы видим патриарха Никона, приветствуемого толпами народа. Но диктор недаром обращает наше внимание на то, что лицо патриарха напряжено. Скоро для Русского Православия наступят трагические времена. Духовный подъем нации будет насильственно прерван, русский дух перемолот в кровавой мясорубке гражданской войны, а затем раздавлен тяжелым прессом системы... Восторжествует насилие, и христианские добродетели — любовь и милосердие будут отброшены. Отделение Церкви обернется грубым вмешательством государства в ее дела.

В 1934 году в Рождественской проповеди митрополит Григорий сказал: «На протяжении веков было немало попыток устранить религиозный элемент из сознания и жизни человечества... Но без религии нравственные начала лишаются твердой опоры в жизни. Если над человеком нет никакой высшей опеки — ни благодеющей, ни гневающей — и он является верховным владыкой мира, поступающим исключительно так, как ему хочется, чтобы пользоваться радостями жизни, то в таком случае одинаковое право на существование имеют и великий праведник, и величайший преступник, так как все стремления человека будут качественно одинаковы и между добром

и злом исчезнет различие...»<sup>1</sup>.

Так и случилось — свет смешался с тьмой.

В середине XX века вспыхнул на короткое время в России факел истинного света. Об этом с большой, впечатляющей силой — словесной и изобразительной рассказано в истинно религиозном фильме «За други своя». Картина настолько значительна, глубока, нова по идеям, что заслуживает, несомненно, отдельного разговора. Но можно сказать, что историк В. Карпец и режиссер В. Виноградов предложили свое объяснение сути ожесточенного столкновения фашистской Германии и Советского Союза. Ссылаясь на совершенно достоверные высказывания Гитлера и Геринга, они убедительно показали, что это была война одной религии — нацистской — против религии другой страны — России, в которой Гитлер видел «оплот веры Христовой».

Как только началась война, в нашей стране распался Союз воинствующих безбожников, «ибо воевать,— говорится в фильме,— нужно было с настоящим, а не с выдуманным врагом».

Антихристианский, антиправославный характер нашествия каким-то образом почувствовал народ. Если до войны церкви были полупусты, то с началом военных действий миллионы людей устремились в храмы. Победы на фронте были впереди, но победа духовная уже состоялась.

Хроника показывает нам, как святят на Пасху маленькие куличики (время было голодное), как идут толпы верующих в церкви, и среди них офицеры в форме, как восторженно поют в храмах люди: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» Священники благословляют идущих на бой воинов.

Вера в Христово Воскресение, как считают авторы фильма, была верой в воскресение нашей многострадальной земли. Во имя этой веры, исправляя чудовищные ошибки командования, отдавали русские люди свои жизни «за други своя».

Увы, после войны Церковь вновь стала ненужна властям, опять она мешала им манипулировать народным сознанием. Вновь десятками, сотнями стали закрываться храмы и преследоваться верующие. Фильм «За други своя» заканчивается плачем: **«О! Мать моя Православная Церковь!.. Какими слезами окупит народ то, что забыл дорогу в церковь!»**

Слезы уже льются, народ переживает очередную трагедию: разор, нищета, убийства, падение духа. Но вновь взоры всех об-

<sup>1</sup> Митрополит Григорий Чуков. Слово в день Рождества Христова. «Журнал Московской Патриархии», № 12, 1989, с. 34.

ратились к Церкви — к телу Христову, к представительству Царства Небесного на земле.

Народ наш может спастись только через веру. Ибо любой закон без веры — мертв. Это убеждение не только мое. Но есть ли надежда на общенародное возвращение к вере?

Фильм «Блаженны кроткие» начинается невесело — с сельских похорон. Надрывный плач. Покосившиеся кресты. Брошенные, полуразвалившиеся избы, сломанная прятка валяется на дороге. Полуразрушенная колокольня. Не верящая в Бога молодежь. Знакомая картина.

Но вот мы знакомимся с одной крестьянской семьей, с другой. Все они многодетные — по семь, по девять, по десять ребят в семье. Хозяйка не отходит от печи, переставляет ухватом огромные горшки, с усталого лица льет пот, но — улыбается! И охотно, с улыбкой рассказывает о себе, о муже, о детях. Конечно, и жалуется, и клянет все и вся — мол, совсем мало платят многодетным матерям. А что делать?

А другая говорит, тоже улыбаясь: «Балка в избе рухнула. Я счастливая — балкой не придавило».

Церкви нет, но молятся в избе, и по всем правилам поют духовные песни. А потом — в баню.

Жизнь трудна, но от людей веет здоровьем и чистотой. Нет, народ сохранил душу живу!

И он тянется к вере. Храмы заполнены не только в дни празднований, но и в обычные, будничные дни. А сколько лиц, измученных жизненными лишениями, но прекрасных своей внутренней духовной наполненностью, увидели мы в сценах богослужений.

Много лет часовня над могилой юрковой Ксении Петербургской на Смоленском кладбище в Ленинграде, была закрыта, но люди приходили и оставляли свои благодарственные надписи на досках изгороди. Теперь, после канонизации блаженной Ксении на Поместном Соборе, часовню восстановили, и в нескольких фильмах мы видели, как освящали часовню, с каким благоговением на лицах люди теснились вокруг нее в аллеях кладбища. А одна молодая женщина говорила в объектив: «Пока я не пришла к вере, я была мертвая. Не могу сказать, что я счастливая, но я начала жить!»

Восстанавливаются монастыри, храмы, строятся новые. Все это, конечно, очень важно, но гораздо важнее другое — прокладывается ли внутренний, сердечный путь к Богу? Здесь очень многое зависит от служителей Церкви, от духовных пастырей.

Молодой сельский священник Валентин Ратьков («Спаси и сохрани») живет в деревне Соболево Сусанинского района Костромской области. В деревне совершенно брошенной. Кроме него живут старуха и парень, которого отец Валентин взял из интерната для слабоумных. Священник считает себя счастливым человеком. Тихий, с неторопливым складом речи, он столь же неторопливо, но верно трудится: служит в церкви (прихожане приезжают и приходят к нему из других сел и даже из райцентра), совершает требы: мы видим похороны на заснеженном лесном кладбище. И не думает отсюда уезжать!

Священник отец Валентин при всей смиренности и скромности своего внешнего и внутреннего облика входит в ряд таких подвижников, как «княгиня милосердия» Елизавета Федоровна, как архитектор-реставратор Дмитрий Барановский (герой фильма «Крест мой»), который один спас в 20-е и 30-е годы от уничтожения величайшие творения древнего русского зодчества, в том числе и храм Василия Блаженного.

Именно образы таких людей, истинных героев духа, представленных нам документальным кино (чем не может, например, похвастаться игровой кинематограф), дают возможность надеяться и верить, что Россия восстанет из обломков.

Пройдя в XX веке через Голгофу страданий, Русская Православная Церковь приобрела высокий нравственный авторитет. Но существует и реальная опасность его снижения. Открывшиеся возможности политической свободы могут увлечь Церковь на путь политизации. И тогда она потеряет то, что накопила за годы гонений: славу прибежища духовного для отчаявшихся.

Есть и другая опасность. В картине «Преображение» молодые священнослужители обличают, я бы даже сказал, клеймят иерархов. Но ведь Православная вера считает осуждение брата своего грехом. Осуждай себя, а не другого!

Преподобный Серафим Саровский говорил, что спасий самого себя спасет вокруг себя тысячи. Осуждение же — верный путь к распрям, а затем и к насилию. Душа, а вместе с ней и Россия спасется не осуждением, а молитвой и покаянием.

Когда я смотрю фильм «Боль» и вижу обезумевших или глубоко подавленных от безмерного горя женщин, потерявших своих детей в Афганистане, меня охватывает непереносимо жгучий стыд: ведь я не только ничего не сделал, чтобы этой войны не было, я убеждал своих студентов, что война в Афганистане нужна для нашего государства, для победы справедливости во всем мире. Покаянный стыд за это, как и за многое другое, я пронесу до конца дней своих.

Что дает нам возможность жить?

В последнем кадре картины только что крещеный младенец долго (кадр снят рапидом) все тянется и тянется к свечам — к свету. И вместе со слезами приходят на ум слова из молитвы святителя Василия Великого: «Ты бо еси истинный Свет, просвещающий и освещающий всяческая, и Ты поет вся тварь во веки веков. Аминь».

## Награды фестиваля

За лучший полнометражный фильм:

**Первая премия** — «Под благодатным покровом». ЦСДФ, авторы сценария Б. Карпов и И. Ульянова, режиссер Б. Карпов.  
**Вторая премия** — «За други своя». «Центрнаучфильм», автор сценария В. Карпец, режиссер В. Виноградов.

**Третья премия** — «Храм». ЛСДФ, автор сценария А. Никифоров, режиссер В. Дьяконов.

За лучший короткометражный фильм:

**Первая премия** — «Крепость неодолимая». «Леннаучфильм», автор сценария О. Сокурова, режиссер В. Матвеева.

**Вторая премия** — «Спаси и сохрани». «Центрнаучфильм», авторы сценария Э. Дубровский и Л. Попов, режиссер Л. Попов.

**Третья премия** — «Сказы матушки Фроси о монастыре Дивеевском». ЦСДФ, авторы сценария С. Баранов, Е. Кокусев, Г. Шевкунов, режиссер С. Баранов.

Фильмография лент, упоминаемых в статье: «Белые розы». ЦСДФ, авторы сценария С. Андреева, режиссер В. Шкурко.

«Блаженны кроткие». ЦСДФ, автор сценария Т. Карпова, режиссер И. Жуковская.  
«Боль». «Беларусьфильм», авторы сценария С. Белоусов, С. Лукьянчиков, режиссер С. Лукьянчиков.

«Воззрение на Святую Троицу». «Леннаучфильм», автор сценария и режиссер Л. Никитина.

«В поисках Санкт-Петербурга». «Леннаучфильм», автор сценария и режиссер В. Матвеева.

«Его зарыли в шар земной». «Беларусьфильм», автор сценария И. Осинский, режиссер А. Алай.

«Ефросинья Полоцкая». «Беларусьфильм», автор сценария В. Орлов, режиссер О. Морокова.

«Княгиня милосердия». ЦСДФ, автор сценария и режиссер И. Осипов.

«Кола». «Леннаучфильм», автор сценария А. Богатырев, режиссер А. Карпушев.

«Крест мой». ЦСДФ, автор сценария Ю. Бычков, режиссер В. Ловкова.

«Ларец древности». «Беларусьфильм», автор сценария Л. Пересыпин, режиссер О. Морокова.

«Преображение». «Новосибирсктелефильм», автор сценария И. Малашина, режиссер Ю. Малашин.

«Радость моя». Свердловская киностудия, автор сценария и режиссер Е. Квасцова.

«Слово о Кирилле и Мефодии». ЛСДФ, авторы сценария В. Почечикин и А. Якубовский, режиссер А. Якубовский.

«Сон совести». «Центрнаучфильм», автор сценария и режиссер Б. Головня.

«Точка росы». Киевская студия научно-популярных фильмов, автор сценария Е. Шаботенко, режиссер С. Лосев.

## Вячеслав Шмыров

### КИНО И ЦЕНзуРА

Вопрос о цензуре в кино 30-х годов представляется непростым. Во-первых, потому что цензура возникла в советском кино не в 30-е годы, а значительно раньше (сведения о первой «полочной» картине, например, относятся к 1925 году). И во-вторых, потому что советское государство было и пока остается государством с законодательно закрепленной властью партии, из-за чего на протяжении десятилетий даже не возникал вопрос об юридически обоснованных функциях цензуры, а напротив — функции эти расширялись до бесконечности, как и сами формы цензуры.

Цензура как система государственного надзора в партийном государстве не могла не стать инструментом узаконенного единомыслия. Поэтому говорить о цензуре в цивилизованном понимании применитель-

но к кинематографу 30-х по меньшей мере наивно. Правильнее сказать, перефразируя известное выражение, что у нас в кино, да и в обществе в целом, цензуры вообще не было, потому что цензурой было все, если под этим «все» понимать сумму предпосылок, обеспечивающих свободу художественного выбора.

И все-таки вопрос остается. Либеральная мифология, столь распространенная сегодня, немислима без идеи противостояния. Раз литература, легализовав неизвестные советскому читателю тома Замятина и Платонова, Булгакова и Хармса, обнаружила тем самым гигантские запасники литературного подполья, то неужели ничего подобного не было в кинематографе? Именно этот вопрос прозвучал, например, в публикации «круглого стола» «Миф и мораль» в журнале «Искусство кино». И ответ на него последовал вполне законный: а иначе в условиях государственного кинопроизводства

и быть не могло. Правда, осталась легенда о погибшем материале фильма «Бежин луг» Эйзенштейна и о сценарии М. Дубсон, посвященного метростроителям. Может быть, там-то и содержалось заветное противостояние?..

Парадоксов в кинематографе 30-х — не на одну диссертацию. И чуть ли не главный из них заключается в том, что в течение десятилетия в кино собралась довольно-таки большая «полка», но противостояния в прямом смысле этого слова все равно не было.

Ситуацию 30-х годов надо вообще перестать связывать с ситуацией конца 60-х — начала 80-х, когда движение, начатое в кино «оттепелью», остановить было невозможно. Отвоеванное тогда право кинематографа на обращение к морально-этической проблематике вне жесткой идеологической (и уж тем более классовой) оценочности позволило кино даже в самые трудные для творческих работников годы соответствовать идущим в подкорковом слое общества процессам. Не то — в 30-е, когда не то что возможности — потребности в самосознании кинематограф не испытывал. Да и откуда этой потребности было взяться? Из 20-х годов, что ли?

Тогда следствием нэпа явилось повсеместное расширение кинопроизводства на акционерной и даже частной основе, что на практике означало фактическую (хотя и неполную) отмену декрета 1919 года о национализации кино- и фотопромышленности, приведшего к резкому сокращению выпуска фильмов. С демократизацией кинопроцесса возникли благоприятные условия для живой соревновательности различных кинематографических групп, объединений, мастерских, спешащих заявить о себе броскими манифестами. Массовый герой революционных фресок Сергея Эйзенштейна в художественной практике сосуществовал с погруженными в повседневность обывателями из фильмов Фридриха Эрмлера, Абрама Роома, Бориса Барнета. Рядом с пролеткультовской теорией прагматической полезности искусства можно было обнаружить увлечение психоанализом. Стилизованные под русский лубок кинофильтоны Александра Медведкина парадоксальным образом сочетались с левовским отрицанием «старой» культуры в «Хабарде» Михаила Чиаурели.

Однако при всей полемической разнонаправленности художественных идей неизменным для кино оставалось стремление к рациональному объяснению мира, которое последовательно отождествлялось с марксистской теорией классовой борьбы в ее наиболее вульгарном варианте. Нерассуждающее повинование художников классовым

интересам, ценностям и морали сделало их «мучениками догмата» (Б. Пастернак), приведя в конечном счете — уже в 30—50-е — к отказу от своего художнического «я» в угоду государственно провозглашенным идеям.

Судьба Эйзенштейна, как и судьба другого кинематографического гения XX века Александра Довженко, — горькое и парадоксальное свидетельство пережитой кинематографом в считанные годы эволюции — от несвободы по убеждению к несвободе по принуждению. Эти художники не приняли отведенного им сталинским режимом места главных «придворных» кинематографистов, но в полной мере разделили с эпохой ее трагические заблуждения и прозрения.

Начавшаяся в стране индустриализация кардинально повлияла на структуру кинопроизводства, восстановив к середине 30-х монополию государства на кино. Кампания награждения киноработников орденами и почетными званиями в 1935 году положила начало иерархическому оформлению творческой среды, позднее усиленному введением института Сталинских премий (1941). Киноиерархия возникла и среди советских народов: право на кинематографию оставили только имеющим республиканско-государственный статус.

Жесткая нормированность кинопроцесса, усугубленная постепенным исчезновением из проката фильмов других стран<sup>1</sup>, тем не менее не привела кинематограф к кризису, компенсировав отсутствие оригинального творческого поиска тотальной ориентацией экрана на массовые жанры. Расцвета в 30—50-е годы, как известно, достигла музыкальная комедия — особенно в постановках Григория Александрова и Ивана Пырьева. Большое место в картинах о прошлом и настоящем отводилось криминальной интриге: с ее помощью, как правило, реализовывался сквозной мотив пропаганды 30-х — происки «врагов народа» («Великий гражданин» Фридриха Эрмлера, «Большая жизнь» Леонида Лукова и др.). Идеологизировался и вестерн: его герои олицетворяли идею революционной жертвенности во имя светлого будущего.

Так, благодаря ярко выраженному жанровому началу киномифология 30—50-х обрела черты величественной утопии, в которой личное и государственное находилось в гармоническом единстве, а любой конфликт обязательно провоцировался злым вторжением извне. В соответствии с официально провозглашенной идеей на-

<sup>1</sup> Исключение составил разве что послевоенный прокат «трофейных» фильмов, вывезенных в 1945 году из Германии.

стающего «золотого века» унифицировались не только история страны, события современности или даже перенесенные на экран произведения литературной классики, но и сами художественные задачи того или иного фильма. Экранная мифология, становясь мифологией государственной, закрепляла в жесткой иерархии тоталитарную модель мира, населенного идеализированными вождями и героями.

Верхнюю ступень в этой иерархии безусловно занимали Ленин и Сталин, наиболее значительные картины о которых поставили Михаил Ромм («Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году»), Сергей Юткевич («Человек с ружьем») и Михаил Чиаурели («Великое зарево», «Клятва», «Падение Берлина» и др. Следующая ступень отводилась героям революционного движения и гражданской войны (Чапаев, Максим, Щорс и др.), а также реформаторам русской истории. К 1939 году, когда идея мировой революции окончательно трансформировалась в идею имперской государственности, экранным воплощением нового курса стали герои далекой истории: Александр Невский, Богдан Хмельницкий, Георгий Саакадзе.

Подножье грандиозной пирамиды составляли «простые люди». Безвестные и преданные, своим личным преуспеянием они прежде всего символизировали преимущества самого прогрессивного общественного строя.

Конечно, на фоне такого помпезного Дворца Советов многие из «полочных» фильмов 30-х способны поразить своей самобытностью, как, скажем, картина «Строгий юноша» А. Роома или «Новая Москва» А. Медведкина. И все-таки, глядя сегодня на экран, нельзя не заметить типологического сходства рассказанных в «полочных» картинах историй с наиболее расхожими сюжетными схемами кинематографа 30-х.

Или 20-х, с которыми, например, весьма схожа сюжетная коллизия фильма «Прометей», который был поставлен крупнейшим украинским режиссером и скульптором Иваном Кавалеридзе.

Оставим вопрос о месте, которое отводилось этой картине в кампании борьбы с формализмом (а именно «Прометею» была посвящена разгромная статья в «Правде» от 13 февраля 1936 года), как и другой вопрос — насколько правомерно соединение в одной пропагандистской шумихе фильма Кавалеридзе и музыки Шостаковича, обруганного в той же «Правде» двумя неделями раньше в статье «Сумбур вместо музыки».

Обратимся непосредственно к фильму «Прометей», чтобы выявить в нем меру авторской самостоятельности вне зависимости от привнесенных временем суровых обстоятельств его судьбы.

Выступая как сценарист и режиссер, Кавалеридзе выстроил свой фильм как цепь отдельных эпизодов, связанных друг с другом эмоционально и метафорически. Одна из основных линий — судьба украинского крепостного Ивася, невесту которого Катерину помещик продал в публичный дом. Отданный в солдаты, Ивась становится участником войны на Кавказе. Дружба с русским солдатом Гавриловым помогает Ивасю понять, что виновником его несчастий является враждебный всем труженикам общественный строй.

Такова схема, которая в соответствии с идущей из 20-х годов тягой к социологизированию не требует ни характеров, ни учета всех исторических реалий. Ивась, как и Катерина, как и Гаврилов, как и их антиподы, выступают от лица класса. И поскольку центральным эпизодом «Прометей» становится эпизод в публичном доме, куда попадает Катерина, а ее настоятельница, одобряя войну на Кавказе, мечтает о поступлении «товара» с Востока, нетрудно догадаться, что «тюрьма народов», какой традиционно виделась Россия марксистам, становится в фильме еще и интернациональным публичным домом. «Два врага, две державы — революция и Россия, что для одной — смерть, для другой — жизнь» — идет поэтический титр (многочисленные прокладки с титрами задают в звуковой картине ритм, заставляющий вспомнить о немом кино), а вместе с ним в сознании современного человека не может не возникнуть горькое недоумение: к 1935 году, когда создавался фильм, «тюрьму народов» вполне уже можно было переименовать в «кладбище народов»... Однако в жертву титру в картине приносится не только правда о настоящем, но и правда о прошлом страны: отмена крепостного права вполне «политграмотно» интерпретируется крестьянами как уступка «деловому человеку»; а сам «деловой человек», т. е. новоявленный буржуа, сыто подмигивает помещику: дескать, не дрейфь, как обманывали народ, так и будем обманывать; пан, продавший девку в публичный дом, рекомендуется как либерал и племянник декабриста...

В своих мемуарах Иван Кавалеридзе об официальном неуспехе «Прометей» написал коротко: картина принесла «немало огорчений, когда стали уточнять труды историков, которыми я руководствовался в своей работе»<sup>1</sup>. Режиссер написал о том,

<sup>1</sup> Кстати, фронтоны так и нереализованного детища Иофана по предложению Сталина должны были украсить барельефные композиции на темы фильмов «Богатая невеста» и «Ленин в Октябре».

<sup>1</sup> Кавалеридзе И. Сборник статей и воспоминаний. Киев, «Мистецтво», 1988, с. 106.

каким глупым придириком подвергался его предыдущий фильм «Колиивщина», вышедший в 1933 году. И «Прометей» был для него, может быть, последней — и неудачной! — возможностью остаться в «большом» кино на правах самостоятельного мастера. Но, увы, произошла смена партийного курса, мессиянская идея мировой революции, будучи не в силах прорвать границы отдельно взятой страны, исподволь стала превращаться в не менее мессиянскую имперскую идею. Фильм положили на «полку». Кавалеридзе доверили ставить «Наталку-полтавку».

Фильм Александра Медведкина «Новая Москва» уже из другой эпохи. 1938 не 1935: фасад империи был в основном отстроен, идеал максималистской эскизы заменен на идею государственно узаконенной радости бытия. Жить стало лучше, жить стало веселее. Пробразом коммунистического рая становятся всевозможные выставки достижений и парки культуры...

Типологически картина Медведкина — классическая для предвоенной эпохи. Во-первых, она о любви. О той самой советской любви, в которой половое влечение сублимировано в любовь к отчизне. Лучшим интерпретатором этого чувства на советском экране, безусловно, был Иван Пырьев. Это у него уже в послевоенном фильме «Кубанские казаки» герои Ладыниной и Лукьянова целуются под государственным флагом СССР. «...Красный стяг моих республик тоже должен пламенеть» — сбылась еще одна мечта лучшего и талантливейшего. У Медведкина эта мечта сбылась раньше: герои Алисовой и Сагала целуются на фоне бюста Сталина.

Две любовные пары, преодолевая милые недоразумения, в конце концов соединяются в счастливые союзы. Помолвкам, разумеется, придается государственное значение, поскольку достижение личного счастья, как и положено в сталинском кино, происходит одновременно со значительным общественным достижением. В данном случае это — создание чудесного макета обновляющейся (согласно сталинскому плану реконструкции) Москвы, который зримо демонстрирует публике смену старого новым. Так возникает второй типологический мотив предвоенной эпохи, собственно, вынесенной в заголовок, — мотив Москвы. Из таежного сибирского поселка едет туда молодой изобретатель со своим чудо-макетом. Впрочем, к его возвращению поселок становится настоящим социорядком с повсеместными лампочками Ильича, и тем самым, кстати, решается проблема московской возлюбленной изобретателя: между Москвой и соцчудогородом можно уже не выбирать.

Москва представлена в фильме, как грандиозная выставка достижений с нескончаемым карнавалом, на котором среди прочих веселится бабушка, на лице которой маска юной девицы. Праздничным аттракционом становится в фильме и передвижка дома на улице Горького, так напугавшая пожилых обывательниц, живущих вчерашними мерками и представлениями. Чудак-художник по своей чудаковой прихоти хочет запечатлеть на полотне реконструируемые уголки старой Москвы. Не успевает — новая наступает...

И все-таки картина попала на «полку». Почему? Объяснением этому могут стать слова критика О. Литовского, который в докладе о формализме, прочитанном на Мосфильме, уделил внимание и Медведкину: «...У него желание всегда типизировать не на совсем конкретных реалистических образах приводит к извращению действительности, а Медведкину еще помогает (в кавычках) тот жанр, который он избрал.»<sup>1</sup>

Зная художественную манеру Медведкина хотя бы по «Счастью» или по «Чудеснице», легко понять, что именно вызывает недовольство критика. Его слова уместны и в случае с «Новой Москвой», пересыпанной буффонными номерами с бесконечным комикованием на картонно-условном фоне.

Привкус пародии не покидает на протяжении всего фильма. И все-таки пародии в фильме нет. И не потому, что на нее вряд ли бы в 1938 году решился секретарь парткома Мосфильма. А потому, что главное в картине — вера в светлое, наступающее коммунистическое завтра — осмеянию не подлежит. Другое дело, что утопия явлена Медведкиным на экране в форме самой утопии — карнавализированной и оттого условной. А борьба с осознанной условностью, по сути, и была борьбой с формализмом.

Утопизм в 20-х годах присутствовал в художественном мышлении кинематографистов. Но с того момента, как светлое завтра было обьязано начинаться сегодня, утопизм переименовали в реализм. В этом парадоксе, на наш взгляд, объяснение не только драматической судьбы «Новой Москвы», как и судьбы Медведкина-«игровика» в целом, но и объяснение другой драмы — фильма «Строгий юноша». И в картине Роома утопия реализовывалась в форме откровенной утопии, а «злоба дня» от художников, чутких к велению социального заказа, в это время требовала совсем другого. Не античного героя, а вполне узнаваемого советского, хотя и не менее идеализированного.

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 962, оп. 3, ед. хр. 77.

Не думаю также, что следует переоценивать и значение второй серии «Ивана Грозного» Эйзенштейна. Это, безусловно, великий фильм, в котором режиссер принял дерзкую попытку дать свое объяснение сталинской тирании. Но в этом объяснении (если, конечно, довериться аналогии Грозного со Сталиным) — больше оправдания тирана, чем осуждения, потому как Грозного, по Эйзенштейну, вынуждают творить зло, отчего, разумеется, его саморазрушительная сила не становится благом.

Но дело и здесь не в конкретной оценке фильма. Тем более нам легко возразить, что в робкой попытке понять происходившее со страной тогда содержится гораздо больше мужества, чем в смелом и проницательном анализе сталинщины сегодня. Дело вообще не в моральном аспекте ситуации, а, если угодно, в эстетическом. Нельзя не заметить, как эйзенштейновская попытка самостоятельного мышления прорастает через доведенные до каллиграфической виртуозности художественные структуры, возникшие явно неодномоментно с эйзенштейновским открытием, а значительно раньше. Вторая серия «Ивана Грозного», быть может, лучшее (и очень символичное) свидетельство того, как, с изживанием каких пластов художественно-го сознания кинематограф приходит к осознанию реальности, к которой до сих пор не имел никакого отношения.

Органичность художественных структур сталинского кино доказывает и то, что после смерти Сталина никто не худшие образцы нового кино — «Коммунист» Ю. Райзмана или «Павел Корчагин» А. Алова и В. Наумова — по существу, модифицировали старые мифы, хотя и бессознательно, на волне гражданского искреннего неприятия сталинщины, даже полемики с ней. Истинное обновление пришло с картинами Хуциева и позднего Ромма, Тарковского и Кончаловского именно тогда, когда оно коснулось художественного осознания эпохи.

Итак, проблема цензуры в 30-е годы возникает в совершенно особом контексте, потому что исключение из правил («полка») как раз доказывает внутреннюю безальтернативность кинематографической ситуации. Об этом стоит сказать, чтобы не упрощать ситуацию сталинского кино, сводя ее только к декретированию сверху тех или иных идей. Кинематограф 30—50-х был в пленении органичным и, в отличие от кино 20-х или 80-х годов, эстетически цельным, являясь прежде всего феноменом массового сознания.

Оно, это сознание, еще не объясняет всей сложности реальной художественной практики. Оно выступает скорее как гармонизирующее начало, которое, с одной сто-

роны, неизбежно нивелирует индивидуальные художественные устремления, а с другой — без особого напряжения «вписывает» в мифологическую систему те или иные, пусть даже абсурдные, пропагандистские установки. Культ массы, столь энергично утверждаемый в 30-е годы «левым» искусством, в новых жестких условиях экстраполировался на саму эту массу — только не метафорическую, а конкретно-историческую. И она, преимущественно крестьянская вчера и деклассированная после насильственной и кровавой коллективизации сегодня, определила в соответствии со своим патриархальным сознанием облик «важнейшего из искусств». Поскольку возникшее взаимодействие «верхов» и «низов» уже не нуждалось в собственно художественном (через личное преломление) постижении, художественное сознание эпохи сформировалось как внеличностное, что, впрочем, не исключало частых противоречий. Так что, говоря о цензуре, опростетчиво сводить ее проблему к противопоставлению фильмов тех лет, как «чистых» и «нечистых». Правильнее взглянуть на них как на единый феномен, в котором правое и неправое тесно переплетено между собой и выражается отнюдь не в противоборстве идей («культовых», например, и «антикультовых»), а в диалектическом сопряжении разных слоев отраженного экраном сознания.

Проблема цензуры — это проблема мифологической системы. Нам уже приходилось писать, как С. Юткевич в середине 60-х посетовал на произвол вождя, который из фильма «Яков Свердлов» перенес в фильм «Выборгская сторона» Г. Козинцева и Л. Трауберга сцену разгона Учредительного собрания, но никакого насилия над художником на самом деле Сталин не совершил. Он привел государственный эпос в ту систему, которая ему казалась наиболее логичной. И сцена с Железняковым, разгоняющим Учредительное собрание, внутренне не воспротивилась этому, как не воспротивились и зрители, которые до сих пор смотрят «Якова Свердлова» в сталинской редакции и никакой эстетической и тем более идеологической подмены на экране не находят.

К этому примеру можно добавить и другой: не только Юткевич, но и М. Ромм в 60-е годы сетовал на произвол. Ему, уже на закате сталинского правления, было предложено переснять «Александра Невского». Оказалось, что разработана целая программа «пересъемок»: Пырьеву надлежало заново снять «Ивана Грозного», Пудовкину — «Петра Первого», Петрову — «Дмитрия Донского»...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ромм. М. Беседы о кино. М., «Искусство», 1964, с. 280—282.

— Но раз Петров уже ставил «Петра I», может, ему и поручить эту работу,— осторожно сопротивлялся Ромм.

— Нет,— был ответ.— Кому что поручено, пусть тот то и ставит!..

Ромм иронизирует над тупостью начальства. Только того не замечает, что никакой тупости нет, а есть нормальная самокорректировка системы, непризнающей и недопускающей личного отношения к материалу, что нетрудно проверить, пересмотрев существующие версии «Петра I» и «Александра Невского», «Суворова» и «Кутузова». Все это — фильмы одного автора. Или точнее: все это — один фильм. Так почему бы его не подновить для потомков, раз в кино появился цвет?

Тут по крайней мере возникают два вопроса: вытекает ли из сказанного, что роль Сталина в общественных деформациях (в данном случае — кинематографических) равняется нулю, и он был всего лишь орудием провидения (а если так, то не слишком ли велика ему честь?). И второй вопрос: если и устами художников говорило провидение, то почему они, работая на систему, этого даже не замечали? А если замечали, то насколько могли убедить себя в искренности своих фильмов, заражая этой искренностью многомиллионную зрительскую массу?

На самом деле это, конечно, один вопрос. И ответ на него: Сталин ли породил систему или она его, как и ответ на вопрос: художники ли, славные новаторы 20-х, породили государственную киномифологию 30-х или она переродила их, наверное, столь же сакраментален, как вопрос о первичности курицы или яйца. И все-таки, в отличие от библейской внеисторической аналогии, вопрос о происхождении феномена сталинского кино подлежит историческому анализу.

Вот как объясняет соотношение личности Сталина и существующей при нем политической системы Л. Баткин: «В итоге совокупности закономерных и случайных, общих и частных социальных процессов, столкновений, альтернативных развилко, исторических выборов направления и в результате суммирования, утрамбовывания, затвердевания, эволюционирования каждого сделанного социального и политического выбора, решения, предпочтения, пользуясь услугами, свойствами, в том числе и ничтожностью тех или иных деятелей — вызревал, формировал себя политический режим, который не «создан» Сталиным и не «создал» Сталина, а, скорее, рос в месте с ним как СТАЛИН. И вместе со сталинско-аппаратной верхушкой, и вместе со всеми «средними» и «низшими» звеньями. Сталин был неповторимым «личным»

элементом и в итоге острым соусом получившегося таким образом обильного блюда. Он сыграл грандиозную историческую роль благодаря случаю и своим замечательно пригодившимся именно для этой роли личным качествам, среди коих было и такое совершенно необходимое качество, как индивидуальная незначительность, бесцветность»<sup>1</sup>. Тут, наверное, уместно процитировать оценку, которую Сталину как кинозрителю дал Григорий Козинцев, присутствовавший как-то в кремлевском кинозале во время сдачи фильма: «Постепенно я стал осознавать, что Сталин смотрел картину не как художественное произведение, а как действительные события, дела, совершавшиеся на его глазах, деятельность людей — полезную или вредную,— и он тут же давал волю раздражению, если люди на экране плохо работали, хвалил их, когда они поступали верно»<sup>2</sup>.

Сегодня, когда мы все пристальнее вглядываемся в прошлое и к удивлению своему обнаруживаем, что не так-то уж дружно люди 20—30-х, увлеченные строительством социализма, «ничего не знали», значение приобретают многие, вроде бы ничего, на первый взгляд, не значащие оттенки.

Мы привыкли, например, к тому, что облик кинематографа 20-х годов прежде всего характеризует его революционность, неистовство, преданность интересам рабочего класса!.. А между тем по рапповским, т. е. наиболее классово выверенным меркам и Эйзенштейн, и Пудовкин, и Ветров, и Козинцев с Траубергом могли претендовать только на звание попутчиков. С тревогой писали в Секретариат ЦК ВКП(б) работники его подразделений, что «более передовая по сравнению с дореволюционными режиссерами молодежь была недостаточно идеологически крепка и в значительной части подпала под влияние дореволюционной режиссуры. 93,7 % режиссуры не proletарского происхождения». Как же художники «терпели» такое недоверие?

Мы уже обратили внимание читателей, что художественное сознание кинематографа в 30-е годы сформировалось как внеличностное. Иными словами, в возникшем взаимодействии государства и зрительских масс функция художника была излущенной. Достаточно напомнить, что такая уникальная для 30-х годов картина, как «Окраина» Бориса Барнета, в которой сегодня приятно отметить отсутствие надсадного классового чувства и которая уже по этой причине (помимо жанровой) ни-

<sup>1</sup> «Осмыслить культ Сталина», М. «Прогресс», 1989, с. 50.

<sup>2</sup> Козинцев Г. Собрание сочинений в пяти томах. Л., «Искусство», 1982, т. 1, с. 343—344.



как не могла вписаться в складывающуюся мифологию, по существу, не имела никакого зрительского успеха.

В 20-е годы, когда кино существовало на хозрасчетной или акционерной основе, прокатная ситуация была иной, чем в 30-е. Поток западных боевиков, который хлынул в страну одновременно с началом нэпа, обеспечил зрителям широкий выбор фильмов, зачастую складывающийся не в пользу советского кино. На Украине, например, в 1927 году на зарубежный репертуар приходилось 60 %. А если зрители шли на советские картины, то их меньше всего интересовал авангард.

Вот какие названия сохранила до наших дней память сотрудника Московского Дома крестьянина И. Е. Поликаренкова, которого можно обвинить в киноведческой неграмотности, но в предвзятости обвинить нельзя: «Красные дьяволята», «Банда батьки Кныша», «Из искры — пламя», «Стачка», «Враги», «Отец Серафим», «Красные партизаны», «Золотой запас», «Степан Халтурин», «Что бедняку впрок, то кулаку в бок». <sup>1</sup> Эти фильмы пользовались наибольшим успехом у заезжих крестьян. И что интересно, почти все картины, за исключением разве что «Стачки», были поставлены режиссерами, имевшими стаж работы в дореволюционном кино, в привычной, без формальных нововведений, манере.

А вот цифры проката, оглашенные на I Всесоюзном партийном совещании по кинематографии, одной из проблем которого как раз и была рыночная стихия в кино. Наибольший успех к 1928 году имел фильм «Мисс Менд» Бориса Барнета и Федора Оцера, вскоре эмигрировавшего из СССР. Эту картину посмотрело около 8 миллионов зрителей (цифра по тем временам не маленькая). Из официально признанных фильмов, которые хоть как-то могли «состязаться» с лентами откровенно коммерческого свойства, был назван «Броненосец «Потемкин», широко разрекламированный после его успеха за рубежом (чуть больше двух миллионов). Можно представить себе масштабы его рекламной кампании, если куда более «ходовой» в сравнении с творением Эйзенштейна фильм «Любовь втроем» Абрама Роома (одно название чего стоит!) привлек в зрительные залы чуть больше одного миллиона зрителей. <sup>2</sup>

Увы, в 20-е годы выявилась удручающая закономерность: искусство и рынок несовместимы. Для того чтобы выжили под-

линные экспериментаторы и творцы, кино неуждалось в централизованной «кормушке».

Конечно, в достаточно разветвленной киносистеме окупался и революционный авангард. Акционерному обществу «Межрабпомфильм» удавалось создать и шедевр обновленного искусства «Мать» В. Пудовкина, и разухабистый «боевик» «Эх, яблочко, куды котисься» М. Доллера и Л. Оболенского. Но «мирным» это сочетание кажется только людям из сегодняшнего дня. В действительности же кинопромышленники не слишком считались с интересами искусства и идеологии (не явно, разумеется: партийный контроль за репертуаром существовал всегда). Творцы же с боем пробивали каждую новую постановку. На одном из диспутов, посвященных деятельности «Совкино» в 1927 году, Владимир Маяковский так выразил свое возмущение: «Почему у бухгалтера в культуре и искусстве решающий голос, а у деятеля культуры и искусства даже нет совещательного в их бухгалтерии»!

Понятно, что в таких обстоятельствах социальный заказ, узаконенный теоретиками нового искусства, обретал для кинематографических новаторов жизненно важное значение. Он был не только свидетельством идеологической лояльности, но и формой выживания в искусстве. Напомним, что именно благодаря социальному заказу появились на свет все картины Сергея Эйзенштейна, за исключением «Стачки». Так позднее появились «Чапаев», «Юность Максима», «Три песни о Ленине» и даже «Веселые ребята», сценарии которых рассматривала специально созданная комиссия Оргбюро ЦК ВКП(б). Как сообщалось в отчете ГУКФ за 1934 год, к запуску в производство допускались только сценарии, утвержденные этой комиссией.

Григорий Александров в своих мемуарах с гордостью цитировал газету «Правда» 20-х годов: «Социальный заказ не получают ни в кабинете директора фабрики, ни в государственной комиссии. Эйзенштейн получил социальный заказ у пролетарской революции, в которой вырос как художник». Помпезности, с которой начинает режиссер главу о социальном заказе, ничуть не мешает откровенное признание на следующей странице: «Очередной социальный заказ от имени ЦК партии дал нам К. И. Шутко».

<sup>1</sup> Маяковский В. Собр. соч. в 12-ти томах, М., Правда, 1978, т. 11, с. 296.

<sup>1</sup> «Незабываемые 30-е» (воспоминания ветеранов партии-москвичей). Московский рабочий, 1986, с. 177.

<sup>2</sup> «Пути кино». Теа-кино-печать, 1929, с. 18.

Дело, разумеется, не в циничном приспособленчестве, хотя, надо полагать, не обошлось и без него. Дело, главным образом, в том, что до поры до времени новаторам социального переустройства и новаторам кинематографа было по пути. Принимать или не принимать — для них такого вопроса не было. Их революция. Они знали, на кого работали.

Любопытно, что в александровских мемуарах, изданных в 1976 году, режиссер даже не стремится под новым углом зрения взглянуть на прошлое. Потому и несообразности в рассказе о соцзаказе не замечает, как будто бы даже не осознает, что рано или поздно в условиях диктатуры «кормушка» имени Революции должна была стать собственностью диктатора.

Так оно и произошло. Тот же Александров пишет, что готовый к показу на торжественном заседании 7 ноября 1927 года фильм «Октябрь» показан в конце концов не был. За несколько часов до показа в монтажную Госкино, где шли последние «доделки», зашел Сталин. «Поздоровавшись так, будто видит нас не в первый раз, он спросил:

— У вас в картине есть Троцкий?

— Да,— ответил Сергей Михайлович...

Механиков не было. Я сам пошел в будку и крутил ролики, в которых присутствовал Троцкий. Эйзенштейн сидел рядом со Сталиным. После просмотра И. В. Сталин сообщил нам о выступлении троцкистской оппозиции, перешедшей к острой борьбе против Советской власти, против партии большевиков, против диктатуры пролетариата, и закончил:

— Картину с Троцким сегодня показывать нельзя.

Три эпизода, в которых присутствовал Троцкий, мы успели вырезать. А две части фильма, в коих избавиться от Троцкого с помощью монтажных ножиц было затруднительно, просто отложили и перемонтировали эти части в течение ноября и декабря<sup>1</sup>.

Этот эпизод феноменален вдвойне. Во-первых, потому что «заказчик» уверенно распорядился заказанным фильмом, а «подрядчик» безропотно с этим согласился. А во-вторых, потому что столь же безропотно (или даже без душевного волнения, о котором Александров ничего не пишет) создатели «Октября» пошли на историческую фальсификацию. Как ни относиться к Троцкому, но без него картина Октябрьской революции не полна.

Этот феномен объясняется просто: в утопическом сознании прошлому нет места.

Или точнее — оно столь же идеально, как настоящее или будущее. И столь же утопично. Собственно, «Октябрь» и снимался не как хроника, а как поэтохроника.

Немаловажная деталь: нэп в кинематографе так или иначе оставался заложником идеологии. Да, несметное число импортных картин поступало на внутренний рынок и приносило государству немалые доходы, но все эти картины в обязательном порядке регистрировались, а при необходимости не только подвергались цензуре, но зачастую и перемонтировались. Те же Эйзенштейн и Александров начали свою деятельность за монтажным столом с перемонтажа фильма «Доктор Мабузе» Фрица Ланга. Новаторов не остановил тот факт, что им предстояло совершить акт насилия не над пошлой мелодрамой или комедией, а над фильмом известнейшего немецкого режиссера. И каким фильмом! Александров и в 1976 году был уверен, что фильм от перемонтажа только выиграл: «...было порядочно напущено мистического тумана. Мы ограничились тем, что как следует «почистили» картину. Путем перестановки некоторых эпизодов и введения дополнительных надписей нам удалось в этом фильме выявить его социальное значение». Монтажным отделом Госкино заведовала Эсфирь Шуб. Григорий Александров так о ней пишет: «Она прямо-таки делала чудеса. В умелых руках пустые развлекательные фильмы приобрели определенный социальный смысл, прогрессивную направленность, становились пригодными для показа массовому зрителю»<sup>1</sup>.

В 1926—1928 гг. в прессе состоялась дискуссия. Перемонтаж как таковой и здесь не ставился под сомнение. Речь по существу шла о качестве редакторской работы. Редактор по перемонтажу отвечал газете с большим достоинством: «Следует помнить, что за границей на нас не работают и если принимают в расчет при постановках картин наше существование, то только для того, чтобы лишний раз брызнуть грязью в нашу сторону.

По долгу службы мне пришлось пересмотреть за последние два года около 700 картин заграничного производства, и я убедился, что среди всей этой массы картин, мало-мальски пригодных к допущению на советский экран после незначительной обработки надписей, нашлось лишь 1-2 процента.

И даже эти картины не были безупречны»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Там же, с. 35.

<sup>2</sup> Братья Васильевы. Собр. соч. в трех томах. М.: «Искусство», 1981, т. 1, с. 139.

<sup>1</sup> Там же, с. 104—105.

Имя редактора — Сергей Васильев, будущий автор «Чапаева».

Любопытно, что в воспоминаниях Г. Александров не обходит вниманием тот факт, что «буржуазная цензура встретила фильм<sup>1</sup> в штыхы» и что «в Германии вопрос о демонстрации картины два раза переносился в парламент»<sup>2</sup>. Как в годы своей молодости, так и на закате дней, известный режиссер не соотнес этот факт с поставленным на конвейер купированием чужих картин. Опыт западных демократий и тогда, и позже отменялся автоматически. И это тоже черта времени и определенного типа сознания, в котором здравый смысл оказался пленником мессианского кошмара, исключającego — среди прочего — вопрос о праве автора на личную интерпретацию материала.

Насильственное вторжение в мир фильма, заранее оправданное идеей, которая не требовала поиска истины, но требовала соответствия истине, уже найденной «классиками», несомненно, имеет расширительное значение. Так или иначе, к концу 20-х годов противоречие между диктатом коммерции и диктатом идеологии в кино должно было разрешиться. В конкретных условиях оно выражалось в противостоянии «партийной фильмы» и боевиков, чаще всего западного производства. Этот обертон существен: «иностранина» несла двойной вред — не только как «буржуазная зараза». Казалось бы, и здесь опыт западных демократий мог пригодиться в силу своей универсальности. Для защиты национального кино от конкуренции голливудских фильмов в прокате Франции, Англии и других стран законодательным путем был установлен обязательный процентный минимум для демонстрации национальных фильмов, т. е. квота. Но и здесь здравый смысл отменялся в угоду идее социального избранничества. «Нельзя допустить, чтобы некоторые временно выгодные контакты с границей, сотрудничество, без которого, как считают за рубежом, в СССР не обойтись, скомпрометировали строгую линию руководства советским кино, являющуюся гарантией его развития и успехов. Бесплезно терять время, хитрить с противником. Улыбки могут ослабить силы»<sup>3</sup>, — призывал в 1928 году другой друг социализма в нашей стране Леон Муссиак.

Насилие над фильмом переросло в насилие над кинопроцессом. Газеты, проти-

вопоставляя мифическим обывателям не менее мифических рабочих, требовали обуздать коммерческий вал в кино, что конечно же, означало свертывание нэпа в кинематографе и, как показало время, совпало с новым политико-экономическим курсом, взятым партией и страной.

В развернувшихся диспутах, организованных в преддверии I партийного совещания по кино (1928), высказывались предложения давать сценарии перед запуском в производство на читку рабочим. Бонч-Бруевич, как по заказу, в журнале «Кинофронт» опубликовал воспоминания «Ленин и кино». Накануне совещания в Центре региональные совещания по вопросам кино состоялись в Ленинграде, Баку, Киеве и т. д.

Не остались в стороне и сами кинематографисты. Г. Александров, Г. Козинцев, Л. Трауберг, А. Попов, В. Пудовкин, А. Роом, С. Эйзенштейн, С. Юткевич в обращении к партийному совещанию писали: «Для проведения единого идеологического плана необходимо создание авторитетного органа, планирующего продукцию кинопромышленности. Наличие Главреперткома не исчерпывает данной потребности, поскольку он является органом не руководящим, не планирующим, а только принимающим готовую продукцию или готовый производственный план... Итак, должен быть создан орган непосредственно при Агитпропе ЦК, организовано ставящий перед производственными организациями исчерпывающие задания политического и культурного порядка»<sup>4</sup>.

Новая эпоха начиналась с репертуарной чистки. В конце 20-х и начале 30-х главным репертуарным комитетом забраковывалось до 16 % от всех художественных фильмов. Действительно ли среди них были картины «о мирном вращении кулака в социализм», как «Правда» оценила фильм «Потерянный сын», сказать трудно. Он, как и многие фильмы того времени, не уцелел. Во всяком случае, цензура на этом поворотном этапе истории переживала напряженный период. Среди не вышедших на экраны картин оказалось немало фильмов не только маститых, но и начинающих режиссеров (и среди них тех, кто после неудачного дебюта вынужден был уйти в смежную кинематографическую профессию) М. Калатозова, Н. Шликовского, А. Каплера, Б. Дубровского-Эшке, Н. Охлопкова, М. Большинцова, С. Герасимова, И. Савченко, А. Зархи и И. Хейфца и других.

Так открылся счет, который продолжили многие из подписавших обращение к пар-

<sup>1</sup> Речь идет о фильме «Броненосец «Потемкин».

<sup>2</sup> Александров Г. «Эпоха и кино», с. 75.

<sup>3</sup> Муссиак Л. Избранное. М. «Искусство», 1981, с. 128.

<sup>4</sup> «Искусство кино», 1964, № 4, с. 14.

тийному совещанию: и Эйзенштейн («Безжин луг», вторая серия «Ивана Грозного»), и Козинцев с Траубергом («Простые люди», «Однажды ночью»), и Пудовкин («Убийцы выходят на дорогу»), и Роом («Строгий юноша»), и Юткевич («Свет над Россией»), и даже Александров («Одна семья»).

На I партсовещании в фаворитах ходила картина «Любовь втроем», а через несколько лет О. Литовский в уже упоминавшемся докладе для работников Мосфильма говорил: «Я удивляюсь благодушию цензуры, которая вообще этот фильм в свое время пропустила... Но я объясняю это только тем, что тогда осваивала технику запрещений»...

Партсовещание, заложив идейно-теоретическую основу начинавшейся монополизации кинематографа государством, само по себе означало концентрированный интерес партии к кино. Еще, видимо, в силу инерции кинематограф продолжал оставаться делом для партии малопrestижным. Важнейшим из искусств он скорее представлял в смутных воспоминаниях Луначарского, а не в партийно-государственных установках. И в речах Сталина, и в резолюциях партийных съездов, конечно, указывалось на огромную идеологическую и воспитательную роль кинематографии, и все-таки чаще всего и определеннее всего ее проблемы рассматривались в хозяйственном аспекте. Так, выступая за несколько месяцев до совещания, на XV съезде ВКП(б), Сталин говорил о кино в довольно неожиданном контексте: «Я думаю, можно было бы начать постепенное свер-

тывание водки, вводя в дело, вместо водки, такие источники дохода, как радио и кино. В самом деле, отчего бы не взять в руки эти важнейшие средства и не поставить на этом деле ударных людей из настоящих большевиков, которые могли бы с успехом раздуть дело и дать, наконец, возможность свернуть дело водки»<sup>1</sup>.

Сталин, как видно из той же книги Григория Александрова, конечно же, и в 20-е годы вмешивался в жизнь кино. И все-таки до официально интерпретируемых в прессе встреч вождя с Довженко или Чиаурели этим ранним «вмешательствам» было далеко. Кинематограф должен был стать делом государственным и общенародным для того, чтобы не только сталинские оценки тех или иных фильмов, но и сам факт награждения на государственном уровне того или иного фильма или кинематографиста становился частью государственной мифологии.

Собственно, начало этого процесса отразилось в передовой «Правды» от 21 октября 1934 года «Чапаева» смотрит вся страна», которая в силу мистического стечения обстоятельств появилась за две недели до официального выхода фильма братьев Васильевых в прокат.

Рождение «Чапаева», задавшего на долгие годы вперед идейно-эстетические параметры складывающейся киномифологии, по существу, завершило эпоху кинематографической «вольницы» (хотя и относительно), окончательно закрепив кинематографистов в ранге государственных служащих с вполне чиновничьими регалиями в виде почетных званий и лауреатств.

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 962, оп. 3, ед. хр. 77.

<sup>1</sup> Партия о кино. Госкиноиздат, 1939, с. 42.

## НАШИ АВТОРЫ

**БУРЯКОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ** (род. в 1948 г.). Закончил филологический факультет Московского Государственного университета в 1974 г. Автор ряда статей по проблемам зарубежного кино.

**ГРАБАЛ БОГУМИЛ** (род. в 1914 г.) Выдающийся чешский прозаик. Закончил юридический факультет Пражского университета. Автор более двадцати книг — «Жемчужинки на дне», «Рассказчики-фантазеры», «Уроки танца для тех, кто в возрасте и сделал карьеру», «Бар-автомат», «Поезда под особым наблюдением», «Праздники подснежников» и других. Произведения Грабала переведены на многие языки. Фильм «Поезда под особым наблюдением» в 1968 году был удостоен премии Американской академии искусств — «Оскар» как лучший зарубежный фильм года.

**КЛЕНИНИЧ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ** (род. в 1961 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1963 г. (мастерская Евг. Габриловича). Автор сценария фильма «Ваш специальный корреспондент» (1988 г., совм. с В. Ежовым, реж. Н. Гибу.), Автор сценариев «Воля» (1983 г.). «В обойме» (1987 г.), «Пограничные грезы» (1988 г.)

**КЛИМОВ ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ** (род. в 1941 г.). Закончил Государственный Центральный институт физической культуры в 1964 г. и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1969 г. (мастерская Б. Добродеева). Автор сценариев художественных фильмов «Спорт, спорт, спорт» (1970 г., реж. Э. Климов), «Мужские игры на свежем воздухе» (1977 г., реж. Р. Калныньш), «Тактика бега на длинную дистанцию» (1978 г., реж. Е. Васильев, Р. Фрунтов), «Прощание» (совм. с Р. Тюриним, Л. Шепитько, 1981 г., реж. Э. Климов), а также ряда документальных фильмов. Автор сценариев «Очаг» (1977 г.), «Преобразование» (1982 г., совм. с Э. Климовым), «Я погиб в первое лето войны» (1986 г.), «Комедии о фанатиках-рыболовах» (1986 г.), «Загадка Каподистрии» (1988 г., совм. с А. Лапшиным). Фильм по сценарию «Вымыслы» ставит В. Фокин.

**МЕТАЛЬНИКОВ БУДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ** — см. «Киносценарии» № 2, 1990 г.

**НЕХОРОШЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ** (род. в 1931 г.). Закончил сценарно-редакторский факультет ВГИКа в 1955 г. (мастерская Р. Юренева). Кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой кинодраматургии ВГИКа. Автор сценариев художественных фильмов «Конец Любавиных» (1971 г., совм. с реж. Л. Головной), «Матьерь человеческая» (1975 г., совм. с реж. Л. Головной), «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (1983 г., реж. С. Тарасов), «Михайло Ломоносов» (1986 г., совм. с О. Осетинским, реж. А. Прошкин). Автор книг «Временем призванные», «Течение фильма», а также статей по вопросам киноискусства.

**СОЛЖЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ** — см. «Киносценарии» № 1, 1990 г.

**ФРЕЙЛИХ СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ** (род. в 1920 г.). Закончил ИФЛИ в 1941 г. Доктор искусствоведения, профессор. Автор сценариев художественных фильмов «Солнце светит всем» (1959 г., реж. К. Воинов), «Птицы над городом» (1974 г., реж. С. Никоненко), «Песочные часы» (1984 г., реж. С. Вронский), а также документального фильма «Михаил Ромм. Исповедь кинорежиссера» (1985 г., реж. А. Цинеман). Автор книг «Искусство кинорежиссера», «Драматургия экрана», «Искусство экрана», «Фильмы и годы», «Чувство экрана», «Проблема жанров в советском киноискусстве», «Личность героя в советском фильме», «Золотое сечение экрана», «Беседы о советском кино», «Болшевские рассказы, или Занимательное киноведение», «Проблемы стиля в советском искусстве».

**ШМЫРОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ** (род. в 1960 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1987 г. Научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор статей по истории и теории советского кино.



1р.20к.  
70434

**3**

**КИНОСЦЕНАРИИ**

**1990**